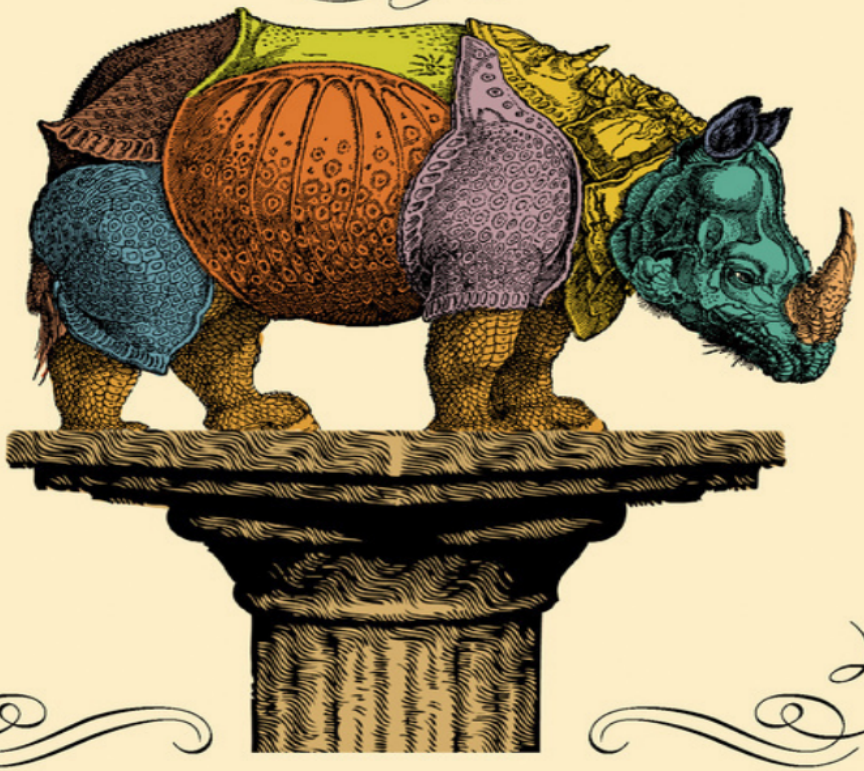
Александр Жолковский

18+



Напрасные совершенства

и другие виньетки

РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Знаменитый российско-американский филолог Александр Жолковский в книге “Напрасные совершенства” разбирает свою жизнь – с помощью тех же приемов, которые раньше применял к анализу чужих сочинений. Та же беспощадная доброта, самолюбование и самоедство, блеск и риск. Борис Пастернак, Эрнест Хемингуэй, Дмитрий Шостакович, Лев Гумилев, Александр Кушнер, Сергей Гандлевский, Михаил Гаспаров, Юрий Щеглов и многие другие – собеседники автора и герои его воспоминаний, восторженных, циничных и всегда безупречно изложенных. Эта проза увлекательна, непредсказуема и, по выражению его заочной противницы Ахматовой, ровно настолько бесстыдна, чтобы приблизиться к поэзии. (Д. Быков)

- Александр Жолковский
  -
  - Справка
  - Часть I
    - Консервы
    - Котлеты моей мамы
    - Из папиных рассказов
      -
      - Рамочная конструкция
      - Талон на место у колонн
      - Технические погрешности
      - О политических взглядах
    - Эросипед
    - Очерки бурсы
      -
      - Мальчики
      - Вечно женское
      - Уроки Октября
    - Саша Самбор
    - “А” и “Б”
    - Comrades Petrov and Smirnov
    - Чеширское
    - Троянской войны не будет
    - Деревенская проза
    - – жж-
    - Постой, паровоз…
    - “Пусть оно меня и моет”
    - Западное кино

- На Моховой
- Выбранные места из переписки с Хемингуэем
- На языке
- Что такое гид?
- “Никакого желания меня накормить!”
- “Должны быть какие-то градации”
- “Ваше тело об этом знает”
- На словесном фронте
- Appropriation art
- “У нас в Бхилаи…”
- Полкаш
- Causa finalis[10]
- Яблоко или гулять?

○ Часть II

- У Литвиновых
- Воздушные пути
- Шестидесятники
- Ультима Фульбе
- Портрет неизвестной
- Чудеса кибернетики
- Сырье für uns
- Автоматы и жизнь
- Сколько человеку нужно
- Through a glass, darkly
- Что делать
- “Машки”
- Случай в Кремле
- Зависть
- Скромность
- Случайные знакомства
  -
  - Жепушкин
  - Алеша
  - Ионыч
- Тбилиси-65
- Privacy and its discontents[19]
- Единый принцип
- Коэффициент гибкости
- Время и мы
- Полки вел…
- Militia et amor
- А поворотись-ка, сынку!
- Дар
- “Хорошо!”

- Будем резать, будем бить
- В сторону Склифа
- Бритва Оккама
- Техника отпускания
- В чужом пиру
- Table talk
- Эпикировка
- Из России с любовью
- Allegro mafioso
- Встречи с интересными людьми
- Пошлая история
- 1984
- Семнадцать мгновений весны

○ Часть III
- Отживать
- Напрасные совершенства
- Полевая лингвистика
- Дисбаланс
- Школы для дураков
- Скорпионова виньетка
- Русское
- Дворянское гнездо
- “Да” и “нет” не говорить…
- Трубка
- Генерал Гоголь
- Ex ungue leonem[43]
- Без мужчин
- Floor & Breakfast
- Учитель словесности
- Посвящается Пиранези
- The usual
- Один раз увидеть

○ Часть IV
- Хваленая объективность
- Дурак такой!
- Любимой быть другим
- Оппоненты и пуанты
- Подробности
- Чему вас учут?!
- “Срезал!”
- Сократик, сократись
- Name dropping[56]
- Начать и кончить
- Против ветра

- Имя-отчество как таковое
- Королевская речь
- Что ж вы раньше не сказали?!
- Красота по-американски – трудности перевода
- Столик № 31
- Из истории звукозаписи
- Ждать
- Юбка
- Stranger than fiction[70]
- Грозный, но не Terrible
- Эрос невозможного
- О другом
  - 1
  - 2
- Must be luv…
- Принуждение к улыбке
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Грамматика любви
- Некрологи, которые мы выбираем

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21

- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65

- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93

Александр Жолковский
Напрасные совершенства и другие виньетки

Издательство благодарит за предоставленные фотоматериалы Государственный литературный музей

В оформлении переплета использована фотография А. К. Жолковского Олимпии Гонсалес

В книге использованы фотографии из личного архива А. К. Жолковского, фотография А. А. Ахматовой работы М. С. Наппельбаума (Агентство ФТМ Лтд.), кадры из фильмов: “The Spy Who Loved Me”, “Eye of the Beholder”, “Inside Deep Throat”, “Broken Blossoms”, “Sleeper”, “Чапаев” и “Go West”, а также обложка книги М. Ю. Берга “Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе” с разрешения издательства “Новое Литературное Обозрение”

© Жолковский А. К.
© ООО «Издательство АСТ»

Справка

…На ваш запрос сообщаю, что мемуарные виньетки я начал писать в Москве более полувека назад, без какой-либо мысли о публикации. Про себя я называл их “Мемуары”. Они были не только источником непосредственного удовольствия, но и способом – в момент перехода от лингвистики к поэтике – “расписаться”. Поэтика требовала внутреннего раскрепощения, и мемуарные упражнения помогали. Я вернулся к ним в конце 1990-х, пройдя длинный путь дискурсивной эмансипации: лингвистика – поэтика – постструктурализм – демифологизация – эссеистика – рассказы. Но целиком от “научности” не избавился.

Не только в том смысле, что некоторые виньетки напоминают литературоведческие эссе. Дело в напряжении между верностью правде (того, как было или, во всяком случае, как я помню, как было) и свободой ее презентации. Врать, преувеличивать, придумывать события нельзя, но что рассказать, а что нет, какую авторскую позу принять, – твое авторское право. Даже в журналистике требование документальности распространяется лишь на сообщаемые факты, позволяя репортеру вольности в обращении с собственной персоной как еще одним повествовательным приемом.

Стержень жанра – авторский образ виньетиста, находящийся на опасном стыке “правды” и “свободы”. Он присутствует в реминисцентной перспективе, в манере рассказывания (часто “научной”) и в рассказываемых историях. На всех трех уровнях он проблематизируется. Мемуарист предстает неуверенным в фактах, повествователь – амбивалентным в оценках, а герой попадает под удар как фабульно, так и экзистенциально, оказываясь не только свидетелем и жертвой событий, но и их соучастником-совиновником. Присочинение постыдных фактов не допускается, их и так хватает. Главное мемуарное правило – не забыть на себя оборотиться.

Не всякий вспомнившийся эпизод, любопытный исторически, этнографически или автобиографически (и забавный в устном варианте), представляет законный материал для виньетки. Критериев отсеивания много, и я не берусь их сформулировать, но мне, как правило, более или менее ясно, есть ли в эпизоде что-то “мое”, то есть, выражаясь нескромно, что-то, что именно мне стоит тревожиться описывать.

Кстати, о нескромности. В виньетках часто констатируют авторский “нарциссизм”. Но авторство вещь вообще нескромная. Особенно нахальное занятие – мемуаристика, тем более –

избранный мной кокетливый завиток этого жанра. Я действительно претендую не столько на протоколирование "фактов" (и тех намертво запомнившихся словечек, ради которых по большей части предпринимается рассказ), сколько на интересность собственного в них соучастия и их ретроспективного преподнесения. Последнее состоит, среди прочего, в словесной полировке, организации сюжетных рифм, отделке заголовков, реплик, концовок и т. п. Тем самым происходит дальнейшее отстранение от "правды", которая всячески эстетизируется, нарциссизируется, виньетизируется.

Реванш она берет в другом. Главную "правду" виньеток я полагаю в самой решимости написать их и написать так, как хочется. У меня есть знакомые, которые видели, помнят и могли бы рассказать гораздо больше и лучше, чем я. Могли бы, но не могут, во всяком случае, публично. Боятся. Боятся занять позицию – идейную, стилистическую, самопрезентационную. Иными словами, боятся авторства. Авторский имидж служит не только формальным приемом, но и той кариатидой, которая подпирает, в конечном счете, все здание, сама же держится мышечным усилием реального автора. Нужда в усилиях становится ощутимой, когда друзья вдруг единодушно ополчаются против какой-нибудь особенно рискованной виньетки, мотивируя это, разумеется, формальными соображениями ("не в вашем стиле").

Но не буду преувеличивать своего авторского героизма. Виньетки написаны не с последней прямотой (да и у Мандельштама она почему-то ассоциируется с противопоставлением шерри-бренди как бредней не менее сомнительным Мэри и коктейлям), а в условном жанре, задающем сложный баланс непосредственных впечатлений и ретроспективных оценок, фактографических констатаций и фигур речи, откровенностей и умолчаний. Умолчания, впрочем, не окончательны, или, если воспользоваться макабрическим англицизмом, не терминальны: заведен и пополняется файл, который я, с оглядкой на Ходжу Насреддина ("за тридцать лет либо я, либо шах, либо ишак – кто-нибудь умрет"), про себя называю посмертным.

Часть I
Яблоко или гулять

Консервы

Мои самые ранние воспоминания довольно поздние. В отличие от Толстого, который сохранил память о себе как о трехмесячном младенце, то возвышающем свой голос против тугих свивальников, то блаженствующем в купальном корыте, от Пастернака, который вспоминал, как четырехлетним проснулся как раз, когда в гостях у родителей был Толстой (“Боренька знал, когда проснуться”, – язвила Ахматова), и от Ахматовой, писавшей, правда, со слов старших, что вроде бы помнила себя чуть ли не двухлетним ребенком, – я более или менее толком помню о себе что-то лет с шести, да и то не всегда ясно и отчасти по рассказам взрослых.

В Москву из эвакуации мы вернулись летом 1943-го. О знакомстве с Женькой Зенкевичем – солнечным августовским днем он с сачком гонялся за крапивницами – я уже вспоминал.[1] Примерно к тому же времени относится память о первой прогулке на автомобиле. Это случилось, наоборот, вечером и окутано в моей памяти некоторым мраком.

На Остоженке до войны. Мне три с половиной

Из Ленинграда приехал “дядя Пия”. В кавычках потому, что мне неясно, кому в нашей семье он мог приходиться столь близким родственником, а также потому, что загадочно звучало и само его имя, Пия, по сути женское (потом в Доме творчества композиторов в Иванове много лет работала веселая подавальщица Пия), при том, что каким-то образом я помню и его полное имя-отчество, Пий Григорьевич, хотя больше никогда его не видел и разговоров о нем не слышал. А если он все-таки был нашим родственником, то тогда, конечно, с маминой, в анамнезе

еврейско-киевской, стороны, с чем совместимо отчество Григорьевич, допускающее еврейскую генеалогию, но диссонирует вызывающе христианское и даже католическое имя Пий (носившееся, в частности, тогдашним папой Пием XII, старшим современником нашего “дяди”).

Дядя Пия запомнился. Он был высокого роста, худой, с резкими чертами лица и седыми волосами и, судя по обращению с ним взрослых – мамы, папы и маминого двоюродного брата, тоже киевлянина дяди Толи (Тобиаса Борисовича), – очень авторитетный. В частности, он говорил о том, как теперь, с приближением победы над немцами, пойдет жизнь. Например, снова, как до войны, будут такси. Из того, что возвращение такси откладывалось на будущее, я заключаю, что автомобильная поездка, о которой идет речь, была предпринята не на такси. То есть либо дядя Пия поймал левую машину (что кажется мне маловероятным, хотя кто знает), либо у него как у важного лица, вероятнее всего, командировочного, была в распоряжении служебная, на каковой мы и поехали. Садились ли мы в нее перед нашим домом (Метростроевская, а когда-то и теперь опять Остоженка, 41) или, что почему-то кажется более похожим на правду, на Садовом кольце, я не помню, но знаю, что вышли мы из нее после поездки именно на углу Садового. Потому что знаю наизусть (увы, в пересказе родителей, не преминувших занести речи гениального ребенка в семейную красную книгу) свое афористическое резюме:

– Мы поехали *ту-да,* – жест в сторону Зубовской, – а приехали *ат-тууда,* – кивок в сторону Крымского моста.

Угол Мерзляковского переулка и Большой Никитской – доходный дом 1901–1903 *гг. Архитекторы Н. Д. Струков, В. П. Цейдлер. Раньше тут был фирменный магазин «Консервы»*

Больше ничего про дядю Пию и устроенную им, возможно, специально для меня поездку не помню, но хорошо помню ощущение постепенного оттаивания жизни от лишений военного времени. Так, вместе с обещанным дядей Пией такси вскоре вернулась и продажа томатного сока из красивых конусообразных сосудов с крантиками в магазине “Консервы”, куда меня привела мама.[2] Магазин был на углу Большой Никитской и Мерзляковского переулка, в котором располагалось (и до сих пор располагается) музучилище при Московской консерватории – место маминой работы и до, и после войны. С тех пор я навсегда

полюбил томатный сок и, выбирая его в самолете, не могу не думать о маме (так что от будущих фрейдистских исследователей моего творчества можно ожидать гипотез о подсознательном уравнении “томатный сок = молоко матери”).

Еще одно пищевое воспоминание тех лет (скорее всего, апреля 1944-го) мамин день рождения, который вообще праздновался редко, но для сорокалетнего юбилея могло быть сделано исключение. Гостей было немного, сидели не в “столовой” (папином кабинете), а в средней комнате (будущей моей). Была мамина любимая младшая двоюродная сестра, красавица тетя Саночка (Сусанна Абрамовна), потом рано умершая (раньше мамы, которая ее смерть переживала тяжело и пережила ненадолго), был наш сосед по квартире, дедушка (очень добрый, хотя и очень-очень двоюродный) Давид Исаевич (Шейнис). Он принес маме маленькую баночку сметаны (граммов 100–150). Достать такое тогда было трудно, и подарок был маме особенно дорог, потому что масла она есть не могла.

В том же году или немного позже, уже на мой день рождения, две гостьи не сговариваясь испекли похожие сладкие пирожки, бросив вызов дипломатическим способностям именинника. Опять-таки со слов умиленных родителей, известен его соломонов вердикт:

– Они одинаково вкусные, хотя разного вкуса.

Не знаю, как увернуться от обвинений в нарциссизме, да еще по поводу малопримечательного детского лепета, но не удержусь от того, чтобы усмотреть в двух чудом спасенных от забвения высказываниях прообразы моей любви к четко замкнутым сюжетам и к, казалось бы, взаимоисключающим поэтическим системам.

Котлеты моей мамы

Консерватизм психологически понятен еще и потому, что нашим прошлым является детство, сохраняющее притягательность, даже если проходило оно не в лучших условиях.

Два года моего детства – от четырех до шести – пришлись на эвакуацию. Мы жили сначала в совхозе под Свердловском, а потом в самом городе, на ВИЗе, в поселке Верхне-Исетского завода. Папа[3] работал в Свердловской и переведенной на Урал Киевской консерваториях, так что мы не голодали. Все же питались мы (папа, мама, папина мама и я) много скромнее, чем раньше; часто ужин состоял из картофельного блина, крест-накрест разрезанного на четыре части.

Последствия такой диеты для моего здоровья оказались самыми благотворными – я излечился от мучившего меня в Москве диатеза, против которого бессильны были (или который вызывали?) бесконечно испытывавшиеся врачами комбинации соков, фруктов, бульонов и т. п. У меня развился бешеный аппетит (сохранившийся по сей день), и меня ставили в пример капризной малоежке Наде из другой музыкальной семьи, жившей в совхозе в той же избе, что наша и еще две эвакуированных. Роль образцового пай-мальчика неблагодарна, и понятно, что Надя должна была меня возненавидеть. Во всяком случае, именно так я предпочитаю объяснять себе оскорбительное равнодушие, проявленное ею к моим воздыханиям, когда восемью годами позже мы оказались в одном и том же пионерском лагере Союза композиторов.

Интересно, что и на этот раз причиной моей отправки “в люди” послужили исторические события: папа был уволен из консерватории в ходе кампании против “космополитизма” (1949), и об отдыхе в композиторском Доме творчества где-нибудь в Карелии или на Рижском взморье пришлось на некоторое время забыть. К удивлению родителей, я был в восторге от лагерной жизни и охотно остался на второй месяц. Помню, как ужаснули маму (из Москвы вызвавшую меня к телефону в кабинет директора, чтобы обсудить вопрос о второй смене) мои слова, что “добавки дают вволю”. Она решила, что нас держат впроголодь.

Так или иначе, мой аппетит, а с ним и здоровая неприхотливость в пище остались при мне. Впрочем, неприхотливость не то слово. Вернее будет сказать – требовательная приверженность к привычному минимуму: хлебу с маслом, котлетам с картошкой, чаю с сахаром.

С мамой, Д. С. Рыбаковой

Мама готовила не очень хорошо, да и мало этим интересовалась. По возвращении из эвакуации, а тем более после войны, благосостояние семьи поправилось. Появились и часто сменялись домработницы, готовившие кто как. Особенно

запомнилась одна довольно старая и неаппетитная женщина по имени Анна Максимовна Гилинис. Она поступила к нам по рекомендации, после смерти некоего генерала, у которого долго служила сиделкой. Готовила она невкусно (при генерале ее функция состояла в том, чтобы развлекать его разговорами), в супе попадались волосы, зато, подавая папе очередное блюдо, она приговаривала на полушепоте нечто совершенно доисторическое, откуда-то чуть ли не из Островского: “Кюшшяйте, кюшшяйте, ваше превсс-дит-сство!”

Эта овеянная стариной формула всегда интриговала меня. Прикинув, что в 1950 году Анне Максимовне было около шестидесяти, было нетрудно вычислить, что она вполне могла успеть до революции побывать в прислугах у какого-нибудь царского генерала или чиновника. Задуматься заставляла, однако, сохранность подобных старорежимных замашек несколько советских десятилетий спустя, наводившая на невероятную догадку, что величание “превосходительством” принято было и у одра советского военачальника. Кто знает, может быть, именно эта архаичность речи обеспечила Анне Максимовне взятие на разговорную должность сиделки?! Наконец, не исключена была возможность, что заставивший уважать себя генерал сам сохранился с царских времен, и, таким образом, перерыва в употреблении архиконсервативной формулы вообще не наступало.

Мама умерла, когда мне было 17 лет; с женами же мне определенно повезло – почти все они готовили вкусно, а некоторые просто замечательно. Одна из них делала это, правда, лишь по большим оказиям, зато с бесспорным искусством, являя фигуру в буквальном смысле редкой хозяйки. Другая была настоящей энтузиасткой и мастерицей кулинарного дела, и ее тем более задевал мой отказ похвалить ее котлеты. Приготовленные каждый раз по новым рецептам, они никак не могли дотянуть до эталона, заданного когда-то мамой и свято хранившегося в моей внутренней палате мер и весов. Но Таня не смирялась с поражением и продолжала борьбу.

Как-то у нас была ее подруга, мы сидели на кухне, и Таня пожаловалась:

– Вот, Лена, стараюсь изо всех сил, но, конечно, опять не выйдут эти загадочные “котлеты его мамы”! То получаются слишком пышные, то слишком нежные, прямо не знаю.

Лена отреагировала неожиданно:

– Котлеты его мамы? Да ты подумай, когда она их делала! Небось, в эвакуации. Положи 90 % черняшки, и все. Подумаешь, котлеты его мамы!

С ходу бухнуть столько хлеба рука у Тани не поднялась, но какую-то поправку в указанном направлении она сделала, результатом чего было заметное приближение к идеалу, и вскоре задача изготовления котлет моей мамы была решена полностью и окончательно.

Вызванный однажды из глубин прошлого и закрепленный с тех пор в нарративе, рецепт маминых котлет обеспечивает им вечное возвращение. Жены приходят и уходят, котлеты остаются.

Из папиных рассказов

Своей любовью к виньеткам я обязан папе, который был мастером устных новелл. Лучше всего они воспринимаются в записи на звуковую и видеопленку, но во многом сохраняются и в письменной передаче. По памяти приведу некоторые из них.

Рамочная конструкция

Когда по какому-нибудь политическому поводу говорили, что такое не может долго продолжаться, папа вспоминал, как в 1918 году его одноклассница (им было по одиннадцать лет), случайно встреченная на трамвайной остановке, бросила ему с подножки:

– Ну, долго же такое продолжаться не может!

Он также любил цитировать Шостаковича, в аналогичных случаях говорившего:

– Были же Средние века. Понимаете? ВЕ-КА!

Тем не менее папы, родившегося за 10 лет до советской власти, достало на то, чтобы прожить столько же и после нее. Он любил симметрию. Ну и, как известно, в России надо жить долго.

Шостакович (1906–1975), наоборот, на десяток с лишним лет не дотянул. В математическом смысле это тоже симметрия, но не зеркальная, а какая-то похуже, кажется, продольная.

Талон на место у колонн

Папа рассказывал, что Шостакович имел обыкновение приезжать на вокзал сильно заранее, чтобы, как только подадут состав, войти в вагон, занять свое место, постелить постель, раздеться и лечь под одеяло.

– Зачем?

– Затем, что если окажется, что на это место продали два билета и придет другой пассажир, то место останется за Шостаковичем как за уже лежащим.

На недоумения типа: он же Шостакович, лауреат, депутат и т. п., так что место ему уж как-нибудь обеспечено – папа отвечал другой историей про Шостаковича и билеты.

В 1930-е годы его даме вдруг захотелось пойти в театр, мимо которого они проходили. В кассе билетов не оказалось. Шостакович готов был ретироваться, но дамочка продолжала напирать: он знаменитость, его все знают, стоит ему назвать себя, как билеты найдутся. Он долго отнекивался, но, в конце концов,

сдался и обратился в окошечко администратора с сообщением, что он Шостакович. В ответ он услышал:

– Ви себе Состаковиц, я себе Рабиновиц, ви меня не знаете, я вас не знаю…

Технические погрешности

Рассказы об успешном противостоянии силе не так неправдоподобны, как мы подспудно боимся. Наезд обычно предполагает пассивность жертвы, а потому продумывается лишь на шаг вперед и контрудара не выдерживает. Папа рассказывал об одном таком эпизоде из композиторской жизни.

Фортепианный квинтет Шостаковича был впервые исполнен в 1940 году, в Малом зале консерватории, автором и квартетом им. Бетховена. На генеральной репетиции присутствовала музыкальная элита, в том числе Арам Хачатурян, бывший уже в чине зампредседателя оргкомитета Союза композиторов. Квинтет имел успех, и Хачатурян одним из первых поднялся на сцену поздравить автора. Но в свои похвалы он внес завистливо-перестраховочную ноту:

– Прекрасная музыка, Дмитрий Дмитриевич. Все великолепно, за исключением разве что мелких технических погрешностей.

Заводить речь о технических недоработках у бесспорного мастера формы Хачатуряну, по слухам, отдававшему оркестровать свои сочинения музыкальным неграм, не следовало.

– Да, да, технические погрешности, технические погрешности, надо их устранить, устранить, немедленно устранить. – Нервно жестикулируя, Шостакович стал созывать исполнителей. – Дмитрий Михайлович, Василий Петрович, Сергей Петрович, Вадим Васильевич, в партитуру квинтета вкрались технические погрешности. Арам Ильич обнаружил досадные технические погрешности, технические погрешности. Сейчас он их нам покажет. Арам Ильич, пожалуйста, к инструменту. Нельзя допустить, чтобы свет увидело несовершенное сочинение, несовершенное сочинение.

Хачатурян всячески уворачивался, но Шостакович продолжал тащить его к роялю, сгребая вокруг него членов квартета, пока тому не удалось наконец вырваться из окружения и спастись бегством.

Не исключено, что сомнительный комплимент сошел бы ему с рук, прояви он больше внимания к его технической стороне – выбору слов.

О политических взглядах

Из истории известно, что первым шагом к развалу социалистического лагеря, а там и СССР, стало освобождение Югославии от советского контроля в 1948 году. Но мы истории не пишем, а вот о том, как в баснях говорят, – об одной апокрифической версии этого эпизода международной дипломатии.

Я услышал ее от папы. Анекдоты о Сталине были любимым жанром его поколения. Они сочетали критический взгляд на величайшего гения всех времен и народов с подсознательным восхищением его властной магией. Особенно же волнующими были те – единичные – случаи, когда сталинская коса находила на камень. Новелла о поединке Сталина и Тито, “двух Иосифов”, относилась именно к этой категории. Речь Сталина папа передавал с характерным грузинским акцентом, который я обозначаю лишь местами.

> “Сталину доложили, что Иосип Броз Тито и Георгий Димитров обсуждают создание Балканской федерации, куда наряду с Югославией и Болгарией вошла бы и Албания, и что они на свой страх и риск поддерживают революционное движение в Греции.
>
> Сталин вызвал Тито к себе. Тот немедленно прилетел в Москву на своем самолете и на машине югославского посольства приехал в Кремль.
>
> Сталин заговорил с ним в своей обычной отеческой манере.
>
> – Ну, расскажи, что это ви там затеваете?
>
> – Кто мы? Никто ничего не затевает, товарищ Сталин.
>
> – Ну как же, говорят, ви с Димитровым что-то задумали на Балканах.
>
> – А-а, это об объединении социалистических народов Балканского полуострова?
>
> – Значит, ти этого нэ атрицаешь?
>
> – Зачем же отрицать – идея, нам кажется, хорошая, прогрессивная.
>
> – Прогрессивная, прогрессивная. Пачиму же вы тогда решили действовать за маей спиной?
>
> – Как это за спиной, Иосиф Виссарионович?! Мы просто не хотели морочить вам голову сырыми идеями, хотели подготовить дело, чтобы вы могли сказать свое веское слово.

– Голову нэ хотели марочить?! Это правильно. Зачэм зря голову марочить?.. Ладно, приходи завтра, вмэсте подумаем…

И Сталин посмотрел на Тито своим лучистым взглядом из-под бровей, давая понять, что аудиенция окончена.

Тито вышел, бросился в машину, погнал на аэродром, к своему самолету, улетел в Белград, арестовал сталинских агентов, закрыл границы, привел войска в боевую готовность – и стал первым коммунистическим лидером, безнаказанно ослушавшимся Сталина. Сталин организовал против него идеологическую кампанию, пытался задушить Югославию экономически, подсылал к нему убийц – все безуспешно. Тито пережил его, дождался приезда Хрущева в Белград с извинениями, но своего независимого курса не изменил и диктату из Москвы не подчинился.

В чем был его секрет? Он прекрасно разбирался во *взглядах* товарища Сталина и других товарищей”.

Эросипед

Одним из устойчивых ранних впечатлений была фигура велосипедистки, проносившейся по пустынным улицам послевоенной Москвы, в частности в районе, где я жил. Это была стройная черноволосая девушка, одетая в соответствующий спортивный, вероятно, импортный костюм, с интеллигентным, несколько смуглым лицом и живыми глазами навыкате, как я теперь понимаю, еврейка (в лице которой, опять-таки задним числом, мне видится сходство с мамой). Я ни разу не молвил с ней ни слова, хотя потом мы пересекались в Доме ученых и, кажется, в Консерватории. Я запомнил ее мчащейся по Кропоткинской (ныне опять Пречистенке) на своем полугоночном велосипеде. Не знаю, почему я решил, что она дочка академика, и даже мысленно определил, безо всяких к тому оснований, какого именно. Тут действовала скорее логика сна и мифообразования, нежели здравого смысла. Никакого продолжения у этого сюжета не было – он остался лишь общим прологом к дальнейшему.

В мою собственную жизнь велосипед вошел (если не считать трехколесного, видного на довоенных снимках) летом 1951 года, перед восьмым классом и четырнадцатилетием. С тех пор с ним было связано так много, что всю мою биографию легко представить в велосипедном разрезе. Я ездил на велосипеде по Москве и Подмосковью, из Москвы в Ярославль и обратно, по Вене, Амстердаму, Итаке, Нью-Йорку, Принстону, Монтерею, Лос-Анджелесу, вдоль Санта-Моникского залива, по одному островку в Бретани, на котором запрещен автомобильный транспорт, и снова по Москве. Ездил днем и ночью, по делам, на заседания, в магазины, ради спорта и в романических целях. Я падал на велосипеде с моста в воду, пару раз был сбит машиной, однажды в пьяном виде в новогоднюю ночь 1965 года поскользнулся на велосипеде на рыхлом снегу около Маяковки и сломал ключицу, а несколько лет назад в Москве упал с тяжелым грузом книг и повредил руку. Велосипеды у меня крали (как-то раз я и сам купил подозрительно дешевый, видимо, краденый, и его потом тоже уперли), они ломались, сменялись – русские, японские, европейские, американские, дорожные, спортивные, горные; не было, пожалуй, только тандема.

Дачная езда на велосипеде (синем, дорожном, марки ЗИС) ознаменовала некоторое мое повзросление, но должна была укладываться в жесткие рамки родительских требований. Возвращаться, в том числе со свидания, надо было к определенному, довольно раннему часу. Мотивировались эти

строгости, разумеется, волнениями родителей за меня. Главнобеспокоящимся была мама; впрочем, папа, более либеральный, но и более педантичный, держал ту же линию. Однажды у нас с ним произошел характерный конфликт на этой почве.

Мы жили на даче в Челюскинской, я вечером поехал кататься, пообещав вернуться в условленное время. Но в самой дальней точке маршрута, по другую сторону железной дороги, у меня что-то сломалось, я долго возился, наконец кое-как починил и, в конце концов, с большим опозданием в полной темноте добрался до дачи. Папа стал неприятным тоном меня отчитывать – за нарушение слова и причиненное беспокойство. Несправедливость этого выговора меня возмутила – может быть, потому, что обнажила садистскую подоплеку всех подобных строгостей. Я ответил, что не вижу оснований для недовольства, наоборот, все получилось правильно. Он беспокоился, как бы со мной чего не случилось, – так вот именно это и произошло, со мной именно случилось, и таким образом его беспокойство и ожидание не пропали даром. Какое-то либерализующее действие эта аргументация тогда возымела, но и в шестидесятилетнем с лишним возрасте, до самой его смерти (2000), я продолжал держать перед ним нескончаемый экзамен по пунктуальности – межконтинентальных звонков и московских возвращений в квартиру, будь то пешеходных, велосипедных или таксомоторных.

А вот сравнительно недавняя история. Написав полупародийный разбор одной эротической пословицы, я послал его своему нью-йоркскому коллеге М. Тот прочел и, смеясь, сказал, что статья напоминает ему меня самого. Я смущенно спросил, чем же именно – имеет ли он в виду что-то из сексуальной сферы. Нет, сказал он, не из сексуальной, а из велосипедной: она написана так, как я ездил у них на велике весной 1993 года.

Вспомнить о своем личном рекорде было приятно. Я тогда прилетел в Нью-Йорк поработать с М. над нашей совместной книгой. У них была двухкомнатная квартирка в Гринвич-Виллидж. Мы работали целыми днями, а ночевал я то у них, то у других знакомых, на противоположном конце Манхэттена, около Колумбийского университета. Курсировал между двумя квартирами на велосипеде – это больше сотни кварталов.

Когда в работе с М. наступал перерыв, я брал стоявший в передней велосипед и пытался объехать на нем журнальный столик в гостиной. Сначала я не успевал развернуться, задевал за мебель и с позором соскакивал посреди комнаты. Но терпенье и труд все перетрут – наступил день, когда я стал свободно

въезжать в гостиную, огибать столик, выруливать обратно в переднюю и даже заворачивать в спальню!

М. сочетает добродушие со злоязычием. Как-то раз, когда я стал восхищаться его умением отыскивать в букинистических магазинах редкие книги, да еще и по дешевке, он сказал, что у каждого свои пристрастия-дарования, вот, например, у меня – к велосипеду. Поэтому не исключено, что и уподобление моих дискурсивных пируэтов велосипедным задумано было как ядовитая ирония. Но я принял его как комплимент. Тем более что, на мой взгляд, велосипед – с его рамой и твердо надутыми шинами, с посадкой в седле, руками на руле, ножной моторикой и общей телесной эквилибристикой, действительно очень сексуален. Написать про эрос на хорошем велосипедном уровне – не хухры-мухры.

Очерки бурсы

Школу полагается ненавидеть; у меня этого не было. Я посещал ее охотно и благодарен ей за немногие прочные знания. Проблематичность школьного опыта дошла до меня не сразу.

Мальчики

В средних классах литературу преподавал высокий, плотный, в потертом щегольском костюме Алексей Дмитриевич Коршунов. Его приветливое, но какое-то голое лицо с большой румяной бородавкой стоит у меня перед глазами. На его уроках требовалось выйти к столу и, руки по швам, бодро рапортовать об образе Онегина или идейном содержании “Муму”.

В этом стандартизованном порядке не все, однако, было так уж стандартно. Ал. Дм. становился позади отвечавшего и своим праздничным фальцетом объявлял:

– Сейчас мальчик такой-то расскажет нам образ Онегина. Станьте прямо, мальчик такой-то. – Он брал ученика за плечи, расправлял их, проводил вниз по его рукам, разворачивал его к классу. – Вот так. Ну, теперь отвечайте образ Онегина.

Школа № 50, 9-*й «Б» (*1953*). Сидят (слева направо) Миша*

Ройтштейн, Володя Джинчарадзе, Лавренов, Андрюша Ильенко. Сзади стоят Жолковский, Гололобов, Ковтун (?), сидит Эдик Абрамов

О нем, кажется, ходили соответствующие слухи, но в мое сознание они как-то не проникали. Его любимцем был Володя Джинчарадзе, рослый, красивый, старательный. Вызывая Володю, Ал. Дм. исполнял ритуал объятий, замаскированных под уроки выправки, с особой нежностью.

– Сейчас мальчик Джинчарадзе, – Ал. Дм. смаковал каждый из четырех слогов этой шикарной фамилии, – прочитает нам наизусть стихотворение Лермонтова “Смерть поэта”. Оглаживая и поворачивая Володю, он добавлял: – Вот какой у нас отличный ученик, мальчик Володя Джинчарадзе.

Я был более бесспорным отличником, но на подобное special treatment претендовать не мог. До восьмого класса я был щупл и непрезентабелен. “У тебя только и есть, что чистенькое личико”, – вздыхала мама. Впрочем, никаким драматическим унижениям я не подвергался (если не считать позорного поражения в драке – “стыкнемся?!” – с одним из слабейших одноклассников), тем более что имел покровителя в лице пышущего энергией Миши Ройтштейна.

На переменах Миша взахлеб пересказывал мне очередные главы из “Трех мушкетеров” и бесконечных лет спустя. Самые яркие места он воспроизводил дословно:

– “О, женщины! Кто поймет их?! Вот женщина хочет мужчину, и вот она уже не хочет его!! – вскричал Портос и поскакал прочь”. – Но это не исчерпывало Мишиного напора, и он то и дело хватал меня за грудки со словами: – Ты понял это, маленький уродец? Ведь ты же знаешь, что я все равно тебя убью?!

Соперничество с Володей Джинчарадзе продолжалось до окончания школы, но было напрочь лишено сюжетной остроты. (В итоге оба кончили с золотыми медалями.) Настоящим вызовом моему лидерству стало появление в классе ученика по фамилии Шелепень. Он был детдомовцем из Белоруссии, жил у дальних родственников и носил всегда одну и ту же серо-зеленую сиротскую одежду с большим красным галстуком поверх курточки. Он шепелявил, походил на Буратино, но назвать его маленьким уродцем язык ни у кого бы не повернулся – жестокость далась бы слишком дешево.

Шелепень тянулся изо всех сил, получал пятерку за пятеркой, я же с аристократической небрежностью позволял себе и четверки. Мама не могла этого слышать. У нее были твердые

взгляды на все, в частности на элитарность.

– Ты из профессорской семьи, у тебя отдельная комната и стол для занятий, и ты просто не имеешь права учиться хуже того, у кого нет таких условий.

Беспризорный Шелепень в дальнейшем опять куда-то переехал, и соревнование прекратилось. Но мамины прецепты остались при мне.

Вечно женское

Школа была мужская – образование оставалось раздельным, хотя где-то существовали и смешанные школы. (Когда пришло время записывать меня в школу, мама спросила, в какую я хочу: где одни мальчики или где мальчики и девочки? Где одни девочки, отвечал я.) В старших классах начались совместные вечера с женскими школами, но и в ранние годы интерес к сексу задавался не одним только монастырским гомоэротизмом Алексея Дмитриевича. Волнующее das ewig Weibliche (Вечная Женственность) присутствовало; его воплощением была преподавательница начальной школы Анастасия Ивановна.

Она вела не наш, а один из соседних классов, но своей учительницы я не помню, помню только ее. Она была полновата, с большими глазами, дугообразно выщипанными бровями, пробором посередине и симметрично уложенными косами; ее лицо напоминало бабочку. У нее был, как я теперь понимаю, слащавый мещанский выговор. Говорила она размеренно, видимо, стараясь казаться изящнее и интеллигентнее, чем была. Ее с удовольствием слушались.

Она жила в здании школы, у нее был муж-офицер, но школьный фольклор упорно связывал ее то с одним, то с другим из преподавателей, одно время – с приблатненным, похожим на мартышку физкультурником. Кто-то из нас прослышал, что по утренней походке женщины можно определить, чем она занималась ночью, и иногда мы, с риском быть застигнутыми завучем вне класса, дежурили после звонка у лестницы, чтобы подсмотреть, как будет ставить ноги идущая на первый урок Анастасия.

Старшие ребята позволяли себе и более прямые, разумеется, чисто словесные, посягновения. “На Асеньке я бы попрыгал”, – авторитетно заявлял многократный второгодник Валера Золотарев. Мне такое в голову не приходило, но облик Анастасии Ивановны ушел на дно моего подсознания, откуда определил, полагаю, не один любовный выбор. Задним числом я бы возложил на нее ответственность за мои скифские вкусы, как на маму – за

семитские.

Уроки Октября

Верховную власть представлял директор школы Федор Иванович Шибанов, по прозвищу Колобок. Он был лыс, кругл, невысок ростом, и хотя страх быть вызванным к директору традиционно висел над нами, я не припомню особых строгостей с его стороны.

Помню другое. Если заболевал кто-нибудь из учителей и его некому было заменить, на помощь приходил Колобок. Делал он это ровно одним способом. Сославшись на свое былое амплуа историка, он рассказывал, как “на VI съезде партии, летом 1917 года, когда встал вопрос о переходе от мирного периода развития революции к немирному, товарищ Сталин задал троцкисту Преображенскому вопрос…” Каверзный вопрос товарища Сталина выветрился из моей памяти, хотя слушал я каждый раз с удвоенным интересом, потому что товарищ Сталин был жив и боготворим, а сын троцкиста Преображенского под другой фамилией проживал в нашем доме.

Олицетворял власть директор, но настоящий страх внушал не он, а завуч, молчаливая седая женщина в очках, по имени, кажется, Зинаида, отчества не помню. Вообще, я ничего о ней долгое время не помнил, пока где-то в 1970-е годы не прочел книгу корреспондента “Нью-Йорк Таймс” в Москве Хедрика Смита “The Russians”. В этом поразительно адекватном этнографическом компендиуме нашей туземной жизни целый раздел был посвящен советской школьной системе – на основании опыта собственных детей, специально отданных Смитом в разные московские школы. Мне открылась мрачная картина унифицирующего угнетения юных душ, в которой я не мог не узнать своего вытесненного прошлого. Я вдруг вспомнил два сна, мучавших меня на протяжении многих лет, а потом успешно забытых.

В одном я якобы проболел больше месяца, страшно отстал по алгебре, грядет контрольная, я к ней не готов и просыпаюсь в холодном поту. В другом, времен начальной школы, я должен был после летних каникул явиться в школьную библиотеку и признаться в потере двух книг, взятых на лето, но страх, что библиотекарша отправит меня к завучу, заставлял бесконечно откладывать явку с повинной.

В результате я не помню ни имени-отчества математички, ни отчества завуча, ни какого-нибудь их словечка, ни чьего-нибудь словечка о них, как ничего не помню и об учительнице четырех начальных классов.

Маму помню ясно – тут Фрейд бессилен.

Саша Самбор

Мне все хочется вспомнить Сашу и хоть как-то зафиксировать его в слове. Не знаю, что мешает. Может быть, то, что подводит хронология, кажущаяся обязательной? Помню я, в общем, немного, но и это немногое мне трудно расположить во времени. Впрочем, как нас убедили Фрейд, Леви-Стросс и Якобсон, ни подсознание, ни мифология, ни поэзия хронологией не озабочиваются, подвешивая все в некой парадигматической одновременности.

Конечно, кое-что датировке поддается.

Мы с Сашей однолетки и учились в одной и той же школе № 50, в параллельных классах, которых к концу осталось два: класс гениев “а”, его, и класс “б”, мой.

Даже среди гениев он выделялся. В частности – породой: стройный, с ясным лбом, откинутыми назад темными густыми волосами, изящным прямым, может, слегка курносым носом. Он был веснушчат, но и это его не портило. Фотографий его у меня нет и никогда не было. (При попытках мысленной наводки на резкость я вижу его лицо проступающим сквозь черты теннисиста Томми Хааса – если поубавить смазливости.)

Одно время в школе передавался его разговор с директором, Колобком.

– Самбор, ты не русский?

– Русский.

– Почему же у тебя фамилия такая?

– А потому что у меня отец француз.

Вот тут опять не уверен. Может быть, не француз, а поляк. Дело в том, что, как это часто бывало в те годы, сталинские, да еще и послевоенные, никакого отца, поляка ли, француза ли, в натуре не наблюдалось – Сашу растила одинокая, очень колоритная мама, преподававшая французский язык. Впрочем, она и польским, кажется, владела, к тому же Самбор – город подо Львовом, в бывшей Польше, ныне Украине, так что не знаю. Не исключено, что фамилия была еврейская (по названию города – как Берлин, Лемберг, Падва), и тогда понятен директорский наезд, особенно если приурочить его к 1949 году или к зиме 1952–1953 годов.

Мы общались, но не тесно. Не помню, бывал ли я у него дома, хотя где он жил, помню прекрасно – над молочным магазином (бывш. Чичкина или Бландова) на углу Кропоткинской (теперь опять Пречистенки) и Мансуровского. Это был второй этаж, и ночью Саша иногда вылезал, а потом влезал через окно,

выходившее в переулок. Колоритная носатая мама одевалась необычно, помню на голове у нее некий сложный берет или даже нечто многоугольное; впрочем, в те годы, поздние сороковые, одевались кто как мог. (У моей мамы на старых снимках тоже очень странные шляпы.)

Держался Саша приветливо, но как-то скорее замкнуто (отчужденно? потерянно?). У него всегда были другие дела. Он был очень спортивен, среди прочего занимался горными лыжами (но уже в школе или только позже, не помню).

Потом мы окончили школу и видеться практически перестали. Я поступил на филфак МГУ, а он во что-то более карьерное – то ли МГИМО, то ли Военный институт иностранных языков. Полиглотство было у него в крови, а почему он в 1954-м выбрал такой вуз, можно лишь догадываться. Возможно, из любви не только к языкам, но и к дальним странствиям, каковые впоследствии не преминули материализоваться.

Дальше хронология сбивается. Соотнести по времени несколько запомнившихся эпизодов просто не могу.

Когда я, ради сомали, поступил на полставки на Радио (1964), оказалось, что Саша там уже работает, и мы пару раз пересеклись у лифта.

Потом в какой-то момент оказалось, что он, как и я, но не помню, кто раньше, кто позже, подписал письмо протеста (я в 1967-м) и что ему грозит увольнение.

Кажется, его не столько уволили, сколько вдруг забрали в армию, чту они, возможно, имели право сделать в любой момент, если по специальности он был военным переводчиком.

В армии он служил по языковой части, и вот опять не уверен, сначала ли в Одессе, а потом в просоветской Гвинее или наоборот. Может быть, в Гвинею (Мали?) он был отправлен (распределен?) ранее, до осложнений с властью, а в Одессу именно сослан потом – за подписантство или какую-то другую идеологическую провинность.

В Африке он остался верен себе и выучил местный язык – малинкег, учебник которого, отпечатанный на дешевой колониальной бумаге, по возвращении подарил и мне, но я, довольствуясь сомали, вгрызаться не стал.

А в Одессе он с моей (в опальном ореоле диссидента?) подачи подружился с компанией моих знакомых и, насколько понимаю, завел дежурный роман с тамошней прелестницей-интеллектуалкой Ксаной (от чего я в свое время уклонился, но это особая история).

Впрочем, по воспоминаниям некоторых из общих знакомых, пребывание в Одессе могло быть не долгой ссылкой, а короткой

карательной командировкой (году в 1964-м) то ли на курсы усовершенствования, то ли, скорее, для переводческого обслуживания приезжих кадров – кубинцев и гвинейцев. И вроде бы в Одессе он с удовольствием вспоминал о своей загранке, бывшей, значит, уже в прошлом.

В какой-то момент – не решаюсь поместить его до или после политических событий, не исключено, что после подписантства, в 1970-е, – мы снова сблизились. Да, наверное, уже после того, как я женился на Тане (1973), потому что заходить он стал, похоже, не столько ради меня, сколько ради нее. Таня, кстати, была горнолыжницей, и интерес мог начаться с этого. Так или иначе, он стал заходить и даже один раз увязался с нами за город, причем мы катались на беговых, а он мучительно тащился на горных, что крайне трудно и к тому же, кажется, вредно для ног. Потом его увлечение как-то сразу прошло, и он опять исчез с моего горизонта.

Но может быть и так, что засматривался он не на вторую мою жену, а на первую, Иру, и тогда загородный анабазис надо отнести на десяток лет раньше (мы с Ирой разошлись в 1965-м).

Потом мне рассказали (или он сам рассказал?), что, катаясь на Кавказе, он сильно поломался, чуть ли не повредил позвоночник, так что горные лыжи больше ему не светят, и он страшно это переживает.

И последнее – тут сомнений в порядке событий быть не может, хотя датировка остается смутной: на пьянке в общежитии МГУ на Ленгорах (или в собственной квартире – он был женат, и, кажется, не очень счастливо: жена была сильно старше, с дочкой лет пятнадцати, и острили, что ему надо было дождаться ее) он решил щегольнуть проходом по внешнему карнизу из одной комнаты в другую (был такой спорт), сорвался и разбился насмерть. Подозревали самоубийство.

Когда это произошло? Году в 1970-м? В 1975-м?

Но одна дата известна мне совершенно точно. Саша Самбор родился 8 сентября 1937 года, в ту же ночь, в том же родильном доме, на том же столе, что и я. Там наши мамы познакомились, и эта тень двойничества всегда нас немного осеняла. Но вот уже десятки лет, как его нет в живых, а я продолжаю притворяться непогибшим, то более, то менее удачно, в частности путем вампирических воспоминаний о покойных.

“А” и “Б”

Поступив на филфак (1954), я обнаружил среди студентов своей английской группы соученика по школе, Витю С. По школе, но не по классу: он учился в классе “а”, заповеднике гениев, а я – в плебейском “б”, где к гениям отношение было подозрительное. Как-то раз наша классная руководительница тоном выговора заметила мне, что по своему складу я больше подхожу к “а”, и она может позаботиться о моем туда переводе, понимай – изгнании. Дело это, однако, дальше не пошло, и я окончил школу, хотя и с золотой медалью, но с неизбывной печатью класса “б”.

Началось все это тем летним днем 1944 года, когда мама повела отдавать меня в школу. Поступавших в первый класс было много – более двухсот человек, которых, наскоро прикинув уровень их умственного развития, распределяли по классам, от “а” до “д”. Завуч спросила маму, считает ли ребенок до ста. Мама, поколебавшись, ответила утвердительно, полагая, что со сложением и вычитанием в пределах ста я как-нибудь справлюсь; насчет умножения и деления полной уверенности у нее не было. Завуч, имевшая в виду всего лишь умение продекламировать числовой ряд: “один, два, три… девяносто девять, сто”, покачав головой, зачислила меня в 1-й “д”, и вся моя школьная жизнь прошла среди хулиганов и двоечников, которые, впрочем, неуклонно отсеивались, так что к выпускному финишу пришло два класса по тридцать человек – 10-й “а” и 10-й “б”.

Общность школьного происхождения сближала нас с Витей, и на факультете мы первое время держались вместе. Мужское население филфака немногочисленно, зато каждый считает себя гением и культивирует свою оригинальность. Вите это давалось без труда. У него были большие, красивые, но разные глаза – один коричневый, другой зеленый. Уже в школе он носил костюм и галстук. Он курил трубку и умел пить коньяк (его отец был директором – метрдотелем? – ресторана). Он непринужденно перемежал свою речь словами “душа моя” и “голуба”. К урокам он не готовился, лекции пропускал, был невозмутим и молчалив, а когда высказывался, то ронял что-нибудь уайльдовское. Как-то позднее, курсе на втором или третьем, он сообщил мне, что только что разошелся со своей подружкой, и на мой вопрос, где же она, произнес: “Оне пошли бросаться под машины”.

На филфаке было принято, что кафедры вывешивали темы предлагаемых курсовых работ у входа на третий этаж (мы учились в старом университетском здании, Моховая, 11). Стены

напротив лестницы, сами двери этажа и стены коридора за дверьми были покрыты листами бумаги с отпечатанными на машинке названиями тем. Меня, зеленого первокурсника, эти списки и страшили, и влекли – я читал в них вызов своему честолюбию.

– Витя, – сказал я, – давай пойдем на кафедру, выберем темы…

– Зачем, душа моя?

– Как зачем? Чтобы попробовать свои силы в науке, добиться результатов, завоевать уважение…

– Это тебе, душа моя, чтобы уважать себя, нужно писать курсовую, а я себя, голуба, и так уважаю.

Ни на какую кафедру мы тогда не пошли, без курсовых же, разумеется, не обошлось. Впрочем, филологом Витя не стал (это особая история), психологом же оказался неплохим. До сих пор я все что-то пишу, стараясь заслужить собственное уважение, но с переменным успехом, ибо ходить “на кафедру” так и не научился и по-прежнему обретаюсь в разного рода учреждениях класса “б”, – хотя вроде бы больше подхожу к “а”.

Против инварианта не попрешь.

Comrades Petrov and Smirnov

Лекции по грамматике нам читала О. С. Ахманова. Практические занятия по языку вели рядовые преподаватели, но в научные дебри они не пускались. Это была прерогатива Ахмановой, вдовы самого Александра Иваныча – А. И. Смирницкого. Анна Константиновна Старкова, которая вела нашу группу, говорила:

– What I teach you is how to speak English. And then Olga Sergeevna will come and give you all kinds of theories. ("Я учу вас, как говорить по-английски. А потом придет Ольга Сергеевна и обучит вас разным теориям".)

Ахманова говорила на изысканном литературном английском, с большим количеством слов латинского происхождения. Лекции она читала с закрытыми глазами. В ее случае эта наглядная демонстрация свободного владения материалом имела, как я узнал несколько позже, особую подоплеку: считалось, что при опущенных веках не так быстро образуются морщины в уголках глаз. Для нас же это означало возможность безнаказанно заниматься посторонними делами.

Однажды по ходу лекции она сказала что-то остроумное и открыла глаза, чтобы насладиться реакцией. Но оказалось, что ее не слушают: одни спят, другие делают домашние задания. Ее острота упала в совершеннейшую вату.

– Now, comrades, – сказала Ахманова, – when I am trying to be witty, I expect you to laugh. ("Товарищи, знаете ли, когда я пытаюсь острить, я ожидаю, что вы засмеетесь".)

Таково было первое на моем жизненном пути явление английского юмора.

Как-то раз Ахманова раздавала курсовые работы по языку Шекспира. Юра Щеглов был рад случаю заново перечитать все пьесы в поисках какого-то там предлога или типа сложных слов. Володя Л., напротив, был готов к научным изысканиям лишь в пределах "Отелло". Оценив ситуацию, Ахманова сказала:

– All right then, comrades. Comrade L. shall concentrate on *"Othello"*. As for comrade Shcheglov, I feel I am under the necessity to ask him kindly to confine himself to *"non-Othello"*. *(*Отлично, товарищи. Пусть товарищ Л. сосредоточится на "Отелло". Что же касается товарища Щеглова, то я чувствую, что я вынуждена буду просить его ограничить свои усилия «не-Отелло»"*.)*

Настойчивое comrades здесь не случайно. Я до сих пор помню (и иногда рассказываю своим американским студентам), что одной из первых прочитанных мной в университете английских

фраз было: “Comrades Petrov and Smirnov went to the dining room”. (“Товарищи Петров и Смирнов пошли в столовую”.) При этом под dining room, что по-английски означает столовую комнату в частном доме, то есть столовую в смысле профессора Преображенского, по-шариковски имелась в виду столовая общественная.

Так или иначе, мы научились прилично читать, писать и говорить по-английски, чем впечатляли своих сокурсников с русского отделения. (“Ты как – читаешь и сразу переводишь?” – спрашивали они.) Что хромало, так это произношение, вопреки усилиям нашей фонетички. На ее требования упражняться в тонкостях английской артикуляции я отвечал:

– Ирина Федоровна, ну зачем мне это? Ведь мне же никогда не придется притворяться американцем?!

Чеширское

Даже в нашей разношерстной английской группе романо-германского отделения филфака МГУ созыва 1954 года Боря Сухотин выделялся своей непохожестью. С этим умнейшим человеком я провел пять лет бок о бок, но остался практически незнаком. Заглянуть за его непроницаемую маску мне случилось лишь однажды, и то мельком.

Наименее особенными в группе были, естественно, две “девочки”: Катя Демьянюк, долговязая, носатая, безгрудая, незлобная – явная будущая преподавательница, и Галя Андреева, веснушчатая, энергичная, с высоким лбом, претензиями на женственность и задатками заведующей того или иного масштаба. Кем она стала, не знаю. Уже после окончания университета мы с ней пытались “встречаться” и даже предавались катанию по ночной Москве на велосипедах, но все это совершенно не вытанцовывалось и ни к чему не привело.

Был студент по фамилии Мацевич, необычайно высокого роста (много выше моих метра восьмидесяти девяти), тощий, с вечными прыщами на бледном нездоровом лице, всегда при галстуке и в черном костюме, но потертом, лоснящемся. Он держался с каким-то жалким достоинством и излучал постоянную ауру болезни, бедности и несчастья.

Прямой противоположностью ему был Володя Аркадьев, здоровяк, бабник, охальник, сын крупного советского дипломата. Жениться он собирался – и, кажется, женился – на сокурснице Эллочке, дочери другого видного функционера, но попутно развлекался с несколькими другими русистками (в том числе восточной красавицей Заремой; она дарила кокетливыми улыбками и меня, но я тогда ничего в этом не понимал, а жаль). Забавно, что, пойдя в дальнейшем, хотя и недалеко, по дипломатическим стопам своего отца, Володя выбрал в качестве страны пребывания Сомали (языком которой я занимался в ипостаси невыездного филолога-диссидента), прослужил там некоторое время, что-то даже выучил, но в дальнейшем спился и, как мне сообщили, уже умер. В Википедии следа не оставил.

О себе и Щеглове, фигурах тоже не совсем стандартных, я писал достаточно, вспоминал и о выдающемся разве что своей ригидной советскостью Володе Львове.[4] Поэтому перехожу наконец к Боре Сухотину, который, подобно Львову и в отличие от четверых остальных мужчин, был низкого роста. И, в отличие от всех вообще в группе, – молчалив, сосредоточен на себе, даже мрачноват, с ним трудно было встретиться глазами. Глаза же его,

маленькие, черные, как у птицы или насекомого, смотрели пристально и в то же время отчужденно. Лицо было не загорелое, но желтовато-смуглое, а голова непропорционально большая, и держал он ее очень прямо, тогда как спину слегка горбил. То есть, как я теперь мысленно его себе представляю, гляделся неулыбчивым мудрым карлой.

Ни в каких мероприятиях Боря не участвовал, в турпоходы не ходил, научных кружков и вечеринок не посещал, в волейбол не играл – сводил свое присутствие к минимуму. Учился отлично.

Когда мы окончили курс и я прибился к машинному переводу, я потерял было его из виду – он не входил и в эту тусовку, но потом оказалось, что именно структурной и математической лингвистикой он и занимается, причем построил уникальный алгоритм морфологического анализа любого языка как неизвестного – дешифрующий его структуру исходя из простейшей идеи, что гласные чаще соседствуют с согласными, чем с другими гласными, и наоборот. Из этой минимальной посылки с помощью остроумной компьютерной программы извлекались богатейшие результаты. Интернет только что донес мне, что по своей работе Б. В. Сухотин опубликовал две книги (в 1976-м и 1984-м), дожил до перестройки, но в 1990-м умер – в возрасте всего 53 лет.

Из немногочисленных разговоров с ним помню один, возможно, спровоцированный каким-нибудь моим шуточным стишком с эффектной каламбурной рифмой. Он сказал, что такие рифмы неинтересны. “А какие же интересны?” – спросил я. “Ну, например, такие, – сказал Боря:

На лице у товарища Го*мулки*
Довольно странная ух*мылка*.

Владислав Гомулка был тогда главой польской компартии и очень тревожил хрущевское руководство своими реформистскими порывами. Декламируя стишок, Боря, в согласии с его содержанием, слегка улыбнулся – в первый и последний раз на моей памяти.

Троянской войны не будет

“Спецподготовку” студенты-гуманитарии второй половины 1950-х годов – будущие пехотные офицеры запаса – проходили на спецкафедре. Это стыдливо-секретное наименование не мешало ее преподавателям расхаживать в военной форме, стуча сапогами, но оно же выдавало неожиданное пристрастие к таинствам Слова. Сказывалось и наступление “оттепели”, явившейся на свет, подобно Афине, логоцентрическим способом. И вообще, давала о себе знать подозрительная разговорность всего этого военного дела.

– Филологи мне как-то ближе, – начал первое занятие по тактике моложавый капитан Кириллов, выпускник иностранного факультета военной академии.

Журя студента за неумелую разборку оружия, он приговаривал:

– Это вам, Аркадьев, не перевод из Бернарда Шоу!

Но и сама разборка – операция, требовавшая простейших ремесленных навыков, – содержала шикарный филологический компонент. Надо было не просто разбирать и собирать винтовку, но и последовательно называть ее части: “ствол”, “затвор”, “газовая камора” (а не, упаси боже, “камера”) и производимые над ними действия: “легким постукиванием отделяем…” (что от чего, не помню, но “легкое постукивание” незабываемо).

В случае винтовки декламация хотя бы имела мнемонический смысл, но иногда ее гипостазированная вербальность выступала в чистом виде.

– Что т’аа-кх’оэ наз’вается фвыстреллл? – в одной руке держа указку, а другой поглаживая свой бритый череп, вопрошал с лекторской трибуны полковник Бицоев.

И тут же отвечал:

– Фвыстреллл наз’вается в’брасывание боевого с’наряда из стфвола огнестрельного оружия под действием быстрого расширения газов фв газовой каморе.

В армейской практике, учитывая разноязыкую малограмотность солдатского контингента, эти словесные упражнения, возможно, выполняли цементирующую образовательную функцию, но нас они настраивали на издевательски коллекционерский лад. Было очевидно к тому же, что схоластическими дефинициями подменялась реальная подготовка, ибо оружие нам выдавалось самое элементарное и устарелое, стрелять нас не учили, а занятия тактикой на ящике с песком – этом миниатюрном театре военных действий – носили

отчетливо условный, сценарный характер:

– Новые вводные [то есть, в переводе на язык Станиславского, новые предлагаемые обстоятельства]. В 12:00 войсками одной иностранной державы был нанесен тактический ядерный удар по району… Наши части в составе двух рот при поддержке танков закрепились на участке… Ваше решение, товарищ командир!..

Возглавлял кафедру, как водится, генерал – с надежной, образованной от простонародного мужского имени фамилией Данилов. Он выглядел внушительной, но почти полной развалиной – большой, лысеющий, с желтым, видимо, из-за расстройства печени, лицом и одышливой походкой. В классе он появлялся, только когда надо было заменить заболевшего преподавателя. До специальных тем он не снисходил, полагая, что его рангу приличествует жанр высоких военно-философских откровений.

– Знаете ли вы, что такое война? – начинал он.

– Войны не будет, товарищ генерал, – подавал кто-нибудь голос. – Ведь мы за мир, товарищ генерал.

– Наслушались хрущевской хуйни?! Будет война! Люблю войну!.. Кругом дым, снаряды. Рука летит, нога. Будет война! Будет! – Ослабев от жестикуляции, он вяло отирал лоб и отпускал нас, не дожидаясь звонка.

Какое-то количество рук и ног в дальнейшем действительно полетело, но большая война “с одной иностранной державой”, мизансцены которой были столь тщательно разработаны, не состоялась. Как, уже переселившись в эту державу, я узнал из тезисов некой деконструктивистской конференции по политологии, ядерная стратегия двух военных блоков имела строго дискурсивную природу, строясь по несложной схеме воображаемого диалога: “Если мы нанесем такой удар, вы ответите таким; тогда мы такой, а вы такой; потом мы так, а вы так… Не-а, не стоит”.

Уж не филология ли, разъев милитаристский костяк, спасла мир?

Военный лагерь, зима 1959 *г. Поют сидя А. Жолковский, Ю. Щеглов, Ф. Дрейзин, В. Аркадьев. На верхней койке Белявский (?)*

Деревенская проза

Воспоминания о добровольно-принудительных поездках в колхоз, особенно полвека с лишним спустя и в ореоле бахтинского карнавала, у меня не самые плохие. Это было, что называется, очень познавательно в житейском, а главное, филологическом смысле. К тому же мужчины в колхозе, как и на филфаке, редкость, и мы ценились вдвойне.

Нас с Юрой Щегловым стал сманивать к себе на грузовик шофер “дядя Коля”.

– Что вы там с девками заработаете на прополке-хуёлке? – Он назвал копейки, положенные за трудодень в поле. – А у меня ездка – рубль.

Убедил нас не столько коммерческий расчет, сколько перспектива месяц прокататься с ветерком вдали от коллектива. И, конечно, соперничество с приятелем по английской группе Володей Аркадьевым, уже определившимся в грузчики на другую машину.

Дядя Коля был солидный, с седоватой щетиной семьянин (“старик лет сорока”, написал бы Толстой). Дионисийское начало в бригаде представлял местный грузчик “дядя Миша”, здоровый парень в черном ватнике, однажды уже отсидевший, а теперь снова арестованный и временно выпущенный в ожидании суда, кажется, за убийство. Он много матерился и то и дело затаскивал дядю Колю в попутные чайные. В результате за день выходило не больше одной-двух ездок. Коммерция страдала, но мы прекрасно проводили время, лежа в кузове или на травке и беседуя о том о сем.

Из дяди Миши помню одну фразу – в пользу пива против минеральной воды: “Вода плотину рвет”. По неопытности я принял эти слова за народную мудрость, но постепенно убедился в их урологической некорректности. О вкусах же, разумеется, не спорят.

Дядя Коля был более аполлоничен – за машину отвечал он. Как-то утром, явившись на работу, мы застали его у грузовика с поднятым капотом. Оглядев окрестный пустырь, дядя Коля сказал:

– Принеси-ка мне вон ту хуйню.

Проследив за его взглядом, я вопросительно указал пальцем на небольшую железку, он кивнул, и я, в амплуа ученика-подмастерья, притащил ее. Дядя Коля стал ковыряться в двигателе, а мы с Юрой обсуждать феномен “хуйни”. В жизненном плане поражала органическая, так сказать, подножная

укорененность советской техники в ландшафте, с гарантией поставляющем все необходимое для ремонта. Лингвистическим открытием было употребление слова, до тех пор воспринимавшегося как абстрактное существительное (типа “болтовня”), в предметном значении (в котором нормативной представлялась “хуёвина”).

Самый яркий эпизод нашей грузчицкой жизни был связан со срочным отвозом на мясокомбинат двух заболевших свиней. Их было трудно грузить и еще труднее сгружать – за время поездки они как-то нехорошо посинели и сами уже не шли.

Встречать их вышли две женщины в белых халатах.

– Ветеринары или техники? – спросила одна из них. Она приняла нас за студентов-практикантов.

– Техники, – бодро ответил я, полагая, что от ветеринаров может потребоваться слишком много.

– Померьте температуру. – Она протянула мне градусник.

Детали публично проявленной мной неосведомленности в выборе отверстия я опускаю.

Так или иначе, приемка состоялась, и, подталкиваемые нами, полумертвые свиньи сделали первые шаги к превращению в мясопродукты.

Вечером Володя, выслушав наш рассказ, припечатал с фольклорной краткостью:

– По людям – и свиньи!

– ЖЖ-

В первые же университетские каникулы (зимой 1954–1955 годов) я поехал в студенческий дом отдыха “Широкое”, где подружился с соседями по комнате – историками пятого курса. Вдвоем с одним из них мы как-то отправились на лыжах в далекое село за выпивкой.

Любителям лыж, велосипеда, гребли и других спортивных, но устарелых способов передвижения знаком особый кайф их практического применения. В мире Джеймса Бонда он взбивается до суворовских масштабов лыжной погони через Альпы, в мире рядового человека – одухотворяет скромную поездку на велосипеде за хлебом (на лыжах за водкой; на лодке за керосином и т. п.). Супермен по мере использования легко расстается со своими лыжами, аквалангами и арабскими скакунами, перед эвриеном же, рядовым, особенно русским, встает проблема сохранности транспортного средства. В первую очередь это касается лыж и велосипедов, идеально подходящих для угона.

Около магазина мы сняли лыжи, огляделись и, не видя признаков опасности, стали прислонять лыжи к стенке. Случившийся рядом мужик сказал, образцово окая:

– Лыжи-т*о* не стан*о*вь – спи*жж*ут.

В память, однако, врезалось не столько двойное “о”, сколько двойное, почти тройное “ж” – в согласии с известным положением структурной поэтики, что важна не звукопись сама по себе, а ее смысловая иконика. Как в анекдоте про проститутку, работающую теперь с писателями и объясняющую своей былой уличной коллеге, что такое “пенис” (примерно то же, что “хуй”, только помягче), – “спижжут” – это, в сущности, карамзинское “воруют”, только иконичнее.

Постой, паровоз…

Стажировку в военном лагере после 4-го курса (лето 1958 года) филологи проходили вместе с журналистами, из которых мне навсегда запомнился вирильный Валера Кузьмин.

Валера был боксер, с мощным торсом, шеей и бицепсами, с маленькими глазками, низким лбом и блатным выражением лица; очки, узкие, в железной оправе, не спасали. Но его блатные манеры и интонации излучали не столько угрозу, сколько обходительность, и венчалось все это пением под гитару, собиравшим вокруг Валеры толпу почитателей, меня в том числе.

Блатные песни уже тогда – до Высоцкого – пелись достаточно широко, неся дозволенную антисоветскую и контркультурную дозу, и Валера был, в своем кругу и масштабе, признанным мастером жанра. От него даже я, лишенный музыкального слуха, кое-чему научился. Может быть, потому, что Валера как-то выделял меня, ища моего интеллектуального союзничества не меньше, чем я его – компанейского, силового, витального.

В его репертуаре были такие песни, как “Воровку не заделаешь ты прачкой…”, “Вот мчались мы на тройке, хуй догонишь…”, “Постой, паровоз, не стучите, вагоны…” (вскоре растиражированная), и университетские частушки вроде:

Мы Шиллеров и Гётев не читаем, да-да,
Мы этих чуваков не понимаем, да-да.
Раз-другой их почитаем,
Как зараза, хохотаем,
Ничего в дугу не понимаем, да-да.

Я от МГУ, а ты от Чили, да-да,
Мы были на приеме у Черчилля, да-да.
У него бостон в полоску,
И вобще он парень в доску —
Где они такого зачепили?

Блатной прононс наводился заунывной назализацией гласных; в унисон с ней постанывали и исконно наличные носовые:

Постой, паровоз, не стучите-мм вагоны-мм,
Кондуктор, нажми на тормоза-мм.
Я к мамыньке родной с последним поклоном-м

Спешу-мм показаться на глаза-мм.

За недолгий лагерный месяц Валера стал моим кумиром – одним из чреды мужественных покровителей, волшебных помощников, житейских наставников. Он жил, умел жить, обладал заразительным вирусом жизненности.

Как-то в лагере показывали кино. На открытой площадке рядами поставили скамьи для зрителей, а экран натянули, не помню, то ли просто на открытом месте, то ли на сцене типа раковины. Рядов было много, зрителей сотни и сотни, естественно, одних мужчин в военной форме. Валера просил занять для него место, но долго не появлялся и вынырнул уже из темноты, в самый последний момент – с пальцем, поднесенным к губам (тихо!), и – “с бабой!” В лагере, откуда, казалось бы, три года скачи, ни до какой бабы не доскачешь, это было чудо. Посильнее, чем в “Фаусте” Гёте, ибо Валера обошелся без Мефистофеля.

Потом в Москве мы иногда сталкивались в университетском садике на Моховой, но постепенно я потерял его из виду. А через год мы вообще окончили, и сталкиваться стало негде. Однако я вспоминал его с нежностью и как-то спросил о нем у общего знакомого.

– Валера? Умер.

– Как умер?! Такой здоровяк!

– От менингита. В 22 года.

…С тех пор прошло столько и еще раз столько;[5] я напеваю его песенки и даже пытаюсь вызвать его дух мемуарной каббалистикой. В общем, как зараза, существую, да-да.

“Пусть оно меня и моет”

Когда после 2-го, кажется, курса мы были посланы в колхоз, Юра Щеглов поражал всех полным уходом от цивилизации: не брился, не заботился о мытье, ходил в пиджаке, заправленном в брюки (Аркадьев острил, что получается визитка). На советы, как устроиться с мытьем, он отвечал:

– Меня это совершенно не интересует. Я приехал не по своей воле. Государство меня сюда привезло, пусть оно меня и моет.

Однажды, много позднее, он в очередной раз стал обвинять государство во всех своих бедах, включая долги знакомым. Я спросил его, каким образом одолжившая ему три рубля сотрудница – государство. Он ответил:

– Почему Нина – государство?! Потому что… потому что государство – это не я!!

Другое оригинальное определение он дал в письме из колхоза домой: “Мы живем хорошо, много сачкуем. Сачкование же есть отдых без отрыва от работы”.

Иногда на него нападала экзистенциальная тревога.

– Все так бессмысленно, что неясно, зачем жить.

– Ну как же, вот ты занимаешься поэтикой. У тебя к этому явно талант.

– Ну и что, кому это нужно? Никто моих работ не понимает.

– Почему? Умные люди понимают. Вот NN тебя похвалил. Тебя прочтут, оценят.

– Ну и кому от этого польза, кроме окружающих?

Западное кино

Уже самые ранние киновпечатления были от западных фильмов. Где-то лет шести – от диснеевского “Бэмби”.

В одной незабываемой сцене ноги олененка разъезжаются на льду во все стороны, и живот оказывается прижат к поверхности в невольном двойном шпагате. Какие-то дружественные зайцы пытаются то с одной стороны, то с другой подпереть его ноги, но безрезультатно.

Тут я, по рассказам мамы, стал всхлипывать:

– Ведь ясно же, что он никогда не встанет!..

Помощные звери тем временем сорганизовались, налегли со всех четырех сторон и поставили Бэмби на ноги. Но в памяти отпечаталась картина отчаянного бессилия.

(А недавно я впервые посмотрел “Книгу джунглей” и пришел в полный восторг. Но, поделившись этим со своим американским аспирантом, услышал, что Диснея любить стыдно – типичная голливудская жвачка.)

После войны показывали множество трофейных фильмов, в том числе бесконечного “Тарзана”, и московские дворы несколько лет оглашались подражаниями его сигнатурному зову с додекафонными переливами.

Все помнят стремительные перелеты Тарзана на лианах и спринтерскую погоню за косулей, но меня больше всего поразили его подводные пируэты в одной из серий, тронувшие своей, как бы это сказать, немужественностью. Тарзан плавает там вместе с Джейн в порядке отдыха, и потому не по прямой, взрезая поверхность бурным кролем или баттерфляем, не на скорость, как профессиональные пловцы, а медленно кружа, как бы вальсируя под водой без единого всплеска (завораживала и сама аквариумная съемка). Это было тем более эффектно, что Тарзана играл чемпион мира по плаванию Джонни Вайсмюллер, атлетический гигант, от которого такой преждевременной политкорректности ожидать не приходилось.

(Много лет спустя пронеслась весть, что он разбился о подводные камни где-то в Мексиканском заливе, соревнуясь с местной малышней в нырянии за жемчугом.)

А году в 1962-м в Москве демонстрировался документальный фильм “Америка глазами француза”. Фильм был полнометражный, цветной, брызжущий красками, энергией и здоровьем, доверху набитый небоскребами, автомобилями, горными и водными лыжами, скутерами, яхтами, рок-н-роллом, загорелыми телами на тихоокеанских пляжах… Стояла оттепель,

и поглядеть на завлекательную Америку нам дали, но все же лишь глазами француза. Фильм был по-европейски утонченный – об Америке глупой, примитивной, дикарской, но я и по такой взгрустнул по ней. Когда я вышел из кинотеатра, Пушкинская площадь показалась черно-белой.

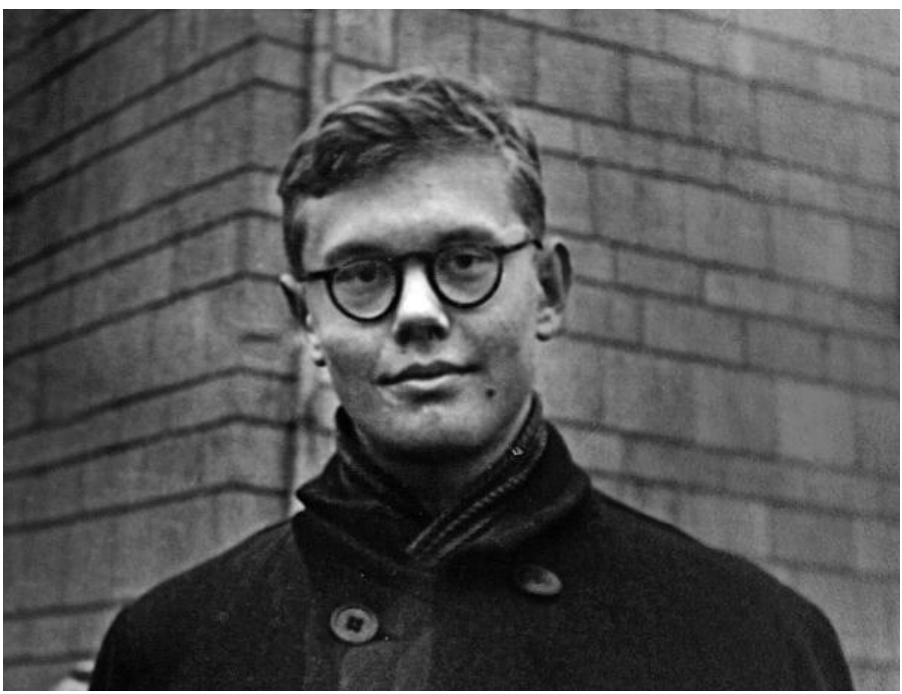
Мне было 25 лет, и мысль об эмиграции, правда, в сугубо виртуальном плане, меня, конечно, посещала. Но после фильма я надолго выбросил ее из головы. Было ясно, что я безнадежно опоздал – что в эту молодую, динамичную, праздничную жизнь мне, человеку, совершенно уже сложившемуся, соваться нечего.

(На подготовительное помолодение ушли следующие полтора десятка лет, но по переезде в Америку, особенно в Калифорнию, процесс пошел быстрее. Таким старым, как на том сеансе, чувствую себя лишь изредка.)

На Моховой

Это было, скорее всего, весной 1955 года, в конце первого курса. В перерыве между занятиями мы с Юрой любили сидеть в университетском скверике. За спиной была Моховая, слева – вход на филфак и журналистику, прямо – арка, ведущая в столовую, над ней – вход в читалку. На первом курсе – потому что явно в ранней и глупой молодости; не самой первой осенью – потому что мы были уже достаточно знакомы; весной – потому что было тепло и можно сидеть на скамейке.

Скверик населяли в основном студенты, но заходили и посторонние, так или иначе тяготевшие к университету – старые выпускники в поисках юных невест (одна моя сокурсница встретила своего на редкость занудного мужа именно там, они так и живут вместе уже полвека), исключенные или бросившие по иным причинам и, наоборот, еще только мечтающие о поступлении.



*Юра Щеглов (*1955*)*

Иногда там появлялся напряженного вида человек лет двадцати пяти, с резкими чертами лица и пронзительным взглядом. Он почему-то выделил меня, однажды представился:

“Володя Агол!” – и несколько раз с места в карьер заводил со мной разговоры, поражая упоминаниями о неизвестных мне людях, книгах и проблемах (кажется, от него я впервые услышал о Фрейде). Он гордо нес терновый венец изгоя, прото-диссидента, жертвы антисемитизма. В дальнейшем я никогда его не встречал, а недавние расспросы знакомых и поиски по Интернету ничего не дали.

Он держался особняком, заговаривал только со мной и, если я был с Юрой, к нам не подходил. Возможно, во мне он чуял родственную еврейскую душу, у Юры же на лице было написано все исключительно русское. Юра отвечал ему взаимностью, и когда видел меня в его обществе, тоже не подсаживался.

Внешность Юры не обманула Агола и в том, в чем обманывала многих. Знающие Юру лишь поверхностно, видят в нем Пьера Безухова, тогда как на самом деле он оригинальнее, сознательнее, глубже, но и запутаннее, мрачнее, ядовитее. Тут, однако, нашла коса на камень – мрачностью они могли поспорить друг с другом и с кем угодно.

Как-то я сидел с моим новым знакомцем. Издали Юра не заметил его и направился было ко мне, но в последнюю минуту понял свою ошибку и глядя в сторону, руки за спину, прошел мимо.

– Вот идет человек, который подавляет свои желания, – сказал Агол.

Это было верно в буквальном смысле – Юра хотел подойти ко мне, а сделал вид, что и не думал. Но, как я понял, с тех пор по-новому вглядевшись в его лицо, то есть позволив себе довериться давно вытесненному первому впечатлению, это было верно и вообще.

Тогда я не знал (и узнал лишь много лет спустя, из чьих-то воспоминаний), что в кругах завсегдатаев наш скверик любовно именовался *психодромом*.

Выбранные места из переписки с Хемингуэем

Это было давно, более сорока лет[6] назад. Летом 1957 года в Москве должен был состояться Международный фестиваль молодежи и студентов. Подготовка к этой операции по контролируемому приподнятию железного занавеса, первой после смерти Сталина, началась задолго. Меня, третьекурсника филфака МГУ, она коснулась двояким, нет, трояким образом.

С одной стороны, факультетские инстанции рекомендовали меня к участию в фестивале в составе некой дискуссионной группы по западной литературе. Первым же поручением, возложенным на меня в этой роли, было написание письма Хемингуэю. Совершилось это так. В перерыве между занятиями ко мне подошел Дима Урнов, тогда студент 4-го курса, в дальнейшем потомственный советский литературовед-зарубежник, во времена перестройки главный редактор “Воплей”, ныне, кажется, трудящийся Среднего Запада и во все периоды своей жизни – жизнелюб и лошадник. С широкой улыбкой человека, привыкшего быть на коне, Дима сказал: “Почему бы тебе не написать старику Хэму, которым ты занимаешься?”

Хемингуэй незадолго перед этим стал лауреатом Нобелевской премии (1954), но до его массового культа в кругах советской интеллигенции было еще далеко. “Старик и море” (1952) был опубликован по-русски более или менее сразу (1955), но “Колокол” (1940), по слухам давно переведенный, оставался под спудом, как говорили – по требованию Долорес Ибаррури, “Пассионарии”, которая, в отличие от Сталина, была жива. (“Колокол” вышел в России лишь в 1968 году, с той же константной задержкой в три десятилетия, что “Жизнь Арсеньева”, “Мастер и Маргарита”, “Лолита”, “Доктор Живаго”…) Таким образом, Хемингуэй являл сложную фигуру автора “спорного”, но не “реакционного”, и его присутствие на международном все-таки фестивале было сочтено желательным.

Тем, что в знакомстве с его творчеством я немного опередил широкую общественность, я был обязан маме. Убедившись в бесполезности своих настояний, чтобы сын выбрал какую-нибудь положительную, то есть техническую, специальность, она решила посильно способствовать его успехам на ненадежном гуманитарном поприще и, среди прочего, записала меня в отдел абонемента Библиотеки иностранной литературы на Петровских линиях. Она же посоветовала, какую английскую книгу взять

первой: “Farewell to Arms” (“Прощай, оружие!”) – одну из тех, которые ее поколение знало по переводным изданиям 1930-х годов.

Так начался мой роман с Хемингуэем. В дальнейшем, уже студентом английской группы романо-германского отделения филфака, я прочел все, что мог, из опубликованного к тому моменту. Несколько пингвиновских пейпербэков мне привез наш сокурсник исландец Ауртни Бергманн (в обмен я купил ему у спекулянтов зеленые томики малодоступного тогда Есенина). Я стал читать американские хемингуэеведческие исследования (Филиппа Янга и Карлоса Бейкера), упражняться в пародировании стиля любимого автора и, поощряемый нашим молодым зарубежником А. Федоровым (“маленьким”, прозванным так в отличие от “большого Федорова” – латиниста), сделал доклад о поэтике Хемингуэя на Научном студенческом обществе.

Скорее всего, поэтому, когда встал вопрос о приглашении великого американца на фестиваль, в качестве связного всплыла моя кандидатура, и я, возбужденный внезапно распахнувшимися горизонтами, для порядка немного поломавшись, принялся за составление текста. Что я там написал, не помню – видимо, рецептурно вполне выверенную смесь личных читательских восторгов с общемолодежной политической сознательностью, ибо письмо у меня взяли, одобрили и отправили. Впрочем, что именно они отправили, мне было знать не дано.

В ожидании ответа по хемингуэевской линии развивалась оживленная деятельность. У Папы Хэма оказалось немало любителей, и не только с нашего факультета. Помню одного, Сашу Пудалова, с которым мы некоторое время общались в рамках литературной группы, заседания которой проходили в круглой аудитории на третьем этаже филфака на Моховой. Пудалов был миниатюрным брюнетом; его вдохновенно вскинутое лицо с выпуклыми, широко расставленными глазами, большим лбом и коротким горбатым носиком обрамлялось изысканно небрежной прической; ходил он, как я теперь понимаю, в туфлях с утолщенными каблуками, в длинном расстегнутом черном пальто с длинным шарфом a la Aristide Bruant Тулуз-Лотрека.

Мы обменялись “работами” о Хэме. Помню, что в своем тексте он с гордостью обратил мое внимание на заглавия разделов, которые любовно называл бегунками. Это были новаторские по тому оттепельному времени заголовки, в броском телетайпном стиле, обильно уснащенные многоточиями и смело помещенные не по центру, а впритык к левому краю, типа: “Папа Хэм едет в Африку…”, “Испания: И солнце встает…”, “Прощай,

коррида!!!” и т. д. В общем, бегунки. (Страшно представить, что он помнит обо мне.)

Но это все с одной стороны. С другой же (а если вдуматься – с той же самой), ко мне на факультете стал подходить и загадочно со мной заговаривать некий, как он отрекомендовался, товарищ Василий. Его рыхлая большая фигура и вульгарная физиономия до сих пор у меня перед глазами. Он долго таинственно морочил мне голову, но, в конце концов, to make a long story short, привел меня на Лубянку, где он и его более энергичный, поджарый, невысокий, с походкой самбиста старший по званию коллега, представившийся по имени-отчеству, стали уговаривать меня сдать одну комнату моей квартиры их человеку, чтобы тот во время фестиваля устраивал там непринужденные международные попойки, в ходе которых мы с ним выявляли бы происки иностранных разведок против нашей страны, мира, демократии и социализма.

Самый трогательный момент (видимо, разработанный каким-то их засекреченным сценаристом) наступил, когда они предложили мне начертить план моей квартиры, с тем чтобы мы вместе пораскинули, какую именно комнату нам лучше всего отвести под это дело. Я отвечал, что в черчении плана нет никакой необходимости, поскольку как мне, так, скорее всего, и им – реверанс в сторону их мистического всезнания – он хорошо известен, а сдача какой бы то ни было комнаты не может состояться ввиду моей психологической, нервно-интеллигентской непригодности для такого рода международных акций, требующих специального тренинга. В конце концов, после нескольких часов напряженных переговоров, завершившихся дачей подписки об их неразглашении, я был отпущен, причем раз и навсегда, ибо никакой вербовке в дальнейшем уже не подвергался.

Имелась и третья сторона. Шло освоение целины, и все, кто не был мобилизован для участия в фестивале, подлежали отправке в дикую степь. Этим отчасти объяснялась та готовность, с которой я вступил в переписку с Хемингуэем и посещал занятия дискуссионной группы. Но общение с нескладным товарищем Василием и его пружинистым начальником окончательно лишило фестиваль какого-либо флера в моих глазах. В целинном комитете я числился по фестивалю, в фестивальном же заявил, что по личным причинам должен буду уехать. Поскольку участие в фестивале было не обязанностью, а привилегией, в моих словах не подумали усомниться. Меня охотно вычеркнули, и я уехал отдыхать в Пицунду.

Это было так давно, что Пицунда представляла собой

совершенно тихое деревенское захолустье, которое только еще начинали превращать в курортный центр и огораживать под будущие дачи ЦК. Отдыхающих, исключительно “диких”, насчитывалось не более трех десятков. В знаменитой реликтовой роще сильно воняло, ибо туда запросто ходили с прилегающего пляжа как по малой, так и по большой нужде. Зато вода была так прозрачна, что оброненные кем-то часы были видны на глубине шести метров; местный грузин-спасатель нырнул и достал их.

За фестивалем я следил по газетам. Из них явствовало, что и моего корреспондента на нем не было. Кажется, он тоже предпочел провести время на юге, в его случае – на Кубе, откуда его еще не выкурил Кастро. Это было действительно очень давно, при Пассионарии, до Фиделя.

На языке

Когда я поступил в Университет (1954), слово “оттепель” было уже произнесено и постепенно одевалось плотью. На романо-германском отделении это чувствовалось. Деканом был Р. М. Самарин, старавшийся прикрыть свою печальную антисемитскую известность образца 1949 года нарочито свойскими манерами, как бы из Боккаччо (он читал нам литературу Возрождения). Проходя по коридору третьего этажа, толстый, плешивый, с трубкой в зубах, он мог собственными руками раскидать дерущихся первокурсников, чтобы бросить через плечо патерналистское: “Школяры!..”

Однажды в этом коридоре, около вешалки, мне выпало стать удивленным свидетелем его разговора на равных со студентом необычного вида. Щуплый, белокурый, бледный, в толстых очках, сильно увеличивавших его маленькие глазки с нездоровыми веками, он был импозантно одет – пиджак, жилет, галстук – и явно наслаждался спором. Речь шла о неком Дольберге, аргументы с обеих сторон не иссякали, и тогда Самарин, по-гаерски закрыв дискуссию чисто силовым: “Что и требовалось доказать, Бочкарев!”, победно удалился.

Оказалось, что о Дольберге на факультете знали многие, но говорили не вслух, а заговорщическим полушепотом. Александр (Алик) Дольберг, студент романо-германского отделения, поехал в Англию с одной из первых туристических групп, сбежал и стал невозвращенцем, а вскоре и сотрудником русской службы Би-би-си. (*Есть такой обычай на Руси – вечерами слушать Би-би-си*, гласила интеллигентская мудрость.) Скандальной славе Дольберга способствовала фонетическая перекличка фамилий с почитаемым комментатором той же станции А. М. Гольдбергом, которого в кругах московских пикейных жилетов принято было панибратски-конспиративно называть по имени-отчеству (“Да? А вот Анатолий Максимович полагает, что Голда Меир…”).

Дальнейшие детали о побеге моего тезки я узнал не от кого иного, как Бочкарева. Познакомились мы в ходе факультетской постановки – на языке – нескольких сцен из “Пигмалиона”. Бернард Шоу был борцом за мир, другом Советского Союза и потому дозволенным автором. Труппа состояла из старшекурсников во главе с Володей Бочкаревым, и они пригласили меня на роль профессора Хиггинса. (Выбирать им особенно не приходилось – лиц мужского пола, приличного роста, говорящих по-английски, на филфаке было раз-два и обчелся.) Когда дошло до генеральной репетиции, мы поехали в какую-то

театральную мастерскую, и нам выдали реквизит – костюмы, платья, шляпы; я получил темно-коричневый шлафрок со шнурочками и продолговатыми деревянными пуговицами.

Лидерство Бочкарева объяснялось просто. Будучи сыном советского дипломата, выросшим в Лондоне и Нью-Йорке, и прирожденным полиглотом, он виртуозно владел английским – литературным, разговорным, бруклинским, техасским, королевским, кокни, you name it. Сначала я его побаивался, но Володя оказался застенчивым, ранимым юношей, покушавшимся на самоубийство, и охотно проводил со мной – смотревшим ему в рот новобранцем – массу времени. Он привел меня в букинистический магазин иностранной книги на Никитской и мог бесконечно ходить по городу, рассказывая о Нью-Йорке, неведомых американских авторах (от него я впервые услышал имя Микки Спиллейна) и факультетских знаменитостях.

Он знал не только Дольберга, но и его отца, отставного кагэбэшника. (Возможно, отцовские связи и помогли Дольбергу с выездом в капстрану.) Шум по поводу побега еще не улегся, как отец стал звонить в Институт мировой литературы, в сектор, где Алик подрабатывал каталогизацией англоязычных изданий.

– Говохит стахший Дольбехг. Мой сын недополучил у вас деньги…

Взявшая трубку сотрудница в ужасе залепетала, что ничего сказать не может и позовет заведующую. Но и та растерялась:

– Вы знаете… я не знаю… понимаете… дело щекотливое…

– Чего там щекотливэ – у менья довьехенность есть…

По словам Володи, деньги были дополучены.

Наша постановка имела успех. Играл я, полагаю, так себе, но, натасканный Пигмалионом-Бочкаревым, сумел по-британски озвучить знаменитую реплику Хиггинса в той сцене, где оскорбленная вопросом о шлепанцах Элайза, утратив свежеприобретенный лоск, выпаливает неграмотное *them slippers*, а Хиггинс поправляет ее: ***those*** *slippers*.

Элайзу играла студентка на курс старше меня. В ее русской речи слышались какие-то странные обертоны, и я гадал, не это ли определило Володин выбор. В дальнейшем она стала сотрудницей американского сектора ИМЛИ, и мы неожиданно встретились десятилетия спустя, когда в составе советской делегации она приехала в исследовательский центр в Северной Каролине, где я был на стипендии.

Тот театральный опыт остался в моей жизни уникальным. Вспоминается он часто – при попытках изобразить британский акцент, при очередном вхождении, после долгих каникул, в амплуа профессора и чуть ли не на каждом докладе, отягченном

неизбывным русским акцентом, – особенно с тех пор, как, выходя с престижного лос-анджелесского семинара, участники которого, исключительно выходцы из России, изъяснялись изо всех сил по-английски, мой приятель сказал, что больше всего это напоминало спектакль на языке в советском педвузе.

Володя Бочкарев был одним из предтеч сладостной новой эпохи, когда язык стал худо-бедно доводить до Киева, но, как водится у предтеч, войти в нее ему не было суждено. После спектакля я потерял его из виду, а вскоре узнал, что он покончил самоубийством.

Что такое гид?

Только-только начавшиеся в период “оттепели” поездки за границу проходили под строжайшим контролем, осуществлявшимся до, во время и после поездки. Одна знакомая из музыкальных кругов съездила в составе тургруппы в Италию и по возвращении подверглась суровой проработке за любовную связь с гидом, о которой ее спутники не преминули донести по начальству.

Я рассказал об этом казусе Юре Щеглову. Комментарий поступил через несколько дней:

– Алик, ты знаешь, я обдумал твою итальянскую историю. Тут важно, что речь идет именно о гиде. Ведь что такое гид? Гид – это первый иностранный мужчина, с которым встречается советская женщина, буквально – *первый встречный иностранец.*

“Никакого желания меня накормить!”

Как я уже писал, летом 1957 года, уклонившись от поездки на целину и одновременно от участия в Международном фестивале молодежи, я поехал в Пицунду. Поехал с Ирой, моей будущей первой женой.

В свои неполные двадцать лет мы были страшно молоды. Молода была и Пицунда, еще не ставшая модным курортом, не застроенная санаториями, дикая, с полупустым пляжем, прозрачной водой и одинокой голубой будочкой на сваях, где подавали пиво и раков.

На эту будочку я любовался, но зайти в нее мне в голову не приходило. Она радовала самим фактом своего существования, идеей “оттепели”, сервиса, выпивки и закуски, праздника, который всегда с тобой, но ни таких денег, ни таких вкусов, ни, главное, искусства посещения таких злачных мест у меня не было (и еще долгое время не появлялось).

Мы жили впроголодь, ничуть от этого не страдая. Много плавали (я только-только научился), исхудали, загорели. Я с гордостью носил свои первые джинсы. Джинсы это немного громко сказано – они были польские, зеленые, дешевые, но, как написал бы Гоголь, издали вполне могли сойти за фирменные. Еду мы покупали на маленьком местном рынке, в основном яйца и помидоры; холодильника не было, и как-то раз экономно запасенные на неделю вперед яйца испортились, образовав памятную брешь в бюджете.

В общем, было не до раков, но заглядываться на голубую будку, форпост прогресса, я не переставал. И однажды оказался посвященным в некоторые из ее тайн.

Я стоял невдалеке, когда оттуда выскочил, хлопнув дверью и шумно сбежав по ступенькам, возбужденный посетитель. Такой толстый, что живот, перерезанный поясом, мощно набухал по обеим его сторонам, в белых парусиновых брюках, с густой, уже седеющей гривой и бородой, большими глазами и губами, подвижный – и весь взрывающийся от негодования.

– Никакого желания меня накормить! Никакого желания меня накормить! – со смесью возмущения и удивления повторял он.

Для меня, как и для всякого знакомого с советским общепитом, в отсутствии такого желания не было ничего удивительного. Удивительным было скорее удивление этого живописного толстяка. Разумеется, следовало сделать какую-то поправку на “оттепель” и на экзотичность недоступного мне очага гастрономической культуры, тем более что именно этому клиенту

пиво, раки и прочие гурманские прелести, судя по его виду, полагались. И все же его неподдельная ярость поражала, обличая в нем инопланетянина, иностранца, реэмигранта, на худой конец, человека с раньшего времени.

Между тем его личность была немедленно установлена – не мной, тогда еще мало кого знавшим, а моим учителем Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. Не помню, почему мы оказались там одновременно, – возможно, у В. В., жившего в соседнем поселке, были в этом месте назначены поочередные встречи со мной и с этим чудаком, который оказался ни больше ни меньше как Самуилом Борисовичем Бернштейном, уже тогда видным, а в дальнейшем еще более знаменитым славистом.

Как свидетельствует Википедия, С. Б. Бернштейн родился в 1911 году и дожил до 1997-го – до восьмидесяти шести. Но в описываемый драматический момент ему было всего 46, так что откуда седина и дореволюционный пафос, остается загадкой. Это было внезапное явление вживе какого-то мифического персонажа – зощенковского сумасшедшего, который “через все ваши революции сохранился”, уже любимого Остапа Бендера, еще неведомого Воланда.

Его фраза запомнилась намертво и вошла в мой сначала небольшой, но быстро пополнявшийся цитатник, содержавший рецепты остраненного осмысления на все случаи советской жизни. Потом я иногда видел его в Институте славяноведения в Трубниковском, но лично не познакомился, а там и вообще уехал и не имел случая – ни тогда, ни впоследствии, когда стал опять наезжать в Россию, – сообщить ему о его доле ответственности за мою эмиграцию.

“Должны быть какие-то градации”

Мы с Ирой отдыхали в Пицунде, а в трех километрах от нас, в совершенно уже пустынной Лидзаве, Иванов и В. Н. Топоров с женами. Мы еще в Москве знали, что Иванов будет снимать где-то по соседству, и, приехав, я стал предвкушать визит к обожаемому учителю, готовиться, собираться, откладывать, решаться. Наконец мы отправились. Ира со смехом, правда, не без оттенка ревности, заметила, что я краснею, как влюбленная девушка, идущая на первое свидание. Но приняли нас запросто, приглашали приходить еще, и мы стали бывать у них.

В Лидзаве не было своего рынка, и им время от времени приходилось делать закупки на нашем. Вот однажды мы встречаем В. В. с сумкой: Таня (Татьяна Эдуардовна, тогдашняя, первая, прелестная его жена) поручила ему купить килограмм слив.

Ира с радостью вызывается помочь. Мы подходим к прилавку, и она добросовестно принимается за дело: переходит от одной торговки к другой, приценивается, пробует. Тем временем В. В., повернувшись к прилавку спиной, заводит со мной разговор на научную тему, о какой-нибудь там роли хеттского языка в выработке новых представлений об индоевропейских спирантах.

Сзади доносятся реплики:

– Не кладите эти зеленые.

– Какие же зеленые? Совсем не зеленые!

– Нет, зеленые.

– Да это сорт такой. Тут и зеленые, и не зеленые, никакой разницы…

В. В., не оборачиваясь, роняет:

– Нет, не скажите, все-таки должны быть какие-то градации.

Когда он ушел и мы остались одни, я стал назидательно повторять Ире: “Градации! Должны же быть какие-то градации! Ты понимаешь теперь, какой это ученый?”

Проппа мы тогда еще не читали (кстати, прочел я его вскоре с подсказки того же Иванова) и не знали, что все происходящее может быть описано как *выведывание, вредительство, отлучка, ликвидация недостачи* и так далее, в сугубо научном ключе. *Градации* были из этого репертуара, харизматичного именно своей метаязыковой сухостью.

Харизма! Харизмы ему было не занимать.

Как-то, много позже, в середине 1960-х, Иванов читал лекцию о поэтике в Библиотеке иностранной литературы (тогда еще на улице Разина). Народу было – не протолкнуться. Не только на

лекции, но и после, на вешалке, потому что все медлили разойтись, обмениваясь впечатлениями, и одна моя сокурсница, Л. К. (ныне доктор наук), мечтательно прошептала: “Такое чувство, как будто стихи читали!..” Это напоминало мое состояние на пути в Лидзаву десятком лет раньше.

Помню, что по ходу лекции я обратил внимание на один пассаж, в осмысленности которого усомнился. Публично оспаривать Кому (к тому времени мы – по его инициативе – перешли на ты, и я с полным правом мог называть его так в лицо) я не стал, но в кулуарах спросил его, что он имел в виду.

– А-а, – сказал он. – Мы перед лекцией выпивали с Володей Успенским, и я на пари взялся произнести эту абракадабру с трибуны. С него бутылка, сейчас пойдем распивать.

Хотя абракадабру я – возможно, единственный в зале – заметил, но сам прием был для меня внове.[7] Мне все еще предстояло учиться и учиться.

“Ваше тело об этом знает”

В то же лето В. В. предложил нам совершить совместную пешеходную прогулку из Лидзавы на озеро Рица. К ней присоединились гостившие у нас наши с Ирой сокурсники Саша и Мариэтта Чудаковы. Топоров, живший вместе с Ивановым в Лидзаве, не пошел, заявив, что воспользуется отсутствием “легкомысленного Комки”, чтобы как следует поработать (они тогда писали свой “Санскрит”).

Погода была прекрасная, мы шли чуть ли не в одних плавках, купались в горной речке Бзыби, несколько раз нас подвозили попутные машины, потом мы опять шли, перед нами открывались новые долины, а за ними новые горы. К вечеру мы пришли на Рицу, и встал вопрос о еде и ночлеге.

Собственно, и заранее было ясно, что “Кома нам снимет номер! И поведет нас в ресторан!” Он действительно снял большой номер, в котором поместились мы все впятером, но после этого у него остались какие-то копейки. У нас же ни у кого денег вообще не было. Тем не менее мы *спустились в ресторан*, на ходу подсчитывая, что мы можем себе позволить на имеющуюся мелочь.

В. В. вошел в зал, поглядел направо-налево, сказал: “О, Дамир. Пойду возьму у него денег”, – подошел к одному из столиков и моментально вернулся к нам. Не знаю, сколько тот ему дал, но после этого мы вели роскошную жизнь в ресторане, катались на глиссере, а в Лидзаву вообще вернулись на такси – В. В. сказал, что время дороже.

А вскоре мне пришлось и самому познакомиться с Дамиром, при обстоятельствах, имеющих отношение к его финансовой мощи. У меня начало сильно болеть сердце, и папа через каких-то высокопоставленных знакомых записал меня на прием к видному кардиологу. Им оказался Алим Матвеевич Дамир.

Когда в назначенное время я переступил порог его квартиры, мое сердце тревожно билось, главным образом потому, что мне предстояло совершить первый опыт оплаты частных услуг – вручить конверт с десяткой.

Осмотр длился пять минут.

– У вас комсомольское сердце, молодой человек, – сказал Дамир. – Но вам нужно хорошо питаться. Увидите апельсин – берите апельсин, увидите икру – ешьте икру, увидите ананас – хватайте ананас!

Я сказал “спасибо”, пробормотал что-то вроде: “А теперь я должен сделать самое трудное – отдать вам вот это”, – покраснел,

положил конверт на стол и вышел. Идя домой, я думал о том, что теперь понятно, почему он, не моргнув глазом, отвалил Коме просимую сумму, а также что если я попытаюсь зарабатывать себе на икру и ананасы, то вряд ли сердце у меня не заболит еще больше.

При встрече я рассказал Коме о своем визите к Дамиру. Кома, улыбаясь, сказал:

– Во всяком случае, он по-христиански пожелал тебе того же, чего желает самому себе, ничего не утаив. Я могу подтвердить, что сам он, бесспорно, следует тому курсу лечения, который порекомендовал тебе.

Курс этот, по крайней мере в его случае, оказался вполне успешным. Дамир (1894–1982) прожил – в довольно трудные времена – почти 90 лет. Подтвердился, тьфу-тьфу, и поставленный им диагноз. За довольно долгую уже жизнь я перевидал много врачей, и мое неизменное восхищение отдано тем оригиналам, которые с риском для репутации и кошелька констатируют ненужность своего вмешательства.

Лет десять назад у меня страшно разболелась спина. Радикулиты мучили меня смолоду, но тут дело стало совсем плохо, ни физиотерапия, ни массажи не помогали, рентген показал вытекание (extrusion) позвоночной жидкости одного из дисков, и речь зашла о хирургии. Сравнительно молодой американский врач с впечатляющей, на мой филологический слух, фамилией Спинамор (Spinamore), сказал, что вообще-то он очень консервативен, но в данном случае склоняется к операции.

Я стал к ней готовиться (в частности, мне проверили сердце – оно оказалось по-прежнему комсомольским), но продолжал собирать мнения (американские знакомые советовали резать, русские – воздержаться) и обратился за альтернативным диагнозом (second opinion) к еще одному врачу той же университетской клиники – доктору Мурэдьяну (Mouradian).

Войдя в его просторный кабинет, я увидел перед собой плотного мужчину лет пятидесяти. Когда я подошел к нему и мы пожали друг другу руки, он совершенно ошарашил меня, сказав, что операция мне не потребуется.

– То есть как?! Мои анализы, рентген…

– Я вижу, как вы ходите. Операция вам не нужна.

– Позвольте, но вон же у вас развешаны мои рентгеновские снимки. У меня extrusion полтора дюйма…

– Ваше тело об этом знает…

– Тело знает!.. Что вы мне суете какую-то альтернативную холистику?! Я же пришел к вам как специалисту… Что будет с полутора дюймами моего extrusion?

Я потянул его к рентгеновским снимкам, но он не сдвинулся с места.

– Для вас полтора дюйма – это немного. Вот у нас, средиземноморцев (Mediterranean people), позвоночный столб (spinal column) узкий, а у вас – широкий, и полтора дюйма для него ерунда. Все это устоится, и через пару месяцев вы о своей спине вообще забудете.

Услышав эти нестандартные в Америке речи – поразительные как мгновенностью визуального диагноза, так и расовыми его обертонами, не говоря уже об отмене назначенной чуть ли не на завтра операции, – я ответно воспарил и заговорил в еще более вольном ключе.

– Доктор Мурэдьян, я чего-то не понимаю. Насколько я знаю историю Армении, начиная аж с Урарту, она всегда была сугубо сухопутной страной (в английском есть для этого замечательное слово landlocked, “запертый сушей”, и я его употребил), так что ни о каком море, в том числе Средиземном, говорить не приходится. Я же, со своей стороны, на три четверти еврей (включая обе ключевые, бабушкинские, четверти) и имею гораздо больше оснований, чем вы, претендовать на средиземноморскость.

Не знаю, насколько корректной в антропогенетическом отношении была моя реплика, но доктор Мурэдьян в это углубляться не стал. Он взял еще нотой выше, подтвердив, что где армяне, там евреям делать нечего:

– Ну что ж, если так, то надо полагать, что широтой позвоночного столба вы обязаны *арийской* четверти своего происхождения – если это вас, конечно, радует (if that makes you happy).

Я засмеялся, он дал мне свою карточку с прямым телефоном и обещанием, если приспичит, прооперировать меня без очереди в любой момент, и мы расстались друзьями. Через пару месяцев боль прошла и возвращалась с тех пор редко, ненадолго и в менее острой форме.

Доктор Дамир, судя по фамилии, был турок, доктор Мурэдьян, напротив, армянин (ливанского разлива). В моей памяти их анаграмматически сходные имена звучат гимном столь редкому в этом мире здравому смыслу и совершенно уже невероятному армяно-турецкому консенсусу.

На словесном фронте

Одной из самых колоритных фигур на нашем курсе был Яша П. Он пришел на факультет немолодым человеком, после армии, успев, по его рассказам, повоевать с японцами. У него было типичное солдатское, по-бабьи морщинистое лицо, с выцветшими голубыми глазами и чубом серовато-пшеничных волос. Как будто ничто в нем не располагало к занятиям филологией; эталоном словесного изящества ему казалось обращение: “Привет телевизорщикам!”, почерпнутое из какого-то фильма. Но бывшим военнослужащим предоставлялись льготы при поступлении в вуз, а факультетское начальство охотно их привечало, видя в них естественную опору в борьбе с вольномыслием самонадеянных юнцов – будущих шестидесятников. Впрочем, Яша был скорее бестолковым свойским парнем, в партийном карьеризме замечен не был и среди своих темных, но ушлых сверстников оставался такой же белой вороной, как и среди юных интеллектуалов.

Вовсю его ироикомическому амплуа старослужащего солдата от филологии случилось быть разыгранным в военном лагере после четвертого курса, причем нескладные отношения Яши со Словом сказались тут самым роковым образом. Все мы на месяц учений стали как бы рядовыми, Яша же, с учетом его армейского прошлого, был понарошку произведен чуть ли не в старшины. Это условное обозначение он принял совершенно всерьез, с неистовством отставного, но преданного службиста. Так, во время учебного марш-броска он среди ночи по собственному почину встал на вахту у генеральской палатки и начал окапывать ее каким-то уставным ровиком; проснувшийся от неурочного шума генерал выматерил его и отправил спать.

Очередной приступ Яшиного рвения мне пришлось испытать на себе. Один раз за месячный срок каждый из нас должен был побывать в роли дневального, и судьбе было угодно поставить меня на этот день под начало Яши. В роли старшего (над двумя рядовыми дневальными) дежурного по роте его не могло удовлетворить командование такими непритязательными операциями, как доставка воды, приготовление обеда и подметание дорожек. Решив увенчать свое дежурство чем-нибудь нетленным, он бросил нас на обнесение сортира (обширной ямы, через которую была перекинута пара бревен) изгородью из ветвей. Этой монументалистской деятельности не видно было конца, время возвращения ребят с полевых занятий приближалось, и я несколько раз говорил Яше, что пора бы приступить к обеспечению их водой и пищей. Однако Яша

решительно пресекал мои будничные поползновения, указывая к тому же на неуместность обсуждения приказов командира.

Не знаю, хватило ли бы у меня духу перечить настоящей вохре, но Яша, к его чести, не внушал мне особого трепета, и я на свой страх и риск принялся носить воду и чистить картошку, то есть, выражаясь в уставных терминах, дезертировал с поста. Последовало краткое объяснение, в ходе которого я, исчерпав логические доводы, сказал:

– Ну и мудак же ты, Яша.

Слова эти были произнесены миролюбивым, скорее укоризненным, нежели вызывающим, тоном. Однако в Яшином мозгу они прозвучали посягательством на устои воинской морали, и он заорал:

– Все! Иду под капитана! Неподчинение приказу! Оскорбление непосредственного командира при исполнении! Загремишь на гауптвахту! Под военно-полевой суд пойдешь!

Этого ему, видимо, показалось мало, потому что он добавил, уже почти про себя:

– Я девять японцев убил и на тебя, суку, не посмотрю…

Вскоре рота под командой местного капитана Екельчика и нашего университетского полковника Диаманта вернулась с поля, и жизнь вошла в обычную колею. Остыл и Яша – никаких поползновений доложить о происшедшем он не обнаруживал. Про себя я был не только благодарен ему, но и не мог не оценить этого, в общем, нетипичного для него проявления житейской трезвости. Капитан Екельчик, несмотря на свой соответствовавший уменьшительному звучанию его фамилии малый рост и непочтительное прозвище, получавшееся из той же фамилии заменой всего лишь одного согласного, был энергичным строевым офицером. К нашей стажировке он относился с должной иронией – на учениях его коронным номером была команда: “Обозначим атаку!” Полковник Диамант, высокий, обрюзгший, неповоротливый, утруждал нас, да и себя самого, физическими усилиями еще меньше. Зато его излюбленная команда отличалась еще большей, чем у Екельчика, словесной изощренностью – он то и дело объявлял “затяжной перекур”. Так что апеллировать к их чувству дисциплинарного долга не приходилось, и, наверно, даже Яша это понял. А может, просто по доброте своей горячей, но отходчивой натуры махнул рукой, тем более что все произошло практически без свидетелей.

Военный лагерь, лето 1958 *г. Я – дневальный (под «грибком»)*

Но этим дело не кончилось. На другое утро, во время коллективного умывания-купания, кто-то из ребят подошел ко мне и спросил, правда ли, что вчера во время дежурства я назвал Яшу мудаком.

– Правда.

– А почему?

– Да потому, что он и есть мудак, – отвечал я опять-таки самым домашним тоном, не подозревая, что сцена эта ловко подстроена и Яша стоит у меня за спиной.

– Все! – заорал Яша, унижение которого сделалось публичным. – Все! Иду под капитана. Люди поедут в Москву, а ты будешь гнить тут на губе!..

Тем временем раздалась команда строиться на завтрак, и вскоре все мы стояли на плацу в правильном каре. Мы увидели, что Яша подошел к капитану Екельчику, отдал честь и что-то докладывает. Затем он вернулся в строй, а капитан повернулся к роте, и я услышал свою фамилию:

– Рядовой Жолковский!

– Я!

– Два шага вперед!

– Слушаюсь! – Я отпечатал два подчеркнуто идиотских, “прусских”, шага.

– Согласно рапорту старшины П., вчера во время дежурства вы назвали его непристойным словом. Вы это подтверждаете?

– Так точно, товарищ капитан.

– Как вы его назвали?

– Мудаком, товарищ капитан.

– Вы назвали старшего по званию и должности и вашего непосредственного начальника мудаком?

– Так точно, товарищ капитан.

– Как вы могли допустить такое нарушение воинской дисциплины?

Повинуясь четкому пульсу неписаного сценария, неожиданно связавшего меня с капитаном, я выкрикнул что было молодецкой мочи:

– Погорячился, товарищ капитан!

– Чтоб больше у меня не горячиться, рядовой Жолковский. Крррругом! Стать в строй! Рота-а… на завтрак… марш!!!

Пересмеиваясь, колонна направилась к столовой. До меня донесся ворчливый шепоток Яши:

– Я девять японцев убил и тебя, гада, убью.

…Пока что я жив. Задним числом я сомневаюсь и в смерти пресловутых девяти японцев, несмотря на нарочитую убедительность этой некруглой цифры. Отчасти идентифицируясь с ними (в рамках Яшиного параллелизма), я думаю, что они вряд ли дали бы убить себя такому законченному и вполне безобидному мудаку, как Яша. Вот интересно, жив ли он сам? Средняя продолжительность жизни в России работает против него.[8] Да и с Логосом он всегда был не в ладах.

Appropriation art

Году в 1959-м внимание нашей коктебельской компании привлек феномен курортной викторины. Толчком послужила большая статья, кажется, в “Литературке”, подвергшая критике сборник стихотворных викторин, предназначенных для использования массовиками-затейниками в работе с отдыхающей публикой.

В статье приводились особо курьезные образчики жанра. Среди них были незабываемые, например:

Кто дал чеканных шесть романов,
Любил народ, стрелял фазанов?

И. Тургенев

Какой великий мастер сцены
Создал театр своей системы?

К. Станиславский

Мы тут же стали соревноваться в сочинении подобных текстов и даже посетили, в целях сбора материала, санаторий “Голубой залив”, на который вообще-то смотрели свысока как на плебейский вариант престижного Дома творчества. Ничего выдающегося сочинено не было – кроме одной вариации на заданную тему, пусть не вполне самостоятельной, но едва ли не совершенной:

Какой поэт, невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой?!

“У нас в Бхилаи…”

Одно время в 1960-е годы секретаршей у нас в лаборатории работала Тамара Борковская. Она была хорошенькая, с большими зелеными, немного стеклянными глазами, молоденькая, но уже опытная, побывавшая за границей. Прямо из десятого класса она вышла замуж и уехала на строительство металлургического комбината в Индию. Поспешность со стороны мужа объяснялась тем, что для оформления в капстраны требовался семейный статус, ограждающий от эротических соблазнов, со стороны Тамары – думаю, неотразимым впечатлением, который произвел на нее весь пакет: тут и брак, и заграница, и хорошо оплачиваемая работа (на строительстве она тоже была секретаршей).

При всем том Тамара сохраняла почти детскую наивность. Охотно делясь своим заграничным опытом, она начинала рассказ словами:

– А вот у нас в Бхилаи…

Она с удовольствием и сознанием культурного превосходства рассказывала об индусах. Как страстных младолексикографов нас восхищало отсутствие в ее словаре абстрактных слов, от которого описание туземных нравов даже выигрывало.

– Индийцы, они какие? Вот я приведу тебе такой пример. Вот он лежит на земле, у него ничего нет, кроме подстилки. Тут кто-нибудь бросит ему рупию, смотришь, он уже нанимает слугу, и тот идет за ним, несет его подстилку.

Действительно, какие? Нищие, ленивые, праздные, жалкие, пропитанные кастовостью – все сразу. Кому у кого учиться писать?

Зато муж Тамары, успевший до Индии что-то окончить и по возвращении работавший в главке, владел готовой лексикой в совершенстве. Звоня в лабораторию, он представлялся с начальственной скромностью:

– Борковский беспокоит…

Фамилию из деликатности изменяю, но лишь слегка, так как не могу отказаться от шикарной звукописи на “б-к-о”. Герой этой повести – правда.

Полкаш

Феликс[9] с женой и маленькой дочкой поселились в подмосковном поселке Лось, где снимали комнату у некоего полковника в отставке. Феликс со смаком рассказывал о “полкаше” и его доме.

Дом был деревянный, но солидный, двухэтажный, с туалетом. Казалось бы, хорошо – не надо бегать в холодный сортир. Но туалет не соединялся ни с какой канализационной системой или хотя бы выгребной ямой, образуя просто вертикальную пристройку во всю высоту дома. За долгое время содержимое его спрессовывалось, оседало, но постепенно он наполнялся, и в доме стоял непередаваемый букет ароматов, настоянных на экскрементах нескольких поколений.

Полкаш, бывший замполит, выписывал “Правду” и целый день проводил за ее чтением. Он раскладывал ее во весь разворот на столе и ползал по ней, прочитывая статью за статьей. Читал он с красным карандашом в руках и по линейке подчеркивал каждую прочитанную строку. К вечеру вся “Правда” оказывалась аккуратно подчеркнутой – красной дальше некуда.

С тех пор Феликс развелся и женился еще дважды, сменил несколько стран и профессий; первой его дочке за сорок, обоим сыновьям за двадцать. Сам он уже четверть века как умер. Дом давно снесен под новостройки. Советский Союз распался. Полкаш идет у меня на комплименты коллегам: “Да-да, прочел с удовольствием и подчеркнул каждое слово, как, знаете, тот полковник, back in old Soviet Russia” (“там, в старой советской России”). Впрочем, почему old? “Правда” выходит, читается и, боюсь, подчеркивается.

Causa finalis [10]

Однажды в старые советские времена я остановил на Садовом кольце левую машину. В ней уже были пассажиры, но мне оказалось по пути, и я поместился рядом с водителем.

Сзади сидела женщина, а рядом с ней, приклеившись к окну, стоял на коленях мальчик лет шести, который задавал одни и те же изматывающие вопросы. Наверно, это длилось уже долго – мать отвечала неохотно. Водитель молчал. Я тоже сидел тихо, любуясь развертывающейся, пусть с перебоями, картиной предустановленной мировой гармонии.

– Мам, что это?

– Троллейбус.

– Зачем?

– Чтобы возить людей.

– Зачем?

– Чтобы они ехали, куда им нужно.

– А это?

– Милицейская будка.

– Зачем?

– Для милиционера.

– Зачем?

– Зачем, зачем?! Регулировать движение.

– Зачем?.. А это что?

– Асфальтовый каток.

– Зачем?

– Асфальт укатывать.

– Зачем?

Женщина не отвечала.

– Зачем?

Почуяв, что это его выход, реплику подал водитель:

– Чтобы он был неровный…

Мальчик замолк, озадаченный вторжением в идеально телеологичную вселенную элементов неевклидовой геометрии.

Яблоко или гулять?

“Ты что больше любишь – яблоко или гулять?” – спрашивает малыш. – “Какие у тебя глупые разговоры”, – отвечает Вересаев. – “Да-а, я умных-то разговоров не знаю, а поговорить-то с тобой хочется”.

Кумиром нашего дворового детства был высоченный красавец Володя – будущий книжный график В. В. Медведев,[11] оформитель книг Ахматовой, Вознесенского, Ахмадулиной. Все знали, что он ходит играть в волейбол на “Динамо”, я и сейчас ясно вижу, как он с чемоданчиком в руке, в синей с лампасами динамовской форме идет через двор подчеркнуто сутулой спортивной походкой.

В играх малышни он не участвовал, но как-то раз столкнулся с ее проблемами. Через пустырь от нашего “еврейского” кооператива располагались бараки первых метростроевцев. С бараковскими ребятами у нас периодически возникали пограничные конфликты, доходившие до камнеметания, и однажды под огонь чуть не попал Володя, возвращавшийся из города с неизменным чемоданчиком. Воспользовавшись моментом и положившись на масштабы своего авторитета, он решил открыть в истории враждующих дворов новую страницу.

Он поднял руку, и бой прекратился. Завороженные присутствием легендарного Володи, бараковцы приблизились на расстояние слышимости, а мы сгрудились за его спиной. В руке у него оказался футбольный мяч, который мы гоняли до перестрелки. Держа его перед собой, как державу, Володя этаким Владимиром Мономахом и Генрихом IV заговорил о бессмысленности наших распрей. Помню его кульминационный риторический ход:

– Один двор – один хуй, даже забора нет (читай: “Une foi, une loi, un roi” – “Одна вера, один закон, один король”).

Мы, дряблая интеллигенция, были заранее согласны замириться, бараковцы же слушали со смешанными чувствами: несмотря на гипнотическое действие Володиной харизмы, они время от времени издавали инстинктивное “у, еврррр!..” Володя, до получения паспорта носивший материнскую фамилию Розенберг, дипломатично пропускал эти сдавленные рыки мимо ушей. Перемирие было достигнуто, и он удалился, шикарно сутулясь.

На следующей неделе военные действия возобновились. Золотое компромиссное слово оказалось изроненным втуне.

А недавно Володя умер – лет семидесяти. Но до этого я его

повидал, и мы впервые в жизни немного поговорили.

Бывая летом в Москве, я хоть раз наведываюсь в наш двор, обычно на велосипеде. Сделал я это и в девяносто восьмом. Я подъехал со стороны пустыря и как раз оценивал взглядом солидность окружившего дом железного забора, когда из-за него донесся нежно-покровительственный, как бы отеческий, голос:

– Что, Аленька, домой приехал?

Это был Володя, седой, сильно сдавший. Он комфортно сидел на раскладном брезентовом стуле среди разросшейся зелени, вокруг бегала прогуливаемая породистая собака. Володю всегда отличал высокий класс. У него были фирменные, писательского происхождения жены, и книги он делал тоже отборные. Разговорившись, он рассказал нечто трогательное, причем в масть моему эмигрантству, – как он уже после перестройки работал на книжной выставке за границей и к нему в секцию зашел сам Илья Кабаков. Сначала Кабаков его не заметил, но когда он назвал его Толей (свойским именем, известным узкому кругу), тот обернулся, узнал Володю, и они поговорили. Про яблоко или гулять – какая разница?

Часть II
Семнадцать мгновений весны

У Литвиновых

Среди многочисленных папиных знакомых была Флора Павловна Ясиновская-Литвинова – жена физика Михаила Максимовича Литвинова (и тем самым невестка наркоминдела 1930-х годов М. М. Литвинова-Валлаха), по профессии биолог. Не знаю, как они встретились, может быть, случайно, в Доме творчества композиторов в Сортавале, где мы были летом 1946 года и где папу ужалила гадюка, а может быть, в Москве, через Е. Л. Фейнберга, который свел папу с целым кругом физиков. Флора Павловна, эффектная женщина с медно-рыжими волосами и кипучей энергией, мало кого оставляла равнодушным; не исключаю, что у папы был с ней роман той или иной степени платоничности.

Как-то в 1956 году папа взял меня к Литвиновым в гости. Это одно из острейших – позорных – моих воспоминаний. Самого наркома (еврея, отстраненного Сталиным в момент заключения пакта с Гитлером, но не репрессированного) уже лет пять не было в живых, однако наличествовала его вдова, англичанка (и все равно еврейка), детская писательница Айви Вальтеровна Лоу, внушительная седая дама с пробором, большим носом и уверенными манерами. (Она сохранила британское подданство и в дальнейшем вернулась в Англию.) Услышав, что молодой человек занимается английским языком (я учился на романо-германском отделении филфака МГУ), она заговорила по-английски и сунула мне, безумно стеснявшемуся и благодарному за повод отсесть подальше, какую-то английскую книгу, чуть ли не “Paradise Lost” Мильтона. Но укрыться от ее внимания мне не удалось, и вскоре она убедилась в скромности моих познаний. “Ah, that’s how you read!” – резюмировала она.

Из ее table-talk’a помню рассказ о том, как во время последнего визита в Лондон она пошла на ланч с Джоном Берналом, английским физиком, неизменным другом Советского Союза и ее старинным знакомым. Когда он зашел за ней в отель, она спросила, заметил ли он, что это тот самый, где они встречались во времена их affair.

К столу ненадолго вышел шестнадцатилетний Паша, молчаливый, худой, нескладно высокий юноша, будущий герой-диссидент. (Михаил Максимович потом острил, что из сына своего отца он превратился в отца своего сына.) Гвоздем программы был приехавший из-за границы левый американский журналист Луи Фишер, левый, но уже давно не просоветский. Стояла хрущевская “оттепель”, люди с Запада начали появляться

в Москве, однако за одним столом с “буржуазным иностранцем” я сидел впервые.

В нем меня поразило все – пальто-реглан, трубка, уверенные замечания о разных странах, например, что хотя Югославия и выпала из советской орбиты, строят там все равно кое-как – рабочие навыки не те.

Любоваться им со стороны мне пришлось недолго. Заговорив о сенсационном тогда антисталинском докладе Хрущева на XX съезде, он обратился ко мне, представителю студенческой молодежи, с вопросом, как же так – разоблачительный доклад не публикуется, а сообщается народу по секрету. Я смутился, сказал, что не знаю, и вообще, почему он спрашивает меня, который тут ни при чем. Он только покачал головой. Моя политическая незрелость показалась бы ему, наверно, еще более непростительной, признайся я, что из снобизма не пошел на закрытое комсомольское собрание, где доклад зачитывали.

Жгучий стыд долго не проходил, обострив впечатление от внезапно, как сквозь замочную скважину, приоткрывшихся географических и исторических далей, которые вскоре, хотя и очень постепенно, начали приближаться. Любопытно, что поворотную в этом отношении подпись в защиту Гинзбурга и Галанскова я поставил, услышав по западному радио обращение Павла Литвинова (1968) и снова испытав чувство стыда – люди не боятся, а ты?

Воздушные пути

Недавно, в очередном разговоре об Ахматовой, Лада стала развивать свою любимую мысль о ригидной, как бы фольклорной, раз навсегда заданности ее стихов, и я спросил, нет ли этого и у других классиков, просто ввиду их залакированности каноном, – скажем, у того же Пастернака? Нет, сказала она, у него всегда дует какой-то свежий ветер.

Это прозвучало убедительно, среди прочего – потому, что у Пастернака много стихов о ветре. Он говорил, что видел вселенную не как картину на неподвижной стене, а вроде разрисованной красками занавеси в воздухе, которую развевает какой-то непознаваемый ветер. Он говорил также, что главное в стихотворении – не звукопись, не словесные эксперименты, а способность содержать в себе реальный город, например Венецию, конкретный вокзал, например Брестский, или настоящую весну, например такую ветреную, от которой можно схватить насморк.

Я уже писал,[12] что понимание стихов Пастернака, имевшихся в родительской библиотеке, но остававшихся для меня эстетически недоступными, внезапно пришло ко мне летом 1958 года в Коктебеле. Что же такое случилось, что непонимание вдруг обернулось пониманием?

Пути господни неисповедимы, но внезапная смена парадигмы, вообще говоря, не редкость. Часто именно так и бывает: туман вдруг рассеивается, пелена спадает, и из-под былой невнятицы проступает прозрачный текст. Конечно, это узнавание готовится, как в хорошем сюжете, исподволь, но наступает мгновенно. У Хемингуэя в “Фиесте” одного персонажа спрашивают, как он разорился. “Two ways, – отвечает он, – first gradually and then suddenly”. (“Двумя способами… сначала постепенно, а потом сразу”.)

Постепенность состояла в том, что мама произносила имя Пастернака с неизменным пиететом, что книжки его периодически снимались с полки и подвергались попыткам прочтения, что речь о нем заходила на факультете и у знакомых, наконец, что осенью мне должен был исполниться двадцать один год, год полного совершеннолетия, – пора было уже начинать соображать.

Тем более что где-то там – в Италии, Швеции, Европе – с Пастернаком происходило нечто небывалое. Дело шло о присуждении ему Нобелевской премии, и ветер подымался нешуточный. Но в первое наше с Ирой блаженное коктебельское

лето ни о чем таком не подозревалось – каша заваривалась как бы в другом измерении, на далеких литературно-политических небесах.

Среди разнообразных приобретенных в Коктебеле знакомых, преимущественно литературного склада, был наш ровесник, итальянец Эцио Ферреро, изучавший русский язык. Я больше никогда не встречал его, но хорошо помню его точеное лицо и стройную фигуру. Виделись мы в основном на пляже, куда он приносил солидное, в твердом переплете, с портретом, двуязычное издание стихов Пастернака, на левой странице по-русски, на правой по-итальянски. Я заглядывал туда через его плечо, систематического чтения предпринимать не думал, но Эцио иногда обращался ко мне за разъяснением трудных мест, и вдруг оказывалось, что ничего трудного там нет, все ясно, даже если не всегда понятно.

Вспомнились мамины слова о том, что поэзию не читают – ее почитывают. Нецелевое, необязательное – выражаясь университетским языком, факультативное – почитывание вдруг принесло результаты. Недаром текст, листаемый то ли человеком на ветру, то ли самим ветром, – излюбленный мотив Пастернака, начиная с незавершенного раннего отрывка: *Как читать мне?! Оплыли слова… Чьей задувшею далью сквожу я?.. Гонит мною страницу чужую.* Не то чтобы из итальянского тома прямо-таки подуло, но, видимо, сложилось некое счастливое соответствие между вокзалами, пейзажами и ветрами внутри него и вокруг, и он внезапно ожил, забормотал, запáх.

Коктебель помнится в двойном свете. Слепяще светлый в утренние часы, солнечный, ветреный, с бесконечным плесканием-нырянием-загоранием, перемежаемым светскими прогулками по густозаселенному знакомыми компаниями пляжу, и совсем иной, безлюдный, замерший в покое под высоким послеполуденным небом, с неторопливым проходом к пустынному пляжу, мерным заплывом в бирюзовом море и последующим “спортом” на территории Дома творчества – пинг-понгом в сугубо мужском обществе. Все это чудесно резонировало с миром “поэта-дачника” – подобно тому, как полтора десятка лет спустя дачная жизнь в Купавне, где путь к озеру прокладывался среди веток, вполне буквально бивших по лицу, подсказывала осмысление пастернаковских образов “контакта”.

Вернувшись из Коктебеля в Москву, я рапортовал своему учителю В. В. Иванову, что наконец понял Пастернака. “Самое время, – с мрачноватой назидательностью проговорил он. – Над ним сгущаются тучи”. В октябре разразился мировой скандал с Нобелевской премией и “Доктором Живаго”. Как сказал бы

Зощенко, тут она, драка, и подтвердилась.

P. S. По сведениям, полученным только что от итальянского коллеги, Эцио Ферреро служил переводчиком на переговорах о совместном с “Фиатом” строительстве автозавода в Тольятти. В договоре был секретный пункт о финансировании Москвой компартии Италии. Эцио вскоре погиб в автокатастрофе при подозрительных обстоятельствах. Русский “Фиат” назвали “Лада” – а надо бы “Лара”.

Шестидесятники
(Рассказ по картинке)

На этом снимке, скорее всего, пятьдесят пятого года, семеро сокурсников, поступивших на филфак МГУ в пятьдесят четвертом. Исключение – Наташа Горбаневская, вторая слева, которая была постарше, но несколько раз оставалась на второй год и таким образом поучилась и с нами.

Снимок запомнился не сам по себе, а потому что Мариэтта Чудакова, крайняя справа, увидев его у меня в Лос-Анджелесе, году уже в девяностом, объявила, как обычно, в режиме автоцитаты:

– Я всегда говорила: “Эта фотография не пропадет. Кто-нибудь да вывезет!”

Ее фраза напомнила мне слова одной немного более старшей коллеги, услышанные на заре туманной юности:

– Алик, вот я подумала. Мне сейчас столько-то лет [примерно 30], а я все еще младший научный сотрудник. Повышения по службе у нас в институте происходят очень медленно. [Может быть, она уточнила: столько-то человек раз в столько-то лет.] Значит, мне должности старшего сотрудника придется ждать [столько-то]…

Турпоход, примерно 1955 *г. Слева направо: А. Чудаков, Н.*

Горбаневская, С. Неделяева, В. Львов, А. Жолковский, И. Тарахтунова (потом Жолковская, сейчас Гинзбург), М. Хан-Магомедова (Чудакова)

Была ли там более далекая перспектива – заведование сектором, докторская степень, мантия академика, – не помню. Но эта прикладная арифметика врезалась в память сразу. Стояла легендарная “оттепель”, мы мечтали об открытиях, о дальних странах, некоторые, рискуя, подписывали письма протеста, а она озабоченно делилась со мной бухгалтерскими расчетами.

Стесняться их ей в голову не приходило. Она была красивая женщина, и я питал к ней романическую слабость, не мешавшую мне, впрочем, увлекаться, жениться и расходиться, неизменно сохраняя рыцарское поклонение ей, служившее предметом доброго юмора между мною, ею и ее мужем, как и она, будущим членкором. Но ее слов о средней скорости продвижения по службе я никогда не забывал. Они помогали относиться к собственным слабостям с отстраненной снисходительностью, с некоторым, что ли, почтительным удивлением, что вот, оказывается, бывают слабости и посильнее.

Ну, о ней, наверное, довольно, ее на картинке нет. Ее пессимистические выкладки не подтвердились, зато оправдал себя стоявший за ними взгляд на вещи, и она теперь занимает все мыслимые руководящие должности в нашей профессии – и у себя в секторе, и в фондах, ведающих грантами, и в главном филологическом журнале.

О Мариэтте тоже можно считать, что сказано достаточно, не здесь, так в других виньетках. С поставленной ею перед нами задачей сама она явно справилась.

Но и остальные не то, чтоб подкачали. Так, вторая справа – это, через пару лет, Ирина Жолковская, а потом многие годы Арина Гинзбург, крепкий диссидентский орешек. Овдовев в 2002-м, она продолжает жить в Париже; мы регулярно беседуем по телефону. Недавно мне потребовалось свидетельство о нашем разводе. Но она могла предложить только косвенное доказательство – бумагу о ее вступлении в брак с з/к Александром Гинзбургом в мордовском лагере и потому на мордовском языке.

Третий справа – я, в синем берете, выдающем мои уже тогда западнические настроения.

Немного позади, в кепке, сидит Володя Львов, непонятно как попавший в эту просвещенную компанию. Он вообще держался загадочно. Рассказывая на комсомольском собрании курса свою биографию (в связи с выдвижением его кандидатуры на какой-то

пост), он, среди прочего, дал с трибуны Коммунистической аудитории такую справку:

– Отец – директор одного из московских заводов.

Ходил упорный слух, что он стучит, справедливый ли, неизвестно, но казавшийся убедительным и способный, кстати, объяснить его странное присутствие на снимке. Мы со Щегловым посвятили ему издевательский (но не по стукаческой линии) сонет-акростих в курсовой стенгазете.

А потом, где-то в конце шестидесятых, я столкнулся с ним у метро “Новокузнецкая”. Он был все такой же. Его постный, якобы непричастный, но все равно подозрительный вид вызвал у меня знакомое раздражение, и я опять принял боевую стойку.

Умолчав о своем научном подвижничестве, я кивнул на внушительное здание Радиокомитета и сказал, что вот иду со службы, из редакции вещания на Африку. Он, поведя головой в сторону располагавшегося немного подальше здания, очень похожего на наше, сообщил, что работает “в Комитете”. Что это был за комитет, не помню, да толком не знал и тогда; кажется, Госкомитет по внешним связям. Но пропустить мимо ушей формулировку “в Комитете” я не мог: слишком уж явно была она из той же колоды, что “на одном из московских заводов”, – с тем же неопределенным артиклем, дескать, знаем, не протрепемся, в государственные тайны посвящены недаром.

Я решил зайти с козырей, предоставленных в мое распоряжение мизансценой – соседством и чуть ли не двойничеством двух Комитетов. Так сказать, Госкомитет на Госкомитет – чья возьмет.

– Ого, – почтительно проинтонировал я. – Платят, наверное, неслабо?

Он назвал приличную сумму, до которой мне, с моей нищенской ставкой в лаборатории плюс полставки на Радио, было далеко.

– Как? Всего только? Ну, ты этого так не оставляй. Ладно, я побежал.

Больше мы не встречались. Кто его знает, может, он и не посрамил нас – приватизировал один из московских заводов или государственных комитетов?!

Третья слева – Света Неделяева, девушка молчаливая и скромная, но очень серьезная. Кстати, только она одна из всех четырех женщин (и подобно всем трем мужчинам) не смотрит в объектив, задумавшись о своем. На курсе она свела дружбу с нашим сокурсником Ауртни Бергманном, занялась исландским и стала профессиональной переводчицей с этого языка. Тоже не подвела.

Следующая, в большой кепке а-ля Гаврош и единственная улыбающаяся, – Наташа Горбаневская, в будущем героиня сопротивления и известная поэтесса, а тогда – просто свой парень, подающее надежды молодое дарование. Слегка косой и сильно картавящей коротышке неавантажного вида, ей в жизни предстояло преодолеть немало, но доверие Мариэтты она оправдала с лихвой. И по мере роста своей славы становилась все более невыносимой.

Крайний слева, наполовину срезанный кадром, в кепке задом наперед, подчеркнуто безразличный к своей пресноватой внешности (да еще и моргнувший перед камерой), – Саша Чудаков. Ныне покойный, он получил полное признание еще при жизни, причем не только как чеховед, но и как прозаик-мемуарист. О нем я тоже уже писал. Добавлю, пожалуй, что с Мариэттой их объединял мощный растиньяковский драйв – нацеленность на столичную карьеру, общение с великими, овладение высотами профессионального и житейского успеха. Саша добился принятия в аспирантуру академиком Виноградовым, близко познакомился со Шкловским, Мариэтта была вхожа к вдовам Булгакова и Зощенко… На похоронах Бахтина они присутствовали оба, и не просто присутствовали, а несли самый гроб.

…Нет, снимок ничего. Вот где он сделан, не соображу. То ли в колхозе, то ли в турпоходе. Одеты все в черное и серое, трава жухлая, неба в кадре нет, лица без улыбок. Скромное обаяние шестидесятых.

Ультима Фульбе

В один год со мной (1962) в аспирантуру ИВЯ по африканистике поступил Алеша Тарасов. Он был преподавателем немецкого языка в Инязе, но решил попытать нового счастья и нацелился на никому у нас не известный язык фульбе.

Тарасов был крупного телосложения, с большой головой, какая бывает у способных и откормленных детей из хороших семей, черноволосый, с красивым смуглым цветом лица. Большая родинка на левой щеке тоже говорила о породе.

Занимаясь в аспирантуре, мы периодически обменивались опытом изучения избранных языков. Я делился проблемами с сомали, Юра Щеглов – с хауса, Тарасов – с фульбе. И тут мы с Юрой заметили, что Тарасов никак не может остановиться на каком-нибудь одном названии своего языка. Один раз он говорил: “Я познакомился с двумя носителями фульбе”, другой раз: “Фула – интересный язык”, при следующей встрече: “Сейчас я занят вопросом о диалектах фульфульде”, а через день: “Собираюсь работать с делегацией на пёль”.

Хотя все эти названия (и еще несколько) действительно фигурировали в литературе (отражая, среди прочего, прохождение термина через разные языки западных лингвистов), у Тарасова в их беспрестанной чехарде проглядывало что-то странное. Мы с Юрой облюбовали самое звучное из них и говорили, что Тарасов – крупнейший советский фульфульдист. (Он был и единственным.)

Хохма оказалась невеселой – Тарасов вскоре без всякой видимой причины покончил с собой. Говорили, что его отец-океанолог (породистость подтвердилась) находился в это время в плавании, где-то в Тихом океане. Друзей у Тарасова не было.

С тех пор прошло много лет. Я выучил, отчасти описал и полностью забыл сомали, Юра изучил хауса и литературу на нем, напечатал об этом книги – и тоже перешел к другим темам. А недавно вообще умер.

За полвека ряды моих сверстников поредели основательно, но тогда впервые вдруг оказалось, что раньше всех гибнут совершенно вроде бы здоровые, яркие, отборные – отмеченные роком. Легкая сумасшедшинка была ведь не только в обсессивном перебирании пряных лингвонимов, но уже и в самом выборе языка – не манящим ли дуновением *этих эф, этих у, этих эль* навеянном?

Портрет неизвестной

Мы виделись ровно один раз – и один раз коротко говорили по телефону. Это было очень давно, полвека назад. Время не щадит ни лиц, ни имен, хотя кое-что иногда – чрез звуки лиры и трубы – остается.

Имени ее я не помню, а фамилии не знал и тогда. Она жила где-то в арбатских переулках, но адреса я не помню тем более. Так что, если бы мне вдруг захотелось во искупление давней вины что-нибудь ей завещать, на исполнителей моей последней воли легла бы непростая задача по ее отысканию. Впрочем, вины там было немного, а то и вовсе не было. Найти же наследницу можно было бы разве что через Окуньковых – при условии, что и она, и они меня переживут.

Ситуация – как в анекдоте про пассажира, который пошел в вагон-ресторан, поел и выпил, а потом сообразил, что не знает даже номера своего вагона, не говоря о купе. Проводник спрашивает, помнит ли он хоть что-нибудь, какие-нибудь приметы. Как же, говорит пассажир, помню. Там перед окном был очень симпатичный пейзаж – березки, озеро. Ну, вагонов в поезде обозримое число, так что у него все шансы воссоединиться со своим купе и багажом. И он ясно держит в памяти прелестное озеро – а я? Почти ничего.

Что же я все-таки столько лет помню? Какой-то абрис, туманный силуэт в зеленых тонах при вечернем освещении и, конечно, punch line, ту словесную пуанту, ради которой и берусь за перо (за клаву, как выразилась одна оригиналка уже в текущем столетии). Вербальные осколки прошлого в моем филологическом мозгу застревают прочно. Не могу, например, забыть, что сказал мне соученик по группе бального танца при Доме ученых Боря Лакомский (с ударением на “о”). Ему, как и всем нам, было четырнадцать, но он был уже жутко взрослый, в костюме, при галстуке, темноволосый красавец с уверенными манерами. Я что-то нескладно пошутил по поводу него и его партнерши, на что он со светской улыбкой повернулся ко мне и произнес: “ОБЪЯСНИТЕС”, – без мягкого знака на конце, как какой-нибудь де Барант. А телеграмма: “ПОМНЮ И ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ЭТУ НОЧЬ БЛАГОДАРЮ ВАС ЦЕЛУЮ ЦЕЛУЮ ЦЕЛУЮ НИНА”, полученная после совершенно, прямо скажем, бездарной ночи?! Или аттестация, заочно выданная мне бабушкой одной подруги: “ВАМПИРЧИК”?!

Встретились мы случайно, у Окуньковых. Женя Окуньков и его жена Галя Ветрова (обе фамилии, невероятно, но настоящие –

вот и зацепка для юристов-наследственников) были моими коктебельскими соседями в сентябре 1963 года. Дом мы, всем на зависть, снимали “у Кати”, в северной части поселка, прямо над пляжем. Женя был страстный рыболов и на целый день с другим таким же любителем уходил в море. Однажды вместо него Женя взял меня – в качестве гребца и помощника по части наживки. Охотно клевавшую таранку он потом вялил, развесив на солнце и ветру во дворе, и, вяленую, в большом количестве повез в Москву, где вскоре устроил вечеринку в ее честь.

Народу было много, мне абсолютно незнакомого и в основном простого, с которым я толком общаться не умею, а потому поскорее напиваюсь. (Из другой вечеринки, в компании моего школьного друга Миши Ройтштейна, всплывает фраза: “АЛИК, КАКОЙ ТЫ ПОНЯТНЫЙ, КОГДА ПЬЯНЫЙ!”) Водка хорошо шла под таранку, я набрался как следует (чем может объясняться моя позорная забывчивость), почувствовал себя наконец в своей тарелке, огляделся и увидал ее.

Не то чтобы не запомнилось совсем ничего. Она была полновата, со светлыми, немного медными волосами, сверкающим счастливым лицом, и мы сразу как-то потянулись друг к другу. На ней было зеленое платье с золотистыми накладными полосками или вышивкой, очень ей к лицу, которого, однако, не помню. Но помню, что платье настолько ей шло, что именно им я вдохновлялся, когда пытался потом написать статью о “Мастерице виноватых взоров”, где утверждал, что за *мастерицей, взорами* и *держательницей плеч* угадывается *мастерски* вышитый *узор* одежды. Это приношение ее памяти осталось неоконченным. И с тех ли пор я полюбил зеленый цвет или уже любил заранее, не уверен.

Кажется, мы танцевали. Постепенно выяснилось, что она замужем, но пришла одна, что живет она, как и я, где-то по соседству и… что она беременна, чуть ли не на сносях! Только тут я понял, почему на нас так странно поглядывали хозяева и другие гости.

Будучи беременна, она, естественно, не пила, и, значит, ее расположение ко мне было тем более подлинным. А может, как это бывает с беременными женщинами, ей вдруг капризно захотелось чего-то другого, острого, соленого, сладкого, эдакого, и тут подвернулся я.

Ей надо было быть дома не поздно, и я пошел ее проводить. В полутемных переулках по дороге мы целовались. Она дала мне свой телефон. Мы попрощались у ее парадного, я обещал позвонить, записал еще и номер дома и подъезда и, совершенно завороженный, пошел домой – Метростроевская была недалеко.

Позвонил я не сразу. Отчасти потому, что, отрезвев, немного призадумался, отчасти потому, что и сам был женат, хотя чем дальше, тем все меньше и меньше. Но в какой-то момент все-таки набрал номер.

Трубку взяла она. Я представился, спросил, помнит ли она меня и удобно ли ей говорить. Говорить оказалось удобно, и в трубке раздался умоляющий вопль:

– ПОЩАДИТЕ МЕНЯ! Я ждала и боялась вашего звонка. Я не знаю, что это было. НО ПРОШУ ВАС, ПОЩАДИТЕ МЕНЯ!..

Это было не слабо. Такого мне слышать не приходилось ни до, ни после, ни по телефону, ни лично. Одной репликой, как прикосновением волшебной палочки, я был мгновенно превращен из участника легкомысленной интрижки в романтического героя, Сильвио, Печорина, графа Монте-Кристо.

Я пощадил – что мне еще оставалось? Телефон и адрес выбросил, имя и лицо забыл, но ауру той встречи и мольбу о пощаде смаковал долго. В частности, когда разрабатывал идею о “превосходительном покое” у Пушкина. И когда несколько лет назад уже пытался записать эту историю, но не пошло, и вместо нее получился разбор бунинского рассказа о вожделении к беременной (“Ахмат”).

…*Все в жертву памяти твоей* – и незрелый набросок, и две неплохие статьи. А телеграф и юрконторы загружать ни к чему.

Чудеса кибернетики

В эпоху бури и натиска конца 1950-х – начала 1960-х годов от кибернетики ждали всех возможных и невозможных чудес. Повинны в этом были не столько математики, сколько журналистская и гуманитарная общественность, раздувавшая вокруг кибернетики научно-фантастический бум.

Как-то раз на публичном семинаре одному из отцов-покровителей математической лингвистики, члену-корреспонденту Академии наук А. А. Маркову (сыну великого Маркова – "сыну цепей"), задали вопрос о возможности передачи мыслей на расстояние. Марков, высокий, седой, с холеным лицом и язвительными складками у рта, весь просиял и, расхаживая по сцене своей нескладной (хромающей?) походкой, стал говорить в характерном для математиков празднично-издевательском ключе:

– Ну что же, если у вас появилась некоторая мысль и вы хотели бы передать ее на определенное расстояние, то я бы рекомендовал поступить следующим образом. Надо взять лист бумаги, изложить на нем имеющуюся мысль и доставить этот лист в заданную точку. Если адресат правильно поймет прочитанное, то можно будет утверждать, что передача данной мысли на указанное расстояние состоялась.

Сырье für uns

Как-то Юра, с пренебрежением относившийся к моде вообще и собственному туалету в частности, решил укрепить свой гардероб покупкой двух приличных костюмов. За советом он обратился ко мне. Единственное, что я мог сказать ему с определенностью, это что товар должен быть импортный. Через несколько дней, объездив ряд магазинов, он говорит:

– Ну что ж, я могу считать, что приобрел некоторый опыт. Я уже умею отличить советскую продукцию от импортной. Советский товар, он, что ли, сравнительно недалеко ушел от сырья, в нем сырье, так сказать, доступно непосредственному наблюдению, в нем сырье как-то прямо видно*, сырье видно.*

Автоматы и жизнь

Так назывался исторический доклад академика Колмогорова в начале 1960-х годов, открывший наконец широкую дорогу кибернетике. Но мы истории не пишем…

У моего знаменитого соавтора Мельчука было тяжелое детство – советская власть, война, мачеха и вообще еврейское счастье. Игорь “управлялся”. Свою сестру и себя он одно время кормил, за еду отлавливая мух в столовке, где не хватало липучек. Как и во всем, он достиг в этом машинного совершенства и мог поймать муху одной левой не глядя.

К моменту моей второй женитьбы (1973) наша совместная работа над моделированием семантики была в разгаре. В качестве младшей коллеги Таня относилась к Мельчуку с пиететом и предвкушала домашнее знакомство (мы работали в основном у меня). А в качестве энергичной хозяйки она приняла практические меры – обила дверь отошедшего к ней кабинета войлоком и кожей, чтобы “громкий, но противный” голос Мельчука доносился туда приглушенным. Таня была, конечно, в курсе мельчуковской мифологии, включая охоту на мух.

Как-то раз, проходя через гостиную, где мы работали, Таня привычно оглядела ее в поисках непорядка, обнаружила его и брезгливо констатировала: “Муха!”

– Слава богу, муху есть кому отловить, – сказал я, гордясь причастностью к гению, великому и в малом.

Игорь на секунду поднял глаза, хватательно выбросил левую руку и… ничего не поймал. Таня посмотрела на меня с недоумением. Игорь, не глядя, повторил свой пасс – и опять безрезультатно.

– Как же это? – растерянно сказала Таня. Культ рушился на глазах.

– Игорь, ты что? – забеспокоился я. – Ты что меня подводишь?! Я, может, под твою славу женился…

Он оторвал наконец взгляд от бумаги, всмотрелся, приготовил было руку, но потом безразлично отмахнулся и опять вернулся к работе.

– А-а, это моль…

– Так тем более, она же медленнее.

– Вот именно. А у меня автомат.

Видно, этой моли суждено было еще пожить. Помедли, помедли, вечерний день, продлись, продлись, очарованье…

…Интересно, сохранилась ли у теперешних владельцев квартиры противомельчуковская обивка? А также буква “*И*” перед

унитазом, выложенная белым кафелем по черному в честь Игоря – любителя уборнографического юмора? Если нет, пусть вызовом глобальной автоматизации останется это memento о медленной моли.

Сколько человеку нужно

Мы были бедны, но с идеями.

Как-то в буфете он спросил, есть ли у меня мелкие купюры – крупную неохота разменивать. Запоминая зеленевшую в его кулаке трешку, я заплатил пятеркой.

Вскоре я съездил в Ленинград – развеяться.

– Много потратил?

Наклевывалась завязка. Я подыграл:

– Много.

– Сколько?

– Не знаю.

– ?!

– Взял, сколько было, положил в карман (я показал как – он проследил глазами) и потратил. Не считая.

– Вот это здорово!

Загул был чисто словесный, зато зависть в голосе звенела самая настоящая.

Through a glass, darkly

Дом, в котором я прожил четыре десятка лет своей советской жизни (Метростроевская, теперь снова Остоженка, 41), был одним из первых кооперативных. Построенный в конце 1920-х годов Русско-Германским обществом, он имел три подъезда с бетонными козырьками и массивными черными деревянными дверьми, образующими небольшой застекленный тамбур (сегодня они сохранились лишь наполовину – внешние двери заменены глухими железными). Я жил в первом парадном, расположенном в глубине двора, в низинке, и потому с каменным крыльцом в три ступени. Второму парадному хватило пары ступенек, а третье, смотревшее на сквер и улицу, обходилось без крыльца. В холодное время года консьержка сидела во втором парадном, первое и третье запирались, и их жильцы шли к себе по подземным коридорам, мимо технических помещений – соответственно прачечной и котельной.

Остоженка (б. Метростроевская) 41, 1-*е парадное (современный вид)*

Как-то в далекой молодости, возвращаясь октябрьским вечером домой и поднявшись из коридора, сквозь стекла своего парадного я увидел, что на скамейке напротив сидят. Было темно, лампочка над крыльцом не горела, но угадывалось, что это парень с девушкой. Они сидели неподвижно, в тяжелых пальто и,

видимо, тихо беседовали. Он что-то держал в руках, девушка, не меняя позы, иногда поглядывала в эту сторону.

Мне их было не слышно, им меня не видно, я стоял и смотрел, любопытствуя. Молодого человека я узнал. Он учился в нашей школе, мы не были знакомы, но я встречал его и где-то еще. Это был здоровый парень, прямой как палка, розовощекий, всегда пестро одетый, с близко поставленными глазами-пуговками и низким лбом, в который вклинивалась щетка густых черных волос. Но сейчас ничего этого нельзя было различить – поздний вечер, осень, двойные стекла, серое на сером.

Вглядевшись получше, я понял, что двумя руками он держит предмет неслышного мне разговора – высвобожденный из ширинки член, длинный, тяжелый, находящийся в состоянии полуэрекции. Завораживающая в своей медитативной невозмутимости сцена длилась и длилась, мгновение было остановлено.

Я испытал смешанные чувства удивления, зависти, сочувствия, мелькнула даже мысль предложить им свою квартиру. Оторвав наконец от них взгляд, я поднялся к себе, потом не вытерпел и вышел посмотреть еще раз, но никого уже не было.

Заголовок – из 1-го Послания к Коринфянам (13:12). По-русски он звучал бы совсем тоскливо: “Сквозь тусклое стекло”.

Что делать

В заочной аспирантуре Института восточных языков при МГУ (1963–1967) я проходил только один курс – семинар по основам марксизма-ленинизма. Избранный мной язык сомали преподавать было некому, и его изучение было пущено на самотек, но о том, чтобы обойтись без марксизма в то время, да еще в институте, готовившем выездных переводчиков и шпионов, нельзя было и помыслить. Впрочем, преподавался этот предмет спустя рукава. Семинар вел не старый, но уже облысевший от философских занятий бледный еврей (фамилии не помню). Одного взгляда на меня ему было достаточно, чтобы полностью освободить меня от посещения – с единственным условием: в конце семестра (года?) я должен был подать реферат на какую-нибудь философскую тему, связанную с моей, аспиранта-заочника, непосредственной научной практикой.

Я никогда не разделял принятого среди моих друзей-филологов мнения, будто марксизм, ввиду своей ненаучности, логической противоречивости и лживой догматичности, не поддается изучению. Я полагал и полагаю, что, будучи тщательно разработанным словесным построением, своего рода атеистической мифологией, то есть, выражаясь по-тартуски, вторичной моделирующей системой, марксизм, в том числе официальный советский, являет законный объект для филологического освоения. Я всегда имел по марксизму отличные оценки и благодарен советской системе образования за заложенные таким образом основы, по сей день позволяющие мне поддерживать непринужденные беседы с американскими коллегами на темы деконструкции и иных постмодерных веяний гуманитарной мысли.

В качестве профессионального материала для реферата я избрал широко дебатировавшуюся в наших структурных кругах теорию лингвистической относительности, известную также под названием гипотезы Сепира – Уорфа. В советском языкознании она постоянно подвергалась критике за релятивизм, подрыв категории объективной истины, а то и сомнительное, американско-империалистическое, происхождение ее авторов, конкретные отдельные заслуги которых в описании индейских языков, впрочем, признавались – со сдержанным одобрением. В реферате наверняка можно было ограничиться констатацией такого положения дел, слегка пожурив буржуазных специалистов Эдварда Сепира и Бенджамина Уорфа за философскую недостаточность. Но интеллектуальное честолюбие и тайный

диссидентский запал толкали меня на большее.

Начал я с постановки проблемы: как получается, что выдающиеся умы человечества, совершающие фундаментальные открытия в различных областях знания, – Павлов, Эйнштейн, Бор, Сепир и другие – оказываются неспособны постичь очевидные философские истины марксистского учения, которое, по словам Ленина, “всесильно, ибо оно верно”? Так сказать, чего им неясно, если башка у них вроде неплохо варит? За ответом я предлагал обратиться к классической работе Ленина “Что делать?”.

Центральный тезис книги состоит в том, что коммунистическая идеология не может быть выработана пролетариатом самостоятельно, стихийно, путем естественного развития из задач экономической борьбы (как то утверждают западные социал-демократы либерального толка и их российские последователи). Она должна быть внесена в сознание рабочего класса извне, силами передовых идеологов-марксистов, отражающих подлинные, но, увы, не всегда отчетливо осознаваемые интересы этого класса. Для чего и требуется создание партии нового типа – партии профессиональных революционеров.

Далее мат ставился в три хода. Если пролетариат, то есть класс, в котором общественные формы его существования (массовый индустриальный труд, отчужденность от собственности и т. д.) закладывают начатки коммунистического сознания, а перспектива прихода к власти в результате социалистической революции развивает непосредственную заинтересованность в такой идеологии, – если даже пролетариат оказывается ей стихийно чужд, то чего же ждать от буржуазных ученых, привыкших к индивидуалистическим формам труда и накопления и не принадлежащих к будущему классу-гегемону?! Поскольку, таким образом, рассчитывать на переход Эйнштейна, Сепира и других релятивистов на марксистские рельсы философски некорректно, постольку в порядок дня ставится принудительное, а в случае необходимости и насильственное, внедрение в их головы марксистской методологии. С помощью ряда лингвистических примеров из языка хопи (исследованного Уорфом) и из области машинного перевода с английского на русский (разрабатывавшегося автором реферата) наглядно демонстрировался переход от ошибочной, релятивистской трактовки языковых явлений к единственно верной, марксистской.

Все это было написано единым духом, без помарок и принесло мне желанный зачет и понимающую улыбку преподавателя. К сожалению, текст реферата у меня не

сохранился. Я одолжил его кому-то из младших коллег по Лаборатории машинного перевода, тот переписал его и подал от своего имени, но оригинал не вернул, а передал дальше. Что было делать? Я утешался тем, что мой вклад в марксизм пошел по рукам – внедрился в народное сознание.

“Машки”

В середине 1970-х годов я работал в “Информэлектро”, где присутственный режим был сравнительно вольный, но время от времени отдел кадров проводил проверки, о которых, как правило, становилось известно заранее, и тогда требовалась всеобщая явка к 8 утра. Я человек дисциплинированный и большой проблемы в этом не видел; я просто брал с собой в портфеле, а то и в двух, все нужные для моих посторонних занятий поэтикой материалы и мирно корпел над ними в пустой институтской читальне.

Все-таки ранний подъем и психологический стресс, не говоря об утренней давке в метро, видимо, сказались, ибо в одно прекрасное утро я выскочил на платформу на “Красных воротах” только с одним портфелем в руках – привычный самоконтроль (руки не должны быть пустыми) сработал по минимуму. Я, конечно, сразу же обнаружил нехватку, обратился к работникам метро, они связались с машинистом, поезд был осмотрен по прибытии на конечную станцию (а потом еще раз мной, когда опять проезжал “Красные ворота”), но безрезультатно.

Потеря была нешуточная – в портфеле были записные книжки, документы (в том числе институтский пропуск), почти законченная рукопись, которую я собирался отдать в перепечатку (для чего в течение некоторого времени запасался номерами машинисток), иностранные и библиотечные книги, в общем, много чего. К счастью, моя агония продолжалась недолго. Вскоре позвонила Танина мама – сказать, что ей звонил какой-то странный человек, представился нашедшим мой портфель, и она дала ему мои телефоны. А вскоре позвонил и он сам.

– Саша? Наше вам с кисточкой. Вы потеряли, мы нашли. Ваше счастье, а то, знаешь, потерял – пиши пропало.

– Большое спасибо. Как мы встретимся?

– Давай приезжай, только с тебя, конечно, причитается. И ты, это, один приезжай, без милиции, понимаешь. Если не один будешь, мы к тебе не выйдем.

– Все понятно. Как к вам доехать и как мы узнаем друг друга?

Он объяснил мне дорогу куда-то на самую окраину и сказал, где его ждать. А узнает он меня спокойненько по фотографии на пропуске. В целом радуясь, но несколько тревожась относительно суммы выкупа, я захватил две двадцатипятирублевки, поймал такси и поехал. Как только я, расплатившись, вылез из машины и начал осматриваться, ко мне подошел простецкого вида работяга-забулдыга. В руках он держал мой пропуск и записную книжку,

явно наслаждаясь раскладом, при котором он выступал в качестве инстанции, проверяющей документы, а я в роли опознаваемой сомнительной личности. Портфеля при нем не было.

– Да, сперва мы тебя никак не могли разыскать. Твоего-то телефона в книжке нет. Тогда мы стали твоим блядям звонить, а они, суки, не признаются.

– Каким блядям? О чем вы говорите?

– Ну как же? Вот, – он протянул мне мою записную книжку, – пожалуйста, черным по белому: машки. И телефонов штук пять. А они все как одна отказываются, говорят, мы его не знаем.

Я заглянул в книжку. На букву “М”, под беглым карандашным “Маш-ки”, значились телефоны машинисток, добытые по расспросам знакомых и еще не пущенные в ход. Своего собеседника я посвящать в эти тонкости не стал. Он же воодушевленно рассказывал, как, звоня по всем телефонам подряд, они в конце концов вышли на Ксению Владимировну.

– Так где же портфель?

– Ща пойдем, только сперва надо, это, в магазин зайти.

Я понял намек и приготовился раскошелиться. Мой спутник недолго осматривал витрину и заказал три бутылки портвейна. Это стоило рублей пять-шесть, но так как я уже вынул четвертную, я со словами “для дома, для семьи” спешно накупил каких-то дорогих бутылок и шоколадных наборов и погрузил их в сумку. Работяга рассовал по карманам портвейн, и мы двинулись.

Он привел меня к стационарному вагончику, в каких живут ремонтные рабочие. Нас встретили веселыми возгласами. Внутри вагончик был обклеен глянцевыми вырезками с полуобнаженными девицами. Меня пригласили принять участие в распитии принесенного, но я отказался, сославшись на занятость. Они не настаивали. Мне был выдан портфель, велено убедиться в сохранности содержимого и посоветовано в дальнейшем не быть таким распиздяем. Я отбыл, не веря своему счастью и не переставая дивиться скромности запросов простого советского человека (слова “совок” тогда еще не было). Так я воссоединился с утраченной было собственностью, но зато остро ощутил безнадежность своего отрыва от народа – отрыва пока что метафорического, но которому через несколько лет предстояло овеществиться в виде эмиграции.

Случай в Кремле

Одним из первых подкапываться под сверкающий научными и гражданскими доблестями имидж Комы (В. В. Иванова) стал Юра Щеглов. Эпизод, с которого я начну, относится, по-видимому, к самому началу 1960-х годов, судя хотя бы по безоговорочности моего собственного обожания.

– Алик, заметил ли ты, что Кома, которым ты так восхищаешься, – человек, в сущности, довольно холодный и неприятный.

– Это почему же?

– Ну посмотри, какие у него узкие губы, холодные глаза, тонкий голос…

– Какие-то всё сомнительные приметы. Ничего более существенного у тебя нет?

– Позволь, неужели ты не видишь, какой это человек – холодный, расчетливый, властолюбивый…

– Ты повторяешься. Нет ли у тебя доказательств?

– Доказательств? Не знаю, каких ты хочешь доказательств? По-моему, я ясно говорю, что это за человек – с тонкими губами, сухим голосом, холодный… Представь себе. Прошло двадцать лет. Структурная поэтика, кибернетика и все такое полностью признано. Огромный прием в Кремле. Приглашен весь состав советской семиотики. В числе прочих позвали и нас с тобой. Мы поднимаемся по ступеням Большого Кремлевского дворца и видим, что на площадке стоит Кома в окружении разных академических и правительственных чинов. Мы радостно киваем ему, а он… он делает вид, что нас не замечает! Мы смущенно проходим дальше… Теперь ты понимаешь, какой это человек?

– Я понимаю, что ты хочешь сказать, но все еще жду подтверждений.

– Ну какие еще нужны подтверждения? Холодный, бездушный человек, тонкие, властные губы, высокий бесцветный голос…

– Все это я уже слышал. Нельзя ли для разнообразия привести какие-нибудь факты?

– Факты? Тебе нужны факты? Факты… Фактов сколько угодно. Взять хотя бы этот случай в Кремле!..

Эту историю я неоднократно рассказывал, в частности – Оле, [13] в частности – в 1989 году в Москве, во время столетнего юбилея Ахматовой, когда мы много общались с Комой (расчувствовавшись, рассказал и ему самому). Кульминацией этих торжеств, проходивших с большой помпой (мне как знатному иностранному гостю были предоставлены переводчик, номер в

гостинице “Россия” и черная “Волга”), было заседание в Колонном зале. Нам были отведены места под самой сценой (помню, что рядом сидела Ольга Андреева-Карлайл, внучка писателя Л. Андреева), Кома же должен был помещаться на сцене – среди ораторов и членов почетного президиума.

Сцена пустовала. Мы ждали, гадая, с какой стороны они выйдут, увидим ли мы Кому и, главное, подтвердится ли “этот случай в Кремле”. Но вот прямо над нами (с левой стороны сцены, если смотреть из зала) стали появляться почетные гости и занимать свои места. Помню, что в их числе были такие персонажи, как Сергей Михалков и Петр Палиевский.

С очередной группой вышел и Кома, в черном костюме и черных туфлях, как и приличествовало депутату и вообще официальному лицу; в таком наряде я видел его впервые. Упускать момент было нельзя.

– Кома, Кома, – закричал я, задрав голову вверх. Кома повернулся на неожиданный звук и с улыбкой нас приветствовал.

“Случай в Кремле” не подтвердился.

Из выступления Комы я не запомнил ничего, кроме того, что там были и стихи, а в них – строка вроде *Когда я в памяти разматываю…* и рифма к ней – *…Ахматову*. А может, даже и более смелое соположение: *…Ахматову разматываю…* В перерыве я подошел к нему и, среди прочего, похвалил стихи, сказав, что в них удачно совмещены ритм пастернаковского *Пока я голову заламываю…* с пушкинским “развиванием” свитка воспоминаний. По недовольной холодности его реакции я понял, что попал в точку. Может быть, я попал бы еще точнее, если бы указал на мне тогда не известное стихотворение Хлебникова “Одинокий лицедей” (1923), начинающееся: *И пока над Царским Селом / Лилось пенье и слезы Ахматовой, / Я, моток волшебницы разматывая, / Как сонный труп, влачился по пустыне…*

“Кремлевские” мотивы в личности Комы – богатая тема <…>.

Очевидна двоякость его фигуры. Он не только выдающийся ученый, но и крупнейший культурный деятель – организатор науки, создатель и глава различных комиссий, центров, факультетов, изданий и т. п. Апогеем его признания в этой роли стало, конечно, его избрание (при перестройке) в Верховный совет по списку Академии наук. Говоря предельно кратко, он – одновременно “академик” и “генерал” <…>.

Собственно, элемент “генеральства” содержится уже в самом понятии “академик”. Папа пересказывал мне замечание, сделанное моей мамой в военные (или ранние послевоенные?) годы. Она стояла в очереди в ОРСе (Отделе рабочего снабжения)

за какими-то продуктами. ОРС был привилегированный, допустим, Министерства высшего образования, и очередь состояла в основном из профессорских жен. Но среди них оказалась некая жена академика, которая потребовала обслуживания вне очереди. Профессорши ее пропустили. Возражала лишь одна женщина, которая заявила, что может согласиться, что время академика дороже времени рядового профессора (советской интеллигенцией еще владел некий идеальный младобольшевизм), и потому академика естественно пропускать вперед, – но жена-то его чем лучше их, профессорских жен?

На это моя мама сказала, что дело обстоит ровно наоборот. Между научной продукцией профессора и академика особенной разницы как раз нет. Существенна разница именно между их женами – это жена добилась того, чтобы ее муж из профессора сделался академиком.

…Чем мне закончить мой отрывок? “Академика” в Коме, все же больше, чем “генерала”, ученого – чем вельможи. Но вельможа чувствуется, причем именно вельможа в строгом смысле – в смысле XVIII века. Характерны в этом отношении его мемуары (в 1995 году опубликованные в “Звезде”). Они написаны как бы сугубо цельной исторической фигурой, так сказать, еще до “Исповеди” Руссо.

Академиком же он является в самом прямом смысле. Он член многих академий – кроме Российской.[14] Как это вышло, что в Верховный совет его избрали, а в академию нет? Видимо, почувствовали, сколь важны для него титулы и… обошли наиболее бесспорно ему причитающимся.

…Вспоминается осень 1966 года. Мой “Who Is Who” ходил по рукам. Эта игрушечная самиздатовская книжечка хохм по адресу коллег была напечатана в четырех экземплярах на пишущей машинке, на четвертушках машинописного листа, так сказать, in quarto, сшита простыми скрепками и переплетена в тонкий картон (одно время я увлекался переплетением книг), покрытый красной глянцевой бумагой. Один экземпляр я оставил себе, а три раздарил, и они начали ходить по рукам. Многие из упомянутых обиделись; оригинальнее других реагировала Р. М. Фрумкина, наоборот, заявившая протест против ее неупоминания. В порядке учета читательской реакции я вскоре выпустил “Издание второе, исправленное и озлобленное”. По непроверенным сведениям, один экземпляр был при свидетелях уничтожен женой одного из “героев”. Но, как говорится, рукописи не горят. Ксерокопия 1-го издания (врученная мне при моем переезде в Лос-Анджелес профессором Калифорнийского

университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Хенриком Бирнбаумом, который получил ее от Мельчука) и оригинал 2-го (найденный мной в Москве уже после перестройки) лежат передо мной. Гордиться, впрочем, особенно нечем – остроты кружковые, часто однодневные, а то и просто дешевые.

И одновременно готовилась к печати наша со Щегловым статья (“Структурная поэтика – порождающая поэтика”),[15] публицистические пассажи которой были проникнуты полемикой, так сказать, на два фронта – против традиционного официального литературоведения и против эксцессов

> “структурной и семиотической мысли <…>, которая часто не идет дальше более или менее хитроумной транслитерации банальных или приблизительных представлений. Это, в сущности, не удивительно, если учесть, что многие из таких работ являются результатом массовой фабрикации, приурочиваемой ко дням малых и больших семиотических праздников, когда всем желающим предоставляется возможность отлить свои читательские впечатления в научную бронзу”.

Зайдя к В. В. по делу от В. Ю. Розенцвейга (готовилась большая статья Иванова о кибернетической лингвистике и поэтике в юбилейный, к 50-летию советской власти, том “Кибернетика на службе коммунизму”), я показал ему свои рукописные материалы – с тем, чтобы прекратить некрасивую ситуацию, когда я распространял нечто критическое о нем за его спиной. Одновременно произошел и своего рода принципиальный разговор по поводу его статьи о кибернетической лингвистике, где главное место отводилось Флоренскому. Он спросил о моем мнении, и, слово за слово, я сказал, что предпочитаю точный, работающий, поистине машинный подход Мельчука (с которым мы тогда занимались лексическими функциями) его размытым рассуждениям вокруг да около (хотя и понимаю кайф прославления репрессированного попа под флагом октябрьских торжеств).

Возможно, я был неправ по сути дела и, при всем почтении к учителю, бестактен, возможно, непростительны были личные хохмы по его адресу в “Who Is Who”, но эффект превзошел все ожидания. В. В. в грубой форме прервал со мной все отношения, опубликовал в “Вопросах литературы” собственную статью, где назвал наши разборы “полупародийными” (в чем я не видел и не вижу большой беды: литературоведение и должно моделировать, т. е. научными средствами пародировать, свои объекты, т. е. быть

в буквальном смысле полу-пародией) и в дальнейшем ни разу, даже после примирения, не предложил мне выступить или напечататься где-либо под его эгидой. В сущности, как и пристало советскому вельможе, он объявил меня чем-то вроде врага народа – в рамках своих полуантиистеблишментских возможностей. Я говорю “полуанти”, ибо в качестве заведующего сектором академического института он, несмотря на свою диссидентскую опальность, располагал значительной официальной властью.

Что политические ярлыки помянуты здесь не всуе, видно из того, каким образом произошло наше тогдашнее примирение. Ровно через два года, осенью 1968 года, после вторжения в Чехословакию, на работе меня стали прорабатывать за подписанство и пытались уволить с работы (что не удалось благодаря поддержке коллег, иногда героической[16]). При очередной случайной встрече[17] В. В. Иванов подошел ко мне, приветливо пожал мне руку и заговорил со мной на “ты” – как ни в чем не бывало. Он, видимо, реабилитировал меня как обретшего лавры мученика совести. Когда я рассказал об этом общему коллеге (в дальнейшем эмигрировавшему одним из первых), тот не стал его защищать, а сказал: “Что ты хочешь? Плохая страна. Плохая власть. Плохие диссиденты…”

Зависть

С Юрием Иосифовичем Левиным я познакомился на заре нашей семиотической юности, году в 1960-м. Знакомство было сначала чисто профессиональным, но потом перешло в приятельство – по моей прямолинейной инициативе, когда после отъезда в Израиль Димы Сегала, с которым он был особенно близок, я предложил ему более тесное общение, каковое до известной степени и наладилось. Оно продолжалось до моей собственной эмиграции, но в постперестроечный период не возобновилось, несмотря на совместные попытки его реанимировать в ходе моих наездов в Россию.

У него было чему позавидовать – он являл на редкость гармоничное сочетание чуть ли не всех мыслимых достоинств. Он был высок, худощав, спортивен, изящен. У него было тонкое красивое лицо, с высоким лбом, казавшимся еще выше благодаря ранней типично еврейской лысине, которая его не старила, ибо цвет лица, невзирая на непрерывное курение, оставался свежим. Он любил лыжные и пешеходные прогулки за городом, а в качестве страстного грибника и прибалтийского дачника осенью привозил в Москву обильные запасы грибов и ягод. Он любил выпить – охотно пил водку, но разбирался и в винах. Он был меломаном – завсегдатаем концертов и коллекционером записей. Женат он был на представительнице самой что ни на есть аристократической фамилии – Ирине Глинке (постепенно выяснилось, что ее отец не погиб во время войны, обосновался за океаном и печатал там стихи). По образованию и занимаемой должности он был математиком, доцентом технического вуза и свои вполне успешные занятия поэтикой осуществлял, как бы в порядке джентльменского хобби, в свободное от работы время, так что его материальное благополучие не зависело от неверных судеб советской гуманитарии, а владение математикой давало ему преимущества в период увлечения точными методами в филологии. Он имел доступ к эмигрантской литературе (в частности, с ранних пор читал Набокова и Ходасевича), был вхож в диссидентские и литературно-художественные круги, знаком с Даниэлем, Окуджавой и Самойловым и мог доставлять приятелям как сам-, так и тамиздатские сочинения Пастернака, Зиновьева, Синявского, Солженицына и других.

Этой многогранностью он был отчасти обязан семейным связям: вдобавок к жене-аристократке и тестю-эмигранту у него были дядя доктор филологических наук и отец доктор юридических наук и к тому же видный философ, правда,

подпольный, при жизни не публиковавшийся (Юра в дальнейшем издал двухтомник его трудов). От отца он мог унаследовать не только логико-философский профиль и интеллектуальную дисциплину, но и сам катамаранный принцип официальной, для заработка, службы в одной области и творческой, для души, деятельности в другой.

Дядю его, Виктора Давыдовича Левина, я знал по работам и немного лично, об отце же слышал редко – Юра и тут сохранял светскую непроницаемость человека со множеством отсеков. Но однажды он нас познакомил.

Придя к Юре в гости, я был представлен скромного вида пожилому человеку:

– Алик, познакомьтесь: мой папа.

Это было неожиданно, но я оказался на высоте и предложенную задачку решил с ходу:

– Здравствуйте, Иосиф Давыдыч!

Задачку, конечно, несложную: его имя крылось в отчестве Юры, а его собственное отчество с большой вероятностью должно было быть то же, что у Юриного дяди. В отличие от Юры и подобно Виктору Давыдовичу, Иосиф Давыдович был небольшого роста и, в отличие от обоих, скорее некрасив. Он вскоре ушел, и я больше никогда его не видел.

С отчеством Юры был связан забавный эпизод. Как-то в первой половине 1960-х годов, на конференции, проходившей, насколько помню, в Институте иностранных языков, мы сидели рядом в полупустом зале и вполуха слушали очередной провинциальный доклад по стилистике, перебрасываясь время от времени ироническими замечаниями и последними сплетнями. Это не помешало нам расслышать незабываемое: “… и тут мы опираемся на классическую работу Юрия Ивановича Левина по семантике поэтического текста…” Я немедленно его поздравил:

– Да, Юра, если в российской глубинке вы уже “Иванович”, то всё, это настоящая слава, это вы таки да классик, завидую.

Мы посмеялись и потом неоднократно вспоминали эту историю, но задним числом с завистью стоит разобраться.

Утверждать, что я от нее свободен, было бы несерьезно, но можно попытаться уточнить, каким именно ее видам я подвержен. Злые чувства мне не чужды, но это, в первую очередь, обида, ревность, месть, злорадство и только на каком-то десятом месте зависть, причем в доброкачественной форме – так называемая белая, когда восхищаешься соперником и хочешь его переплюнуть, но зла ему отнюдь не желаешь. Черной зависти я за собой не знаю и объясняю это своим нарциссизмом и асоциальностью: что вы там ни говорите, а я сосредоточен на

собственных талантах, и до ваших мне дела, в общем-то, нет.

Отдавая ренессансным совершенствам Левина должное, я им не завидовал. Во-первых, у меня у самого имелись некоторые сходные достижения (рост, лыжи, папа профессор, кое-какие знакомства, в дальнейшем – подписантство и эмиграция), а во-вторых, некоторые его достижения мне таковыми не казались. Особенно сильно не завидовал я ему по части жены <…>.

Главное же, я не завидовал его научной продукции, пользовавшейся признанием как среди семиотической элиты, так и в ученых массах. Не то чтобы я ее не ценил, но я ей, вот именно, не завидовал, то есть не хотел бы быть ее автором – не просыпался по ночам с мыслью: ах, как же так не я это написал?!

А он, возможно, просыпался. Во-первых, он вообще был завистлив (таково не только мое мнение), а во-вторых, среди объектов его зависти бывал и я. Так, он настойчиво критиковал некоторые мои излюбленные идеи, а потом без ссылок развивал сходные в своих работах. Подобные эксцессы, на первый взгляд, противоречащие образу неуязвимо совершенного во всех отношениях дилетанта, не так уж удивительны. Неприступная многобашенная крепость для того и возводится, чтобы скрывать неудовлетворенность огороженным ею хозяйством.

Но чему-то я все-таки завидовал. Я завидовал его успеху – публикациям, цитируемости, приглашаемости – всему, чего я был несправедливо, как мне казалось, лишен. Завидовал беззлобно, но остро, как завидовал и завидую многим другим, легко находящим путь в печать и к читательским сердцам. К счастью, эта зависть обещает постепенно улечься – по ходу публикации моих работ и все более ясного осознания мной собственной вины, состоящей в нахальной независимости, с которой мало кому охота иметь дело, хотя вчуже ей можно и позавидовать.

Возможно, с психотерапевтической точки зрения, вышесказанное – обычный случай denial, отрицания пациентом своего невроза. Но виньетки это, я думаю, не портит.

Скромность

Летом 1966 года, после лодочного похода по Карельскому перешейку оказавшись проездом в Ленинграде, я набрался дерзости позвонить В. Я. Проппу, чей номер узнал из справочной книги в телефонной будке. Представившись его поклонником и последователем, я напросился на визит, каковой состоялся 15 июля 1966 года (о чем свидетельствует надпись его рукой на моем экземпляре “Морфологии сказки” издания 1928 года), очень ранним утром – так он назначил.

Дверь открыл человек примерно моих лет в спортивной одежде. Коридор был завален туристским снаряжением – рюкзаками, спальными мешками и т. п. В глубине коридора стоял сам великий Пропп – невысокого роста, слегка сгорбленный, с большой головой и еще более непропорционально длинными руками. Этот гориллоподобный абрис поразил меня, как поразило и то, что он нисколько не ронял своего обладателя, скорее, наоборот, так сказать, a la Дарвин, удостоверял его статус специалиста по первобытному состоянию человечества. У Проппа был внушительный нос, большие ясные глаза и тихий голос. Я попросил его сказать мне, когда уйти, он ответил, чтобы я не беспокоился – я сам пойму.

С горящими глазами я стал объяснять Проппу, как его функции в сочетании с темами и приемами выразительности Эйзенштейна поведут к развитию кибернетической поэтики, а он в ответ сокрушенно говорил, что Леви-Стросс (прославивший его на Западе) “не понял, что такое «функция», и опять навешивает ему сталинский ярлык «формализма»”; что к нему часто обращаются математики и кибернетики, но что он во всем этом не разбирается и своим единственным долгом считает учить студентов аккуратно записывать и табулировать все варианты фольклорного текста.

– Вообще, – сказал он грустным монотонным голосом, – я жалею, что занимался всем этим. Вот мой сын – биолог. Он только что вернулся из Антарктиды. Он опускался на дно, видел морских звезд. Может быть, и мне посчастливилось бы сделать какое-нибудь открытие, – с шикарной скромностью заключил Пропп.

Дима Сегал, знавший Проппа более близко, рассказывал, как примерно в те же годы он вез его на такси в издательство “Наука” заключать договор на переиздание “Морфологии сказки” (оно вышло в 1969-м) и сказал ему, что вот наконец пробил его звездный час и он может внести любые исправления, изменения,

усовершенствования, включить дополнительные материалы (сохранившиеся у него с 1920-х годов!). Пропп помотал головой:

– Нельзя трогать, – сказал он. – Классика!

Случайные знакомства

Коротких, но чем-нибудь знаменательных встреч было много, особенно в молодости. Почему в молодости? Хотя бы потому, что за прошедшие с тех пор полвека с лишним даже у самой безнадежной ерунды было время оказаться заслуживающей внимания.

Жепушкин

Например, был такой полулегендарный литературный человек Сергей Чудаков. Мой сверстник, а значит, и сверстник Саши Чудакова, путать с которым его не приходилось, это были совсем разные люди. Саша был основательный филолог, при Чехове, Шкловском и Виноградове, вообще, при деле, а Сережа, столь незабываемо, хотя и преждевременно, отпетый Бродским еще в 1973-м (“На смерть друга”), был поэт, ветреник и богемщик.

Я к богеме не принадлежал, но Сережу можно было встретить где угодно и даже просто на улице. То есть, разумеется, не на любой улице, но в пределах Садового, а лучше Бульварного, кольца – с высокой степенью вероятности. “Встретить” же значило, конечно, не просто пересечься, но и обменяться знаками взаимного опознания в качестве членов виртуального сообщества столичных интеллектуалов.

Где-то в 1960-е годы, точнее не вспомню, мы столкнулись в районе Пушкинской площади. Формально знакомы мы не были, но контрольное опознание состоялось, и он сразу заговорил, как если бы продолжил недавно прервавшийся разговор. Ему надо было чем-то похвастаться, и я, видимо, годился в благодарные слушатели.

Он говорил на ходу, много, оживленно, но в память врезалось только одно, вероятно, именно то, ради чего я и был взят за пуговицу в виду опекушинского памятника.

– …Я сказал им, хорошо, я напишу, и написал. И там у меня шел такой текст, – он сделал паузу и продекламировал: – “Означенный же Пушкин…” Понимаешь? “Жепушкин!” И они ни хрена не заметили и взяли, и теперь это должно выйти в журнале. – Он назвал один из толстых журналов. – Жепушкин!

На этом он счел впечатление произведенным и, сделав прощальную отмашку, побежал дальше, в сторону Ленкома.

Больше мы никогда не виделись. А жив ли он или как и когда умер, не известно даже Википедии.

Алеша

Летом, 1959-го (или 1960-го?), возвращаясь из Коктебеля, мы оказались в одном вагоне с примечательным молодым человеком. “Мы” – это я с моей первой женой Ирой и, может быть, еще кем-то из коктебельчан.

Молодой человек, представившийся Алешей, был наших лет, высокий, немного полноватый лицом и телом. Что называется, толстый и красивый парниша. Молодой, но очень внушительный и уверенный в себе.

Разговорились. Он оказался ленинградцем, студентом театрального или кинематографического института. Мы спросили, собирается ли он быть актером, нет, отвечал он без колебаний, я буду великим режиссером.

Это прозвучало неожиданно, самонадеянно и – убедительно.

– Тогда уж на будущее нам, наверное, стоит спросить вашу фамилию? – сказал я с некоторым вызовом.

– Моя фамилия Герман.

Иоыч

Другой раз (по некоторым косвенным признакам в 1958-м) мы ехали из Коктебеля в одном вагоне с двумя искусствоведками – студентками истфака МГУ. Одна из них была армянка, хорошенькая, изящная и очень интеллигентная, другая попроще. Армянку я потом иногда встречал около университета, в Ленинке и на улицах вокруг, другую однажды встретил в 1980-е годы, в Нью-Йорке, продавщицей книжного магазина Камкина (тогда еще функционировавшего).

Мы ехали втроем – я, Ира и Юра Щеглов. Ситуация по вине Юры сложилась катастрофическая. Перед отъездом он растратил на сладости (особенно жаловал он так называемый кавказский огурец – популярный в Коктебеле пончик с повидлом) сначала все свои деньги, а потом три рубля, позаимствованные из моих последних, после чего уже в вагоне мы в один присест съели все рачительно закупленные Ирой запасы на дорогу, и до самой Москвы у нас ничего не оставалось.

Голодали мы весело, не таясь, но нашим случайным спутницам поделиться с нами было нечем. Сами они, однако, не голодали, ибо периодически уходили в гости в мягкий вагон к своему любимому научному руководителю и возвращались сытые и слегка навеселе.

Во время очередного визита они поведали ему о нашем плачевном состоянии и вернулись с огромным арбузом – в

помощь голодающим филологам. Арбуз мы сожрали мгновенно (девушки благородно отказались) и в состоянии наступившей эйфории решили отблагодарить щедрого покровителя стихотворным подношением.

Для этого потребовалось установить его имя, отчество и фамилию, дотоле нам не известные: Борис Ионович Бродский. Стихи были тотчас изготовлены, нанесены на обрывок оберточной бумаги и отправлены по назначению с теми же вестницами.

Стишок:

Арбуз ионами богат,
Нам Ионыч друг и брат!

по-видимому, имел успех (о причинах которого ниже), поскольку в ответ последовало приглашение посетить мягкий вагон. Мы отправились, познакомились с нашим заочным благодетелем и были на славу угощены белым хлебом и дефицитным венгерским сервелатом. Ионийская песнь обернулась сторицей.

Дело в том, что *ионы* являли в то лето главную мифологему коктебельской жизни.[18] Владельцем одной из дач, принадлежавших не местным жителям, а столичной элите, был авиационный академик А. А. Микулин, у которого гостили разнообразные знакомые, но который был более всего знаменит своим помешательством на оздоровлении путем ионизации. Ионизация – свободный обмен ионов (электронов?) между телом человека и окружающей средой, прежде всего земной поверхностью, – обещала здоровье и долголетие, якобы знакомое лишь первобытным людям, но утраченное жертвами современной городской цивилизации с ее резиновой обувью, асфальтом и всякого рода иными изоляционными покрытиями. Сам академик Микулин бегал трусцой непременно босиком, всячески заземлялся, питался ионизированной пищей и обо всем этом каждое лето читал лекции, собиравшие массу слушателей.

На одной из них помню другого видного коктебельчанина, Никиту Алексеевича Толстого, сына и отца литераторов, то есть лириков, но по профессии физика. Во время лекции Микулина он все время “звонил” – подавал издевательские замечания, не долетавшие до лектора, но смешившие публику. Микулин рассказывал о переписке с какой-то женщиной, просившей у него советов по поводу бесплодия. Он рекомендовал ей прежде всего заземлить кровать, она это сделала, и в ту же ночь…

– И в ту же ночь она понесла, – успел вставить Толстой.

Все покатились со смеху, Микулин ничего не понял.

Н. И. Толстому в то время не было пятидесяти, он был в расцвете сил, высокий, нарядный, остроумный. Академик Микулин был почти на двадцать лет старше, за шестьдесят, он сильно опережал Толстого по числу Сталинских премий (у него их было четыре, а у Толстого всего одна, и та 3-й степени), но выглядел он спортивно, правда, несколько тяжеловато и своим слегка пухлым лицом напоминал какого-то нестрашного травоядного зверька, хомяка или зайца.

Молодежь, естественно, брала сторону Толстого, но задним числом счет, боюсь, оказался все-таки в пользу Микулина. Я имею в виду счет в буквальном смысле, и не только по премиям. Толстой (1917–1994) прожил довольно долго – почти 78 лет, но Микулин (1895–1985) еще дольше – 90. Впрочем, мой папа дожил, без чрезмерных стараний, до 93. Просто очень важно было родиться до революции, по возможности до 1914 года – в, как его когда-то называли, мирное время.

Но вернемся к Борису Ионовичу Бродскому, смысл игры с отчеством которого теперь понятен.

Увидав однажды, забыть его было уже нельзя. Он был крупного роста, ширококостный, с большой головой, гигантским ассиро-вавилонским носом и скорее маленькими на этом фоне глазками гурмана и жуира. Он излучал юмор, иронию, всеведение, довольство жизнью, философскую мудрость, еврейский скепсис.

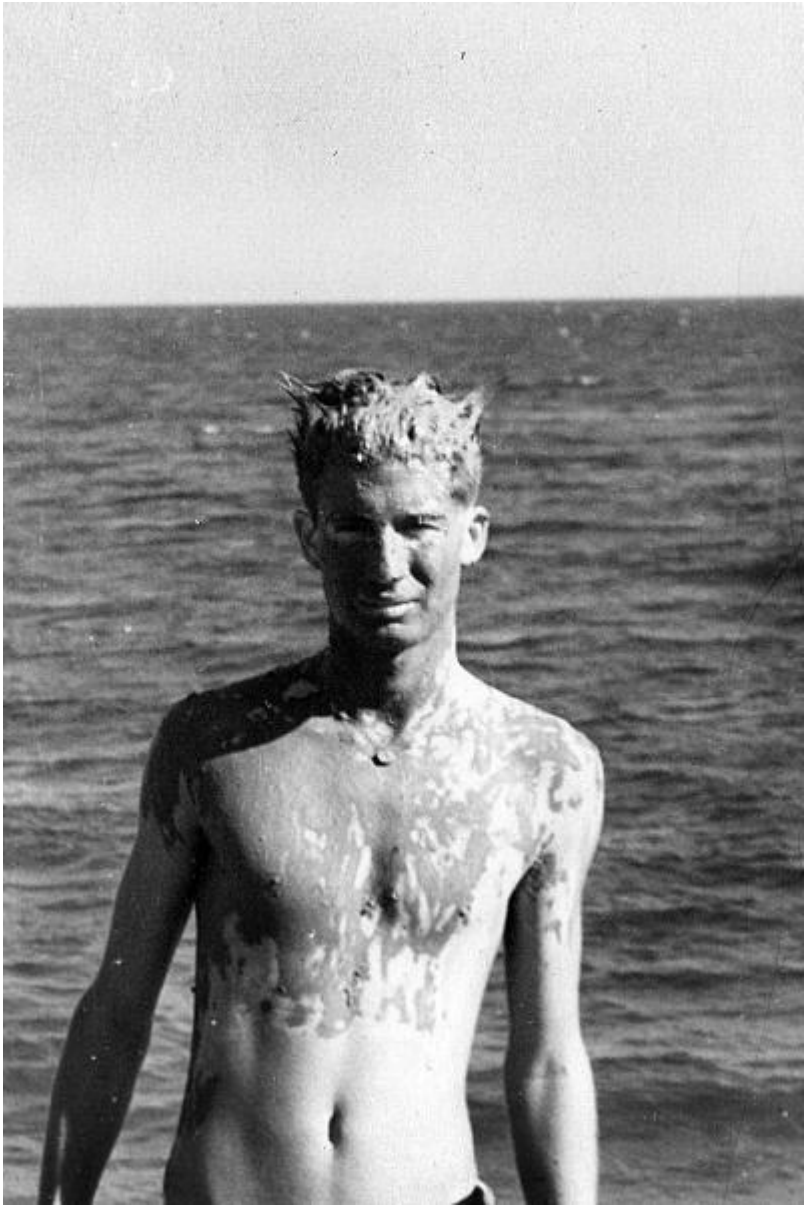
Я потом неоднократно встречал его – всегда (кроме одного случая) случайно, на улице, преимущественно улице Горького, где он курсировал между книжными магазинами, Елисеевским, ВТО и другими очагами культуры, беседуя с подвернувшимися знакомыми и делясь своей мирской и книжной мудростью.

При всем при том он был успешно встроенным в московскую жизнь человеком, много печатавшимся и выездным.

Я уже начал собираться в эмиграцию, когда, встретив Бориса Ионовича недалеко от Пушкинской площади, услышал рассказ о его недавних приключениях в Вене, где ему пришлось лечить сломанный зуб, валюты не было, но удалось найти дантиста из недавних еврейских эмигрантов, знакомого знакомых, и тот сделал все бесплатно.

– А как вы сломали зуб?

– Там на улице продают невероятной вкусноты *вюрстли* (сосиски), я на них накинулся, и зуб полетел…



Я в киле. Коктебель, 1958 *год*

Уже через полгода я смог убедиться в неотразимости венских вюрстлей и сам.

Но до этого встал вопрос, что делать с персидской миниатюрой, подаренной мне в свое время двоюродным дядей, некогда работавшим в Персии, а к моменту моей эмиграции уже покойным. Я подумывал ее продать, но в музеях темнили, назначали явно несправедливую цену, и я решил обратиться к единственному известному мне искусствоведу – Борису

Ионовичу.

Я отправился на улицу Горького и в тот же день встретил его там, как если бы пришел к нему в приемную. Он выслушал меня, сказал, что по таким вопросам специалист не он, а его жена Соня. Мне было назначено прийти к ним домой (кажется, где-то на Садовом кольце между Восстания и Маяковкой). Миниатюра была датирована чуть ли не XVII веком, вывезена контрабандой и до сих пор украшает дальнюю от солнечного света стену нашей санта-моникской спальни.

Что касается долголетия, то тут магическое отчество помогло Борису Ионовичу лишь до какой-то степени. Как сообщает Википедия, Б. И. Бродский (1920–1997) прожил чуть меньше Н. И. Толстого и много меньше А. А. Микулина. Но дело ведь не только и не столько в количестве, сколько, как говорят американцы, в качестве жизни. Тут, я думаю, Борису Ионовичу досталось бы золото, Никите Алексеевичу серебро, а Микулину бронза, богатейшие запасы бронзы.

P. S. Я озаглавил эту виньетку “Случайные знакомства”. Но можно ли считать встречи между членами одного, как тогда говорилось, карасса, происходившие на коротком отрезке 1960-х годов и на узкой трассе Коктебель – ул. Горького, случайными?

Тбилиси-65

Сказать, что из честолюбивых проектов автоматического перевода не осуществлялось совсем ничего, было бы неверно. Однажды, в декабре 1965-го, то есть в конце финансового года, на оставшиеся неизрасходованными институтские деньги я был командирован в Тбилиси. По рекомендации Мельчука я познакомился с Гоги Чикоидзе и все время проводил с ним и его друзьями. Но представители другой ветви грузинского машинного перевода, во главе с Гоги Махароблидзе, тоже пожелали меня увидеть, поскольку я был чем-то вроде эмиссара Мельчука, которого чтили все.

В назначенное время я зашел к Махароблидзе в вычислительный центр. В просторной комнате сидела лаборантка; Махароблидзе не было. На стене висел аккуратный список: 31 синтаксическое отношение Мельчука. Я решил дождаться Махароблидзе – девушка сказала, что он ненадолго спустился в столярную мастерскую ВЦ. Она рассказала также, что работает недавно, только два года. За это время она изучила алгоритм русского синтаксического анализа Мельчука и занимается его проверкой – вручную прогнала 60 фраз. Работа интересная, алгоритм хороший, она не жалуется. Стало ясно, что если машина еще не моделирует человека, то человек уже успешно моделирует машину. А вскоре пришел Махароблидзе, огромный человек, с огромным носом, огромными глазами и огромными губами. В руках он держал какую-то полочку, изготовленную по его заказу для домашних нужд. Мы познакомились, и он немедленно пригласил меня в гости.

Однако с этим дело обстояло непросто.

Гоги Чикоидзе, гостем которого я был в Тбилиси, бдительно следил за моими передвижениями, с тем чтобы по возможности каждое из них совмещать с посещением шашлычных, хинкальных и хашных (в хашную ходят опохмеляться после сильной пьянки часа в 4 утра). На вечер того дня, когда я был в ВЦ у Махароблидзе, в мою честь устраивалась вечеринка в квартире, где я был поселен Гоги Чикоидзе и его женой Люлю. Поэтому, когда Махароблидзе, которого я едва знал, пригласил меня к себе, я, чувствуя себя совершенно неуязвимым – неповинным в пренебрежении гостеприимством, ответил, что на вечер я уже ангажирован.

– Тогда поедем ко мне обедать прямо сейчас!

Крыть было нечем. Взяв с него клятву, что в 7 часов он отпустит меня к Чикоидзе, я попросил разрешения позвонить по

телефону, так как наступало время доложиться Гоги. Не смея признаться в происшедшем, я туманно объяснил, что у меня есть еще дела в городе, но что к восьми я буду.

– Все понятно, – с ревнивой мрачностью сказал Гоги, – Махароблидзе ведет тебя обедать. Ты не вернешься к восьми!.. – Пришлось дать честное структуралистское, что вернусь.

Махароблидзе жил в новом доме далеко от центра. Не буду задерживаться на деталях. Все было совершенно хрестоматийно: он познакомил меня с женой, которая сначала возмутилась тем, что он не предупредил ее о приходе столь высокого гостя, а затем принялась готовить баранью ногу (вероятно, в соответствии с рекомендациями Елены Молоховец, вынутую из погреба); показал мне кабинет, спальню и гостиную, обставленные лучшей мебелью, которую я, как водится, похвалил, а также балкон, где стояли десятилитровые оплетенные бутыли с вином; поил и кормил меня, поднимая тосты за Мельчука, московскую лингвистику, машинный перевод, прогресс науки и так далее, пока я не почувствовал, как говорится в анекдоте, что первый кусок баранины уже упирается в стул, а последний бокал вина прольется из моего рта обратно на стол, если я хоть чуть-чуть изменю наклон шеи. Нечего и говорить, что моя голова была уже в изрядном тумане. Все же мне удалось установить, что время 7 часов и мне пора. Надо отдать Махароблидзе должное, он выполнил обещание, не держал меня и даже усадил в троллейбус, который должен был довезти меня почти до самого места.

Я жил в девичьей квартирке Люлю – на втором этаже дома, принадлежавшего ее тете Нине, которая занимала нижний этаж. Когда, гордый своей верностью клятве (как рыцарь, под честное слово отпущенный попрощаться с женой и неукоснительно вернувшийся к месту собственной казни), я, шатаясь, взобрался наверх по узкой деревянной лестнице, Гоги был уже там. На кухне моему опьяненному взору открылась следующая картина: ровными рядами, симметрично вскинув вверх ножки, на столе лежали десятки цыплят, и так же ровно и симметрично двигались локти молодых грузинок, Люлю и ее подруг, занятых превращением их в табака. От этой множественной равномерности в глазах у меня поплыло. Гоги принял мгновенное решение: он отвел меня вниз к тете Нине, уложил на кровать и пообещал разбудить, когда все будет готово.

Через час он пришел за мной, тетя Нина дала мне кофе, и я снова почувствовал себя более или менее в форме. Опять были тосты, пили, ели, танцевали, Гоги выпивал одним духом литровый рог вина. Где-то часам к двум ночи гости разошлись (как я узнал на другой день, они поймали автобус, который

развез их по домам). Я беспомощно повалился на свою тахту, но сквозь пьяный угар и полусон мне казалось, что Гоги вернулся, гремит посудой, входит, выходит и время от времени наклоняется ко мне и говорит: “Не спи на спине! Смотри, не спи на спине!”

Очнулся я часов в десять, с головной болью и тошнотой, равных которым не испытывал, думаю, никогда. Услышав, что я мотаюсь по комнате, тетя Нина постучала мне в пол щеткой и спросила:

– Алик! Вам поднять кофе?

Выпив кофе, я снова заснул, потом проснулся в 11, повторилось то же самое, я снова заснул и окончательно встал примерно в час. В 4 у меня был доклад в университете (о новых тогда лексических функциях Мельчука и Жолковского). Под “встал” я подразумеваю, что после очередного кофе я разложил на постели свои бумажки и стал готовиться к докладу.

В 3 я вышел из дому и пошел в университет пешком, чтобы слегка проветрить голову. На проспекте Руставели я заходил во все магазины, где продавали минеральные воды, и жадно пил нарзан. Вдруг меня окликнули. Это был Гоги. Он решил на всякий случай зайти за мной и был рад увидеть, что я твердо держусь на ногах.

– Кстати, Гоги, – спросил я, – ты ночью заходил?

– Да, я хотел там немного прибрать.

– А ты говорил мне, чтобы я не спал на спине?

– Говорил.

– Почему?

– Понимаешь, бывали случаи, во сне человек переворачивался на спину, и вино заливалось в дыхательное горло. Некоторые умирали.

Я понял, что избежал, так сказать, грузинского национального вида смерти: у японцев – харакири, у французов – la mort douce (“сладкая”), от сексуального перенапряжения, у грузин – так сказать, la mort sèche (“сухая”), от сухого вина.

Доклад прошел нормально. Он, вместе с обсуждением, длился часа четыре, на нем были звезды грузинской лингвистики во главе с Тамазом Гамкрелидзе. После доклада меня повели в ресторан Сакартвело.

Там особенно запомнилось, как Тамаз отправил кого-то из своей свиты к оркестрантам. Тот сходил и вскоре вернулся. Я все ждал, что же они такое особенное исполнят, но они сидели тихо. Тогда я спросил, в чем дело, и мне объяснили, что Тамаз послал им десятку, чтобы они десять минут не играли – в мою честь. Десять минут – это вдвое дольше, чем знаменитое “4’33”. *Сочинение для вольного состава инструментов*” Джона Кейджа

(1952). Кейдж, наверно, вдохновлявшийся примером Малевича, немного опередил Тамаза, но щедрая грузинская вариация мне как-то ближе.

Privacy and its discontents [19]

Более страстного адепта этого не выразимого по-русски состояния, чем мой ныне покойный соавтор[20] я не встречал. Впрочем, и тут он был непредсказуем.

На вопрос, куда он пропал, почему не появляется, как будет с совместной работой, он мог ответить:

– Алик, *я упиваюсь privacy*!..

Это при том – а может быть, потому, – что вырос он в коммунальной квартире. Они с отцом и матерью жили в двух больших комнатах, а еще две занимали соседи, по национальности таты. Насколько я мог судить, в квартире царил мир, не исключено, что худой, но он был явно лучше той ссоры, которая разразилась после Юриной женитьбы.

Его покойная мама, видимо, держалась тихо, папа вообще редко бывал дома, Лера же, нервная и с характером, вскоре столкнулась с соседями на узкой дорожке, и встал вопрос о переезде. А через некоторое время наметился и пункт назначения – подмосковный город Видное (станция Расторгуево), где за две московские комнаты можно было выменять отдельную квартиру.

Когда Юра поделился со мной этими планами, я заговорил о неразумности потери московской прописки. На допрос с пристрастием, зачем в точности она нужна, я толком ответить не смог и упирал на неисповедимость ее достоинств, подобных дворянскому. Эта аргументация действия не возымела, тем более что Юра уже настроился на загородное privacy и близость к природе.

Они переехали в отдельную квартиру в небольшом кирпичном доме, где и прожили, не без драм, лет семь. А потом все-таки опять поменялись и поселились на Садовом кольце – в коммуналке.

При случае я спросил Юру, как ему живется с соседями после отдельной квартиры, и услышал, что хорошо. “Но, наверно, утром приходится ждать очереди в туалет? Или у вас расписание?” – продолжал ехидствовать я. “Да нет, – отвечал Юра, – эти ужасы преувеличены. И вообще, приятно: соседи такие милые люди, утром настроение тяжелое, выходишь с полотенцем в ванную, а тебе кланяются: “Здравствуйте, Юрий Константинович!”

Поминать о privacy язык у меня не повернулся.

Задумываясь теперь о характере этой непоследовательности, я вспоминаю, что рьяно отгораживавшийся от ближайших коллег и знакомых, Юра был практически беззащитен против посягновений определенного рода посторонних. Так, в Москве он

поддавался на предложения цыган погадать и, естественно, оставался в накладе. В Италии жулики выманивали у него деньги прямо на улице, чему способствовало его владение итальянским, каковое они с искренней благодарностью расхваливали. А в Париже развернулась уморительная история с посещением публичного дома и заказом бутылки шампанского за совершенно астрономическую цену, хотя включенная в нее petite folie осталась невостребованной.

Я помню, как в далекой шестидесятнической молодости в Библиотеке иностранной литературы (еще на улице Разина) Юра подолгу беседовал с полусумасшедшей старухой в сползающих чулках – до сих пор помню даже ее имя отчество и водевильно значащую фамилию. Ее звали Александра Абрамовна Жебрак. Żebrak – по-польски “нищий”, и даже грамматический мужской род кажется мне эмблематичным в случае этого на редкость отталкивающего существа вне пола и возраста. Юра красноречиво жаловался на приставучесть бестолковой Александры Абрамовны, но делал это с непонятной двусмысленной улыбкой. Однажды он даже побывал у нее в гостях.

То ли ему льстило их внимание, то ли был тут какой-то особый сдвиг, но на этих странных посторонних privacy не распространялось. На меня распространялось, а на них нет.

Единый принцип

О структурном секторе Института славяноведения Юра Щеглов высказывался строго. Он говорил,[21] что хотя ориентируются они на все модное и западное – что сказал Исаченко, что написали Леви-Стросс и Дюмезиль, – их собственный структурализм носит, в общем, довольно-таки топорный, отечественный характер.

– У них только Зализняк такая тонкая, заграничная штучка, – говорил он.

Как-то мы с ним были в гостях у Сегала, и я все просил Диму рассказать, что нового в лингвистическом мире.

– Ну, расскажи, Дима, что происходит у вас в секторе.

Дима отнекивался, молчал. Юра сказал:

– Ах, Алик, что у них может происходить? Происходит в других местах, у них обсуждается.

Юра редко бывал в курсе того, кто на ком женат. Если в ходе разговора он вдруг улавливал, что такие-то являются супружеской парой, он очень удивлялся и просил срочно проинформировать его о гражданском состоянии остальных общих знакомых. Как-то раз мне пришлось в один прием сообщить ему о целой серии новейших изменений в этой области среди славяноведов.

– Ах, – сказал он, – как это у них все однообразно, все одно и то же. Во всем этом виден какой-то единый принцип.

– Позволь, где же тут единый принцип, когда одна замужем за писателем, другая за математиком, третья за соседом по даче, та за старым, эта за молодым, одни здоровы, другие больны, некоторые женаты давно, одна, наконец, вышла замуж, а другая разошлась?

– Ну, какой принцип? Какой принцип? Принцип тот, что все женаты на ком попало!..

Коэффициент гибкости

Это было, скорее всего, весной 1959 года – потому что поводом послужила проблема с моим распределением на работу по окончании филфака МГУ. Момент это и вообще ответственный, а мой случай к тому же осложнялся свежим выговором с занесением в личное дело по комсомольской линии (о чем я вспоминал в другом месте).

Папа подошел к делу практично – велел позвать в гости моего обожаемого и к тому времени всерьез опального (из-за дела Пастернака) научного руководителя В. В. Иванова. Мы с Ирой очень нервничали. Просить о блате, тем более великого В. В., мне казалось неудобным. Но он отнесся к приглашению просто и сказал, что придет с женой – очаровательной Татьяной Эдуардовной. У нас с ним был тогда и еще долго потом длился медовый месяц: он охотно принимал мои ученические восторги, я грелся в лучах его учительского расположения. Привлекало его, возможно, и знакомство с папой, видным музыковедом, о научной репутации которого и ореоле космополита-изгнанника из консерватории ждановских времен он, конечно, был осведомлен. Намечалась своего рода встреча двух отцовских фигур.

Уж не помню почему, но угощение было накрыто скромное. Своих денег у нас с Ирой фактически не было, и то ли папа выделил мало, то ли мы мало попросили, но нервничал я и по этому поводу. В. В. же был любезен, они с папой беседовали на научные темы, и прием прошел успешно. Сработал и папин стратегический замысел – В. В. не забыл вскоре поговорить обо мне с В. Ю. Розенцвейгом, и уже летом я был взят в как раз образовавшуюся Лабораторию машинного перевода.

Когда гости ушли, мы кинулись расспрашивать папу о его впечатлениях. К нашему изумлению, он отозвался о В. В. сдержанно. Мы стали наперебой повторять, какой В. В. замечательный, допытываясь, что же в нем могло не понравиться.

– Мне показалось, что у него негибкий ум.

Последовала буря протестов, но своего мнения папа не изменил. Его формулировка запомнилась и чем дальше, тем больше поражала меня неожиданной проницательностью. (Дополнительный отблеск на нее в дальнейшем бросили публикации В. В. о параметре гибкости языка, открытом академиком Колмогоровым.)

Так же было со многими другими папиными высказываниями, которые сначала казались мне ошибочными, но постепенно обнаруживали свою печальную справедливость. С его

скептической реакцией на наш энтузиазм подписантства. С отзывом о моей очередной пассии (“По-моему, типичная редакторша”). С предупреждениями, уже в постсоветскую эпоху, о скором возврате власти органов.

Известно, что в глазах детей родители с годами умнеют.

Время и мы

У меня есть старый снимок – я в колхозе, год, должно быть, 1955-й, лето после первого курса. Я сижу под стогом сена, на плече у меня то ли вилы, то ли грабли (виден черенок), глаза прищурены от солнца, я отдыхаю.

Папу эта фотография очень занимала. По его мнению, она свидетельствовала, что благодаря нескольким славянским каплям крови мне дано вот так растворяться во времени, никуда не спешить, просто быть. Он же может лишь завидовать этому, а сам живет в неумолимо хронометрированном мире, причем не столько немецком, размеренном, сколько еврейском, истеричном. Будучи воплощением немецкой организованности (он родился в Кенигсберге, и по нему, как по Канту, можно было проверять часы), в российском хаосе он постоянно оказывался единственным шагающим в ногу и нервно ожидающим подхода остальных частей.

В колхозе, под стогом (лето 1955*?)*

Приученный им считать, что я опоздал на встречу, если пришел на минуту позже назначенного времени – хотя бы и на полчаса раньше партнера, я унаследовал-таки его комплекс

пунктуальности и раздраженной зависти к неторопливым аборигенам. В “Тихом Доне” меня больше всего восхищало, как там назначаются свидания: “Повечеряете – выходи к плетню”.

В “Кроткой” Достоевского герой, типичный западник, узнав о самоубийстве жены, восклицает: “Всего только на пять минут опоздал!” В действительности он опаздывает на целую жизнь, которая у него четко распланирована (позорное прошлое – накопительское настоящее – светлое будущее) и проходит в дрессировке жены-бесприданницы. Мотивы времени и денег совмещает род занятий героя – владельца закладной конторы. По национальности он, как и старуха-процентщица в “Преступлении и наказании”, не еврей, но профессия у него типично жидовская – взимание денег за самый ход времени. Сегодня это норма в обуржуазившемся мире, но в Средние века христианин не мог заниматься столь богопротивным делом, и оно выпадало на долю евреев.

Да что там, еще недавно[22] одна православная художница из России, гостившая в Санта-Монике, отказывалась понять, как это можно дать взаймы тысячу долларов, а через год требовать назад тысячу сто.

Я помнил ее мать, в молодости служившую домработницей в семье моих знакомых, а ее бабушка вообще успела родиться крепостной.

Я тоже никак не могу выдавить из себя раба – мне морально тяжело платить за парковку машины, то есть, грубо говоря, за время и место. (Слава богу, для велосипедов и то и другое пока бесплатно.) Но когда я пожаловался на этот пережиток российского прошлого коллеге-американцу, он признался, что ему тоже противно платить за паркинг. И это при том, что формулы “Время – деньги” и, буквально, “Спасибо вам за ваше время” давно уже въелись в плоть, кровь и подсознание американцев.

Во время первой поездки в Польшу (1967) – эту славянскую и единственно доступную мне тогда Европу – я остановился у тамошних коллег. Я с удивлением отметил, что, когда мы садились завтракать, хозяина не бывало дома. Оказывается, он вставал раньше всех и отправлялся на прогулку, которая венчалась чашечкой кофе в кавярне. Но ровно в 9 появлялся, постукивая пальцем по крышке часов, со словами: “Mam zawsze punkt” (“У меня всегда ноль-ноль”). Фраза запомнилась, ибо звучала несколько раз в течение дня – каким-то образом, когда он смотрел на часы, на них оказывалось ровно.

Мне эта еврогармония не давалась. Пытаясь освоить культуру кавярни (поводом служил роман с юной полькой), я никак не мог

научиться бесконечному растягиванию микроскопической порции эспрессо. Я выпивал вторую, третью, четвертую чашку и томился в ожидании дальнейших событий.

Полки вел…

У Ильфа и Петрова есть фельетон “Рождение ангела” – на тему о коллективной доводке киносценария – с незабываемой фразой: “Полки вел Голенищев-Кутузов 2-й”.

В 1970 году в журнале “Народы Азии и Африки” появилась моя статья со структурным анализом одного сомалийского текста. Этому предшествовало ее одобрение главным редактором И. С. Брагинским (наложившим ленинского типа резолюцию: “Дать, снабдив марксистской врезкой *От редакции*”) и последующее медленное продвижение в печать. (Структурализм был внове – мое появление в редакции встречалось драматическим шепотом: “Структуралист пришел!”) Но вот наконец мой редактор Лева К. сказал, что в определенный день, точнее, вечер, на редколлегии будет решаться вопрос о сдаче номера в типографию и мне желательно быть под рукой на случай, если возникнут вопросы.

В назначенный час я прохаживался по коридору редакции, время от времени подглядывая в щелку за происходившим в огромном кабинете главного. Самого Брагинского не было, и председательствовал его заместитель Г. Г. Котовский – сын легендарного комбрига, как объяснил мне выглянувший в коридор Лева. Ждать пришлось долго – каждый материал обсуждался со всей подробностью. Впрочем, проблематичными, видимо, считались лишь две статьи, ибо, кроме меня и пожилого человека с усталым, чем-то знакомым, желтым, татароватым лицом, в коридоре никого не было.

Меня на ковер так и не пригласили, но о потраченном времени жалеть не пришлось. Во-первых, статья пошла в номер без дальнейших разговоров, а во-вторых, когда Лева вышел позвать в кабинет другого, явно более спорного автора, он почтительно назвал его Львом Николаевичем, и я сообразил, что это был очень похожий на мать сын Ахматовой и Гумилева. Его лагерные мытарства остались к тому времени давно позади, а собственная репутация шовиниста-этногенетика только набирала силу, и он все еще ходил в диссидентах; публикация в “Народах Азии и Африки” была, по-видимому, нужна ему и отнюдь не гарантирована. Подстрекаемый любопытством, я проскользнул в дверь вслед за ним.

Полки вел Котовский 2-й. В противоположность брутальному бритоголовому гиганту, созданному усилиями Каплера, Файнциммера и Мордвинова (и его, вероятно, еще более жуткому прототипу), он оказался вальяжным, с пухлыми щечками и

аккуратной прической, советским джентльменом, среднего роста, при галстуке и в замшевых туфлях. Ничто в его вкрадчивых манерах не наводило на мысль о конском топоте, сабельных атаках, тачанках, погромах, трупах. Мягкими, дипломатично закругленными фразами он заговорил об интереснейшей статье почтеннейшего Льва Николаевича. Я все ждал, когда же он совершит свой выпад, и – после изматывающих комплиментарных подступов – дождался.

– Чего мне, может быть, недостает в статье многоуважаемого Льва Николаевича, – все с той же воркующей ласковостью сказал он, – это четкого применения классовых, историко-материалистических критериев. Возможно, оно просто недостаточно бросается в глаза при первом чтении, и Льву Николаевичу, я думаю, самому представится желательным дать эти моменты более, так сказать, выпукло.

Гумилев заговорил со столь невозмутимым спокойствием, что я ему немедленно позавидовал. За его преувеличенной восточной любезностью стояла не только бескомпромиссная, ахматовской закалки твердость, но и вызывающая, пусть символическая, апелляция к насилию, в которой сказывался то ли киплинговский налет, унаследованный с отцовскими генами, то ли собственный зэковский опыт.

– Благодарю вас, глубокоуважаемый Григорий Григорьевич, за незаслуженно лестное мнение о моем скромном опусе. И вы абсолютно правы насчет классового подхода, каковой в нем действительно не нашел применения. Дело в том, что меня интересуют исторические закономерности более общего порядка. Позволю себе совершенно отвлеченный пример. Если, скажем, взять какого-нибудь человека, поднять его на самолете на высоту в несколько тысяч метров над каким-нибудь пустынным местом и сбросить оттуда вниз, то можно с более или менее полной достоверностью предсказать, что, ударившись о песок, он разобьется насмерть. И для того чтобы прийти к этому научному выводу, вовсе не потребуется учет классовой принадлежности этого человека и социальных взаимоотношений между ним и владельцами самолета. Так что я не думаю, что мой текст нуждается в каких-либо добавлениях, разве что вы, Григорий Григорьевич, настаивали бы на включении в него этого небольшого мысленного эксперимента.

Котовский настаивать не стал. Это было неудивительно, ибо как раз незадолго перед тем в мировой и советской прессе появилось сообщение (которое никак не могло пройти незамеченным в среде востоковедов) о казни каких-то преступников в Саудовской Аравии методом сбрасывания с

самолета, сообщение, политически крайне неудобное с официальной советской – подчеркнуто проарабской – точки зрения. Обсуждение статьи на этом закончилось, и она появилась в журнале без изменений.

Таков был исход уникального династического матч-реванша.

Militia et amor

Так по-латыни называется сюжет, сопрягающий две древнейшие профессии и вообще две основные координаты человеческого состояния – войну и любовь. Согласно Овидию, *Всякий любовник – солдат, и есть у Амура свой лагерь*…

По-русски *милиция* (да и *лагерь*) звучит немного иначе, но контраста не портит, даже наоборот. Впрочем, это на пугливый интеллигентский взгляд, а народ воспринимает ее вполне по-свойски:

Хоть я ростом-то мала,
Зато круглолицая.
Круглолицых девчат
Любит вся милиция.

И даже:

Пить будем,
Гулять будем,
А милиция придет, —
Отвечать будем.

На примирительный лад настраивает уже сама частушечная силлабика: *зА-то, бу-дЕм.*

С Мариной Зубковой я познакомился в середине 1960-х годов. На улице я знакомился редко, а тут решился. Я шел к метро из Лужников, наверно, из кино, и стал засматриваться на высокую красивую девушку – собственно, их было две, обе хоть куда, но мое внимание привлекла та, что шла справа. В праздничной летней толпе я следовал за ними, сверля ее глазами, но не осмеливаясь перейти невидимую черту.

Эти маневры не остались незамеченными. Внезапно остановившись, моя избранница повернулась мне навстречу:

– Вы хотели нас видеть?

Промежуток между нами сократился, и, оказавшись лицом к лицу с ней, я невольно ответил в тон:

– Да, вот вас. – Я показал пальцем.

Она что-то шепнула своей черноволосой подруге, та послушно откланялась, а мы пошли вместе.

Марина была моих лет, может, чуть моложе, и ростом почти с

меня. Со смуглой кожей, отливавшей на щеках лиловым румянцем, она была похожа на Людмилу Гурченко – с такими же живыми глазами и как бы слегка перебитым носом. Но она была выше, крупнее, здоровее и держалась уверенно. Говорила простовато, но грамотно. Волосы были короткие, светлые, слегка взбитые, наверно, крашеные. Она курила. Во всей ее манере чувствовалась житейская, немного блатная энергия. При высоком росте она еще и носила каблуки.

В общем, было чего бояться – и я боялся. Но страх свой преодолевал. Встреча с такой женщиной означала вызов, бежать от которого было нельзя, тем более что все складывалось как нельзя лучше.

В моей тогдашней жизни она была не главной темой, а, так сказать, побочной партией. Но в промежутках мы стали встречаться. Я звонил ей домой или на работу – в какую-то шумную контору с многоканальной телефонной связью, – и она охотно появлялась. Что она находила во мне, оставалось загадкой. Мы шли в парк, в кино, пару раз посидели во внушавших мне ужас кафе, но все очень чинно, на расстоянии вытянутой руки. Не по ее вине.

Она была женщиной “из другого круга”, в чем и крылась ее желанность и – неприкасаемость. К тому же как раз наступил период диссидентства-подписанства, и соответствующие опасения она тоже вызывала. Вдумываясь в обстоятельства нашего знакомства, я говорил себе, что сам ее выбрал, но тут же вспоминал, что первая заговорила она.

Вообще, я не знал, что с ней делать.

Покупая сигареты, она комментировала их подорожание словами:

– Вот так, значит, нас, трудящихся!..

А разговор о книгах приводил к сообщению о доступности для нее дефицитного издания Пастернака с предисловием недавно арестованного Синявского – благодаря знакомству с “Пастерначком”. Она говорила: “А еще у меня есть Пастерначок!”, и я терялся в догадках, с кем именно из славного литературного клана и в каких именно отношениях, тайных любовных или тайных же служебных, она состоит.

Я делал осторожные попытки сближения – без рискованной короткости. Полагая, что нейтральной площадкой может стать спорт, я предложил лыжную прогулку за город. Она приехала, и тут оказалось, что она едва ли не впервые в жизни встала на лыжи. Тем не менее часа два она прилежно ковыляла по лесу. Это выглядело так беззащитно, что я наконец решился поцеловать ее, а через несколько дней – пригласить к себе домой.

Провал был полный. Как говорит опоссум Пого из американского комикса, мы встретились с врагом, и он – это мы.

Она пришла, с удовольствием выпила и закусила, охотно слушала пластинки, легко перемещалась по квартире. Чем свободнее держалась она, тем принужденнее и замкнутее становился я. Прикоснуться к ней я не пытался, хотя этот шаг назревал с каждой минутой. В какой-то момент она зашла в спальню и бросилась на кровать, свесив ноги на пол и откинувшись назад.

Отступать было некуда. В последнем и бесповоротном порыве непричастности я схватил крутившуюся на проигрывателе пластинку – до сих пор со стыдом помню какую и от стыда же не могу назвать – и грохнул об пол.

Она встала, вышла в гостиную, походила взад-вперед и начала прощаться. Я принялся ее удерживать. Все это без рук, да и какие руки, она была не слабее меня, но на истерическом надрыве.

И тут произошло нечто из совершенно незнакомой мне оперы. Она набрала номер и попросила за ней заехать. Я остолбенело молчал; теперь уже она не уходила – в ожидании. Вскоре раздался звонок в дверь, я открыл, там стояли два милиционера. Они сослались на вызов, зашли и, убедившись, что пьяных нет, драки тоже, вежливо вместе с ней удалились.

Амуры на этом, кончились но и репрессивных мер вроде бы не последовало, хотя кто знает.

Милиция звучит по-русски не просто иначе, чем по-латыни, а с оттенком некоторого, что ли, умиления. У нас есть даже имя *Милица*, возводимое то к славянской *милости,* т. е. “любви”, то к медовой греческой *Мелиссе*. Так что недаром *моя милиция меня бережет*. Мрачные слухи о ней, как видим, преувеличены.

А поворотись-ка, сынку!

Борьба с превосходящими силами советской власти (последствия подписантства; 1968–1969) особенно сильно ударила по моему желудочно-кишечному тракту. Пришлось лечь на обследование в Институт гастроэнтерологии.

Я хороший пациент – охотно прохожу осмотр, четко следую указаниям врачей, умело глотаю лекарства. А в институте я наловчился заглатывать и разнообразные резиновые шланги и трубки и мог как ни в чем не бывало беседовать со знакомыми, прогуливаясь по больничному коридору с зондом, опущенным куда-то там в глубь моей поджелудочной железы, ухарски держа его мундштук между зубами.

Анализам не было конца, а на мои вопросы о диагнозе молодая врачиха, видимо, писавшая на мне диссертацию, невозмутимо отвечала:

– Не беспокойтесь, диагноз выставим.

Очередным испытанием моих талантов пациента стал сеанс ректоскопии. Меня отвели в кабинет к врачу-проктологу, окруженному целым выводком молодых людей в белых халатах.

– Надеюсь, как человек науки, вы не против участия моих студентов-практикантов? – сказал он.

Я не стал возражать и покорно принял так называемое коленно-локтевое положение. На мой, выражаясь бахтинским языком, обнаженный материально-телесный низ было наброшено специальное белое покрывало с отверстием посередине. В отверстие ввели ректоскоп – прозрачную трубку, через которую при свете специальной маленькой лампочки можно наблюдать состояние стенок. Испытавшие эту процедуру знают всю меру дискомфорта, вызываемого давлением трубки: ощущение такое, как будто ты вот-вот взорвешься. Дискомфорт усугублялся присутствием зрителей, но – чего не потерпишь ради науки?!

Процедура, однако, затягивалась. Сначала врач говорил, сколько минут еще оставалось до конца, но потом они с медсестрой стали шушукаться, я прислушался и уловил какие-то странные реплики:

– Запасной нет… Там закрыто… Может, на третьем?..

– Что происходит? – спросил я.

– Лампочка в ректоскопе перегорела, надо будет принести новую с другого этажа. Что вы предпочитаете – постоять так или сейчас вынуть, а потом вставить еще раз?

Я выбрал первое. Сестра побежала за лампочкой. Наступившая неловкая пауза взывала о реплике, и я ее подал:

– Ну что ж, даже в предположении, что на исследуемом участке, как и по всей стране, налицо советская власть, отсутствие электрификации явно задерживает постройку там коммунизма.

Вскоре сестра вернулась, перегоревшая лампочка была заменена новой, и осмотр продолжался. Кажется, ничего интересного он не показал. Диагноз же в конце концов был выставлен, с перечислением всех болезней, названия которых образуются прибавлением к участкам желудочно-кишечного тракта суффикса “-ит”: гастрита, дуоденита, энтерита, колита… и т. д., кончая сфинктеритом.

Эту историю я неоднократно рассказывал, поощряемый Мельчуком – любителем как скатологии, так и антисоветчины. А когда в Штатах я поведал ее Омри Ронену, он немедленно вспомнил аналогичную, произошедшую с ним. Ему оперировали что-то в нижней части тела, и хирург-профессор тоже спросил, не будет ли он возражать против присутствия студентов.

– Нет, при условии, что это будут ваши студенты, а не мои.

Дар

Дарить подарки я толком не умею. Не приучен с детства, да так и не научился в дальнейшем. То есть принести, идя в гости, бутылку вина и в крайнем случае коробку конфет хозяйке, не говоря о вручении коллегам собственных книг, для меня не проблема. Но уже, скажем, букеты и духи дамам сердца могу пересчитать по пальцам одной руки. Причем истории эти все больше с каким-то заграничным, иностранным ароматом. Например, дарение цветов прелестной датчанке на различных железнодорожных вокзалах Европы. Или доставка из Штатов беспошлинных французских духов “Poison” указавшей на них не менее прелестной москвичке. Ну, еще пару мелодраматических эпизодов с цветами, наверное, можно наскрести, но это уже будет практически все.

Духи “Poison” запомнились сразу, так сказать, намертво, – о названии Диор позаботился, так что их я в аэропорту никогда не путал. Но запаха их, честно признаюсь, не помню – работал с ними исключительно на словесном уровне. Впрочем, ничего летального во вдохновившем их романе не было. Все целы, живы, победила, в конце концов, дружба.

Но был, был и эпизод целиком – и очень глубинно – отечественный, причем вполне себе на грани жизни и смерти.

Дело было летом 1970 года. В моей жизни это пришлось на период тяжелого желудочно-кишечного заболевания и одновременно романа с, не побоюсь лексического повтора, прелестной франкофонкой – смешанных экзотических кровей и в полтора раза моложе меня. Выход из затруднительной коллизии был найден в поездке на Северный Кавказ. Мы сняли комнатку в Железноводске, я наведывался к источнику со специальной кружечкой для питья минеральной воды (рекомендовалось медленное, вдумчивое посасывание через носик, ответвляющийся от ручки) плюс по курсовке принимал грязевые ванны в одном из санаториев, в остальном же мы вели курортную жизнь, включавшую выезд к ее знакомой на пустынную дачу азербайджанского ЦК под Баку и планы последующего турне по Грузии в обществе моих тбилисских друзей.

Все шло хорошо, воды и грязи оказывали свое целебное действие, я взбодрился и даже изготовил – из “Военных астр” недавно открытого мной Мандельштама – мадригал своей спутнице; с дарением самодельных стихов у меня всегда был полный порядок. Как вдруг, а вернее, постепенно, я стал замечать, что вокруг поползли разговоры об эпидемии холеры и

ряды знакомых курортников редеют на глазах. Радио об этом не вещало, газеты не писали, но глухие сигналы начали проникать в мое напрочь заблокированное лечением и любовью сознание. Пора было взглянуть реальности в лицо.

Духи «Красная Москва»

Я решил отправиться на станцию – тем более что взятие билетов в Грузию мы все еще беззаботно откладывали – и разобраться на месте. Но особой тревоги я не испытывал, и ассоциаций со “Смертью в Венеции” (Томаса Манна – фильм Висконти появился лишь через год) у меня не возникало.

На станции было безлюдно. Быстро выяснилось, что поезда в Грузию отменены, а в Москву билеты продаются только по

предъявлении паспорта с московской пропиской, но продаются сугубо теоретически, в натуре же их нет. Тут до меня наконец дошло, что дело серьезно, особенно для таких желудочников, как я, – роковым мог оказаться любой неосторожный глоток. Помню даже, какими словами я об этом подумал: “Это что же, советская власть заботится о моем драгоценном статусе москвича больше, чем я сам?!” Я окончательно очнулся и приступил к действию.

Я отправился в местный универмаг (магазины работали), походил туда-сюда, пошарил глазами по полкам в ожидании творческого наития, и мой взор упал на стройный ряд багряных упаковок духов “Красная Москва”, с обильно позолоченными, как бы кремлевскими, но и слегка мондриановскими, зубцами.

Духи эти, как я знал, считались роскошными в кругах полусвета. Запаха их я опять-таки не помню, но, кажется, это было нечто густое, пряное, дурманящее. Оценил же я их богатый топонимический потенциал. Короче говоря, я немедленно – за внушительную сумму (мне помнится цифра 7 руб., но ручаться не могу) – купил коробку и, быстрым шагом проследовав на вокзал, просунул ее в окошечко кассы, со словами:

– Тут написано, куда мне нужно два билета. А вот деньги.

Произнеся эту эффектную реплику, я вдруг сообразил, что паспортов наших я с собой не захватил, поскольку планировал свою вылазку как сугубо рекогносцировочную. Однако паспортов не потребовалось. Из темного окошечка, за которым внешности кассирши было не разобрать, появились два билета на вечерний поезд.

Мы мгновенно сложились и через сутки (двое?) были в Москве. То есть отделались, можно сказать, легким каламбуром. А в дальнейшем победила, как водится, дружба. Видимся, правда, редко: я живу в Калифорнии и бываю в год от года все более красной Москве только летом, а она преподает в Москве, живет же в основном во Франции. Но иногда пересекаемся.

А ведь могла бы победить – если бы не божественный глагол, вернее, божественная группа существительного, вовремя коснувшаяся моего чуткого лингвистического слуха, – могла бы победить не дружба, а любовь. Типа, как у Ромео и Джульетты – короткая, зато окончательная, вечная.

“Хорошо!”

Хотя у нас было много общего – взгляды, приятели, его жена, – мы не были знакомы и никогда не встречались.

Днем его не бывало, и я приходил регулярно, но в его кабинет не лез, довольствуясь гостиной, с раскладным диваном и видом на Москву-реку, и ванной. Эта квартира была еще одной калиткой в стене, тайным укрытием, смотровой площадкой.

Однажды сквозь шум заключительного душа хлопнула входная дверь. Намечалось аристотелевское узнавание – в мопассановских формах. Я уже готовился предстать его хозяйскому взору в своей беззащитной наготе, когда послышалось ее нервное, но не более, чем всегда, сопрано:

– Борька, ко мне сейчас не заходи!..

– Хорошо!

Я скользнул в гостиную, оделся и мимо кабинета быстро прошел к выходу.

Знакомство в каком-то смысле состоялось и, даже оставшись заочным, обнаружило свой джентльменский характер.

Будем резать, будем бить

На один из международных кинофестивалей в Москву был привезен английский фильм “Кромвель” (1970). Он произвел на меня сильное впечатление – возможно, еще и благодаря тому, что по знакомству я попал на его демонстрацию в закрытом просмотровом зале для переводчиков и фестивального начальства.

Один из главных композиционных ходов фильма состоит в том, что в течение первого часа зритель приглашается сочувствовать прямодушному поборнику народных прав Кромвелю (его играет Ричард Хэррис) и желать поражения высокомерному Карлу I (Алек Гиннесс). Но когда дело доходит до пленения короля, суда над ним и в конце концов его казни, роли меняются: Карл предстает благородной жертвой, а Кромвель – беспощадным тираном. Гиннесс блестяще играл величие, особенно трогательное в падении.

(Эта конструкция напомнила мне аналогичный эффект в постановке “Троянской войны не будет” Жироду во французском “Театре старой голубятни”, приезжавшем в Москву в самом начале “оттепели”, году в 1955-м. Там симпатии зрителей переходили от гуманного, но простоватого борца за мир Гектора к великолепному в своем цинизме провокатору войны Одиссею.)

Случилось так, что через несколько лет, зайдя по своим сомалийским делам на киностудию “Экспортфильм”, я узнал, что там вот-вот начнется рабочий просмотр “Кромвеля”, дублированного для советского проката. В практически пустом зале я сел непосредственно позади членов дубляжной группы и их гостей и мог слышать, что они говорили. Разговор быстро перешел на самую животрепещущую проблему советского киноискусства: пришлось ли что-нибудь вырезать?

– Да нет, почти ничего, – сказал кто-то из дубляжников. – В конце концов, большое дело, английская история трехсотлетней давности. Но в одном месте мы, конечно, немного порезали. В сцене перед казнью. Ну, Алек Гиннесс там дает! Прямо, знаете, короля жалко!

– И англичане не протестовали?

– А-а, им это до лампочки. Они прокатные права продали, бабки получили и – делай что хочешь.

Поражала органичность сочетания в этих вальяжных киношниках безошибочного эстетического чутья к самому яркому моменту фильма с поистине большевистской жестокостью к казнимому противнику. Кромвель удовлетворился тем, что Карлу

отрубили голову, но им этого было мало, и они лишили его предсмертного прощания с детьми (Кромвелем, как-никак, разрешенного).

Скорее всего, купюра эта не была продиктована необходимостью. Так, “Двадцать лет спустя” Дюма спокойно переиздавались массовыми тиражами, хотя казнь того же Карла I дается там с точки зрения пытающихся спасти его мушкетеров – верных слуг Людовика XIII и королевы. Впрочем, кино, конечно, самое важное из искусств.

В сторону Склифа

Это было в легендарные 1960-е. Точнее – 31 декабря 1964 года. Я ехал в троллейбусе по Садовому кольцу в Институт Склифосовского проведать лежавшую там после аборта знакомую.

Троллейбус был в духе времени, радиофицированный и без кондуктора. Водитель оказался оригиналом, что с недавних пор позволялось. Не ограничиваясь уже принятыми гуманными формами обслуживания – объявлением остановок и призывами предъявлять друг другу проездные билеты (проездной, как и аборт, был веянием “оттепели”), а в противном случае опускать деньги в кассу и самостоятельно отрывать билетики, – он обращался к пассажирам со стихами:

Я женой моей доволен,
И она довольна мной —
Покупаю каждый месяц
Ей в подарок проездной.

И, после небольшой паузы, – с примечанием: “Сочинял Евтушенко, помогала Ахмадулина”.

Этот звездный союз тогда уже распался, но в народном сознании оставался нерасторжимым, так что вполне мог удостоверить статус проездного как гаранта домашнего очага. Проекция творческого “я” поэта-водителя одновременно на условную рекламную семью и на мифопоэтическую чету номер один лучилась верой в социализм с человеческим лицом. По прибытии в палату я продекламировал стишок своей знакомой, подключив и нашу пунктирную связь к мощной культурной парадигме.

Новый год я встретил у друзей в Большом Гнездниковском, а основательно набравшись, поехал в Склифосовского снова, на этот раз не на троллейбусе, а на обнаруженном в доме велосипеде. В больницу меня пустили – персонал тоже праздновал. Все шло хорошо, но на обратном пути, за рестораном “София”, велосипед развернуло на рыхлом снегу, я упал и сломал ключицу, к счастью, левую. Я кое-как добрался к себе на Метростроевскую, но под утро боль вступила по-настоящему, и я отправился к Склифосовскому уже в качестве полноправного пациента. Ключица срасталась долго, но еще дольше, как ни странно, длился наш роман – до самого конца 1960-х.

Теперь у меня квартира на Садовом кольце, и с балкона 14-го

этажа видно место, где я тогда навернулся. От кого был аборт, осталось неясным.

Бритва Оккама

На рубеже 1970-х годов театральная жизнь в Москве била ключом, и в элитные театры попасть можно было только по знакомству. На престижный спектакль Эфроса в Театре Ленинского комсомола с Ольгой Яковлевой в главной роли билет мне достала одна дама с положением, в свое время учившаяся в консерватории у папы.

У него было много учеников и учениц, и однажды он сделал наблюдение, что некоторые из них, проведя долгие годы в отдалении от него, вдруг снова входят в его орбиту, начинают посещать его лекции и тем самым как бы возвращаются в былую студенческую атмосферу, причем случается это, как правило, после разводов или иных личных неурядиц. Как-то раз, выловив из папиного рассказа об одной такой бывшей ученице, вновь припавшей к целительным источникам мазелеведения, что она работает в Министерстве культуры, я перевел разговор в практическую плоскость – спросил, нельзя ли с ее помощью добыть дефицитные билеты в театр.

Папа обещал узнать и вскоре получил положительный ответ, после чего тем же порядком были испрошены и успешно заказаны билеты на конкретный спектакль (если не ошибаюсь, “Месяц в деревне”) – с той небольшой поправкой, вполне естественной, но мною по наивности не предвиденной, что на второй билет Вера Николаевна высказала желание пойти сама. Делать было нечего (как говорится, beggars can’t be choosers, “нищим выбирать не приходится”), да и двигала мной, прежде всего, чистая любовь к искусству. Кажется, это был первый и единственный случай blind date (свидания вслепую) в моей жизни.

Никаких романических последствий это культурное мероприятие не имело, но папа, конечно, поинтересовался, как оно прошло и как мне понравилась его ученица. Я сказал, что спектакль был интересный, спасибо, что же касается Веры Николаевны, то… ничего особенного, только очень уж много врет.

– А о чем шла речь?

– О разном.

– Как же ты установил, что она врет? Ведь чтобы бросать такие обвинения, нужно иметь факты, доказательства.

– Да нет, просто сколько она говорит, столько правды вообще нет.

Техника отпускания

Что касается режиссуры Эфроса, то самое сильное впечатление на меня произвела его постановка пьесы Розова “В день свадьбы”, которую я по памяти отнес бы на десяток лет раньше, к началу 1960-х. Сюжет этой классически оттепельной пьесы состоял в том, что Надежда (!), дочка из влиятельной рабочей династии, освобождала беспризорного Мишку, некогда нашедшего приют в этой семье и давно сосватанного за Надежду, но теперь влюбленного в другую, от данного слова и тем самым – от гнета добровольно-принудительной благодарности. Помню то ощущение эстетического и политического катарсиса, которое я испытал в момент кульминационной реплики: “Отпускаю!..” В зале чуть ли не физически повеяло надеждой, что Хрущев и в его лице советская власть наконец нас “отпустят”. (Ждать, правда, пришлось еще четверть века, но, в общем, не напрасно.)

Одновременно с Ленкомом та же пьеса была поставлена в “Современнике”, и я то ли пошел туда для сравнения, то ли только собирался – не уверен; запомнился лишь эфросовский спектакль. Особенно врезалось в память одно режиссерское решение.

Ведущим актером Театра Ленинского комсомола еще до прихода туда Эфроса был Всеволод (“Сева”) Ларионов, записной красавец, игравший – на сцене и в кино – дежурные роли героев-комсомольцев. Фокус Эфроса заключался в том, что этому Севе, с его устойчивым амплуа советского первого любовника, он отдал роль не Мишки, положительного героя пьесы, а, наоборот, отрицательного брата Надежды – циничного председателя завкома (партком трогать было нельзя). В то время с каждого плаката и газетного листа мозолил глаза “Моральный кодекс строителя коммунизма”, призванный стать чем-то вроде советских десяти заповедей. Так вот, ударным аргументом ларионовского персонажа, всячески давившего на героя, были слова: “Не марай кодекс, Мишка!”

Ход, примененный Эфросом, наверно, имеет терминологическое название в теории режиссуры, настолько он эффектен и в то же время укоренен в работе с имеющимися амплуа. В сущности, режиссер поручил Ларионову его привычную роль – стандартного советского героя, только теперь, в соответствии с замыслом драматурга, она предстала в новом свете. Для такого ее сценического развенчания как нельзя лучше пригодился готовый ореол, окружавший актерскую фигуру Ларионова. Та фальшь, с которой он играл своих комсомольцев,

блестящим турдефорсом режиссера была поставлена на службу художественному изображению ее жизненного источника – реальной советской фальши.

По слухам, Ларионов в жизни обладал скорее идеальными, нежели реальными чертами своего актерского имиджа. Он поддерживал Эфроса в конфликтах с театральными властями и жалел о его последующем вынужденном уходе из театра. Надо полагать, он был благодарен Эфросу за парадоксальное освобождение от тисков советского амплуа – освобождение, тематически вторившее центральной идее пьесы, а стилистически предвосхитившее эстетику соцарта.

В чужом пиру
(Западное кино бис)

В старое советское время, если и удавалось посмотреть западный фильм, многое в нем оставалось задрапировано складками все того же железного занавеса. Было неясно: то, что показывают, это у них обыденный факт или художественный эффект? А ведь остраняющий контраст между практическим рядом и поэтическим – основа искусства.

Вот он (Бельмондо, “Нежный негодяй”, 1966) звонит ей из Брюсселя по автомату – так, как будто он рядом, в Париже. Это что, суперловкость рук или каждый может? Вот его (не помню кого, кажется, Филиппа Нуаре) будит горничная, принесшая завтрак в номер, и он тут же затаскивает ее в постель – это как, нормальная часть сервиса или донжуанский подвиг?

Незнакомое не всегда восхищало. Вот он (Гэри Купер) ухаживает за ней (Одри Хепберн), приводит ее в свой огромный номер, а там уже ждет заказанный им небольшой ансамбль, и они танцуют и любезничают при этих посторонних (“Любовь после полудня”, 1957). Было не завидно, нарушался интим, но витала надежда, что такого не бывает – кроме как в фантазиях киношников.

Одной из загадок был эпизод даже не в иностранном, а “нашем”, но футурологическом и полузапретном “Солярисе” Тарковского (1972). Невероятно долгий проезд по подземному участку автострады будущего завораживал, тем более что мучил вопрос о статусе туннеля. Что это – трюковая съемка, увеличенная мини-декорация, или где-то там подобные вещи действительно существуют? (Знающие люди подтверждали, что существуют и туннель – японский.)

Больше всего озадачивали, конечно, размеры личной собственности. Например, что грузовик, микроавтобус, даже самолет мог принадлежать частному лицу, а не только учреждению. Особенно волновал, конечно, домашний быт – категория все-таки знакомая.

В английском фильме “Чарли Бабблз” (с Альбертом Финни, 1968) все этажи и помещения в доме пресыщенного жизнью героя-писателя просматривались по внутренней телевизионной сети. Это играло организующую роль в иронической стилистике фильма, но оставалось неясным, действительно ли таков быт широких масс преуспевших литераторов.

Самое сильное впечатление осталось от лондонского дома

героя (Джека Николсона) в фильме Антониони “Профессия: репортер” (1975). Интерьер был на нескольких этажах, с лестницами, без перегородок или, во всяком случае, с большим количеством открытых стен, и на них были там и сям приколоты (прилеплены?) записки жены (к мужу? любовнику? – на культурную неосведомленность накладывались языковой барьер и авторская некоммуникабельность). Учрежденческие масштабы помещения и способы связи, служившие декорациями хронической невстречи героев (он уезжал, она изменяла), – весь этот модернистский разброд на просторной частной территории одновременно удручал и захватывал. Хотелось то ли отвергнуть недоступную сюрреальность с порога, то ли пожить и умереть в ней.

…Пожить удалось, за умереть дело не станет. Пишу это в гостиной на нижнем этаже, с видом на внутреннюю лестницу без записок. В компьютере поет Вертинский: *Как хорошо проснуться одному/ В своем веселом холостяцком “флете”*… (“Без женщин”, 1940). Кстати, британский “флэт” – одноэтажный (*flat* – “плоский”), а если он еще и холостяцкий, то тем более, какие записки?[23]

Table talk

Яйцо – излюбленная тема пословичной мудрости. *Ab ovo* значит *с самого начала*; если вопрос слишком прост, он *не стоит выеденного яйца*; напротив, что появилось раньше, *курица или яйцо*, – неразрешимый парадокс.

Продолжать в таком духе можно долго, даже не обращаясь к золотой генитальной ветви этой мифологемы. Но я сосредоточусь на яйце как продукте питания, причем исключительно на вареном не вкрутую яйце и способах его потребления, в частности его вскрытия, естественно предшествующего потреблению, и на особенностях соответствующего личного опыта.

Основополагающим в этой области является, конечно, конфликт между лилипутами и блефускуанцами, известный мне с детства, но, как выясняется, осмыслявшийся мной неправильно.

Мой завтрак, начиная с послевоенных лет и до недавних пор, когда в повестку дня встала диета, традиционно состоял из двух куриных яиц в мешочек. Женька Зенкевич пытался уесть меня, предлагая задуматься о количестве погубленных мной цыплячьих жизней, но безуспешно; да и теперь, в атмосфере самой трепетной заботы о правах животных, яйца многими числятся по вегетарианской части.

Ошибка же в интерпретации свифтовской контроверзы состояла в том, что я почему-то решил, что тупоконечниками были лилипуты, а остроконечниками – блефускуанцы. Сам я был (и остался) убежденным тупоконечником и, однако, полагал себя единомышленником лилипутов. Как показало недавнее обращение к тексту, я был неправ. Кстати, блефускуанцы-тупоконечники представлены у Свифта диссидентами (эзоповским аналогом изгнанных из Англии католиков), но получилось, что я, подсознательно взяв сторону оппозиционеров-эмигрантов, продолжал мысленно отождествлять себя с осмеянным в книге англиканским истеблишментом.

Так или иначе, я изо дня в день облупливал сваренное в мешочек (оппозиция “в мешочек/всмятку” – еще одна из важнейших в данном семантическом поле) легким ударом чайной ложки по тупому концу яйца и, очистив его от надбитой скорлупы, приступал к поеданию. Эта несложная, но все же деликатная процедура (надо ударить не слишком сильно, осторожно отделить скорлупу и тонкую пленку от белка, не дать желтку вытечь на подъяичник…) была отработана мной до автоматизма и казалась мне единственно возможной.

*Гравюра Герберта Коула (Herbert Cole) из иллюстраций к «Путешествиям Гулливера» (*1899*)*

Так продолжалось многие годы, почти три десятка лет. Но в один прекрасный день мне было явлено откровение.

Это было году в 1970-м, во время привилегированного киноведческого семинара в каком-то из Домов творчества под Москвой, где показывали и обсуждали иностранные фильмы, еще не поступившие (а часто и не предназначенные к поступлению) в общий прокат. Оставляя в стороне биографические детали моего попадания в эту элитную компанию, перейду к главному. Я оказался за одним столиком с отдаленно знакомой мне молодой

дамой (назовем ее Иришей), которой, как и мне, на завтрак подали вареные яйца; возможно, выбор был невелик, и их принесли всем.

Дама была маленького росточка, скорее некрасивая, но, видимо, избалованная, и держалась с вызывающей уверенностью. Она долго не приступала к еде, развязно говорила что-то многозначительное и уже начинала меня раздражать, как вдруг, одним-единственным движением – небрежным и не то чтобы особенно ловким, – навсегда врезалась мне в память.

Почти не глядя на стоявшее перед ней яйцо, кое-как держа ложку в руке, продолжая разглагольствовать и обводить зал скучающим взором, Ириша, вместо того чтобы, аккуратно прицелившись, облупить яйцо сверху, немного расслабленно и даже как-то криво стукнула по нему ложкой сбоку, взяла неровно отбитую верхушку в руку и стала той же ложкой вычерпывать и отправлять в рот ее содержимое.

Эффект был сильнейший, и образ Ириши встает передо мной каждый раз, когда я ем яйца.

Пораженный альтернативным методом разделки яиц – явно принятым в лучших домах Бульварного кольца, иначе откуда бы такая высокомерная небрежность, приводящая на ум нарочито невнятный шепелявый выговор английских аристократов, – я приступил к тренировкам по его освоению, а затем и усовершенствованию. Ложка это, конечно, хорошо и даже шикарно, но много удобнее острый нож, позволяющий с хирургической точностью срезать намеченный сегмент.

Последнее время, убоявшись высокой калорийности желтков, я стараюсь ограничиваться белками, а по возможности вообще переключаюсь на перепелиные яйца, по слухам, свободные от холестерина. Тут нож просто незаменим: он легко рассекает пегое яичко пополам, после чего в ход идет миниатюрная ложечка с мусульманским полумесяцем, подаренная знакомой специалисткой по персидской литературе. Но для вскрытия перепелиного – поистине лилипутского – яйца она, увы, не годится (хотя, кто знает, может быть, малогабаритная Ириша управилась бы одной левой).

P. S. Задумавшись задним числом, как разделывали яйца герои Свифта, я еще раз перечел главу IV “Путешествия в Лилипутию”. В русском переводе (А. А. Франковского) употреблен глагол *разбивать,* точно соответствующий *to break* английского оригинала. Мне почему-то всегда казалось, что подразумевается надбивание сверху, но, увы, причиной превращения лилипутов в остроконечников послужил случай, свидетельствующий о применении ножа.

> “Всеми разделяется убеждение, что вареные яйца при употреблении их в пищу испокон веков *разбивались* с тупого конца; но дед нынешнего императора, будучи ребенком, *порезал себе палец за завтраком, разбивая яйцо означенным древним способом*. Тогда император, отец ребенка, обнародовал указ, предписывающий всем его подданным под страхом строгого наказания *разбивать* яйца с острого конца”.

То есть я опять попал впросак. Впрочем, как явствует из беглого опроса знакомых и из руководств по столовому этикету, в цивилизованном мире приняты оба способа – облупливание ложкой и срезание ножом, хотя, согласно некоторым источникам, в Германии, например, предпочитается ложка, а на нож могут посмотреть косо. Так что, возможно, я просто наследовал этой “немецкой” школе. Но есть и гипотеза, что к пользованию ложкой homo sovieticus вынуждался отсутствием в системе общепита ножей, которое диктовалось то ли простой экономией, то ли боязнью вооружить население. В противовес “безножевой” (как выразился полвека назад мой друг) советской цивилизации, западная выработала даже специальные яичные ножи и яичные ложки с зубчатыми концами для удобства надрезания скорлупы. Не отсюда ли Иришина ложка?

И, конечно, остается неясным, каким образом заход с острого конца должен был предотвратить опасность порезаться. Кстати, по-английски речь идет не об *остром* конце, а о *меньшем* (*smaller*), так что каламбура нет. Зато скрытая игра слов есть в невинной, на первый взгляд, фразе о порезанном пальце. Выражение *cut one’s finger*, “порезать себе палец”, имеет, как по-английски, так и по-русски, только буквальный смысл, но близкое к нему *burn one’s fingers*, “обжечь (свои) пальцы”, – идиома, означающая “обжечься/обжечь руки на чем-либо”. Как поясняет в своих комментариях к “Гулливеру” Айзек Азимов, Генрих VIII (= император Лилипутии) “порезал себе пальцы”, т. е. обжегся, на католицизме, когда оказалось, что развод с Екатериной Арагонской он может получить только от папы римского, а тот ему отказал; он все равно развелся, но был за это отлучен от церкви и в ответ заменил католичество (тупые концы) англиканством (острыми).

Эпикировка

Работа с сомалийским языком в рамках истеблишмента – на Радио, на киностудии “Экспортфильм” и в других местах – приводила к знакомству с образчиками не только африканской, но и советской экзотики.

Весной меня как единственного дипломированного сомаловеда иногда приглашали в МИД – принять экзамен по языку у их сотрудника. Сотрудником этим был унылый человек невзрачного вида с низким, как из бочки, голосом и безрадостной фамилией, назову его Бобылев. Экзамен требовался, чтобы подтвердить его право на двадцатипроцентную надбавку к зарплате за знание языка курируемой страны.

Язык он, несмотря на несколько лет работы в советском посольстве в Могадишо, знал из рук вон, и экзамен каждый раз сводился к тому, что я уточнял у него и у заведующего учебной частью генерала Абрамяна, какова самая низкая оценка, совместимая с надбавкой, и, неизменно получая ответ “три с минусом”, неизменно ставил именно столько. Ашот Абрамович Абрамян, обладавший характерной для лиц его национальности широтой взглядов, понимающе улыбался. Неизбывной же грусти Бобылева тройка с минусом не усугубляла – никаких амбиций, кроме экономических, у него вроде бы не было.

Мотивы, толкнувшие этого человека на дипломатическое поприще, не составляли загадки, хотя на свежий взгляд могут показаться парадоксальными. Беднейшую страну самого забытого богом континента Бобылев рассматривал как источник обогащения. Дело шло неплохо, пока он работал в посольстве, получая двойную зарплату, частично в валюте, и извлекая мелкие контрабандные выгоды из доступа к иностранным товарам. Но срок службы на передовой подошел к концу, и Бобылева перебросили в тыл, на Смоленскую площадь, где я однажды и застал его еще более удрученным, чем обычно.

Причиной моего прихода был на этот раз не экзамен, а перевод на сомали речей Председателя Верховного Совета СССР Подгорного, направлявшегося в республику на экваторе с государственным визитом. Речи поступали с задержкой, я маялся, ворчал, и Бобылеву было поручено всячески занимать меня и водить в закрытый буфет. Там, за номенклатурной икрой и импортным пивом, Бобылев излил душу.

– Думаю податься на научную работу, вот как вы, – с безысходной печалью в голосе сказал он.

Я полюбопытствовал, чем диктуется внезапная

переквалификация. Оказалось, что дело в потере выгод, связанных с пребыванием “в стране”.

– Но, наверно, на большой земле это как-то компенсируется? – предположил я.

Оказалось, что компенсируется, но в случае Сомали очень и очень скромно.

– За что же такая дискриминация?

– Да не дискриминация, – горестно пояснил Бобылев, – а просто оплачивают из расчета эпикировки…

– Эпикировки?..

– Ну да. Если ты работал, скажем, в Норвегии, то здесь тебе выдают в размере меховой шубы, шапки, ну и прочего. А у нас какая эпикировка – пробковый шлем и шорты?..

Низкий жизненный уровень сомалийцев настиг-таки невезучего Бобылева, хотя и с неожиданной стороны. Не задалась, надо полагать, и его научная карьера, для которой он тоже был, на мой взгляд, оснащен недостаточно. Бедному жениться – ночь коротка.

P. S. Как бы не так. По последним сведениям, Бобылев перешел свой Рубикон – написал и защитил диссертацию, а со временем получил консульскую должность в Италии. Эпикировка: тога с пурпурной каймой, кресло из слоновой кости, двенадцать ликторов с фасциями.[24]

Из России с любовью

Это было в начале 1970-х годов, в эпоху застоя, в период его расцвета. Мой ученик (назову его кафкианским инициалом К.), вдвоем с которым мы практически контролировали рынок переводов на язык сомали, сообщил мне, что наклевывается новый источник халтуры: Агентство печати “Новости” открывает серию переводов классиков марксизма-ленинизма на ранее не охваченные восточные языки. Заведует этим делом некто Козлов, бывший резидент в Китае.

Я ответил, что идея хорошая, лишние деньги не помешают, но времени на дополнительную халтуру у меня нет. К. меня успокоил. От меня требовалось только сходить к Козлову, напустив важности, выговорить оптимальные условия и, по занятости, поручить переводческую роль К., так и быть, согласившись на редакторскую.

Козлов оказался невзрачным (подслеповатым? рыжеватым? лысоватым?) человечком, на которого с первого же взгляда естественно было свалить китайские промахи Кремля. Я взял уверенный тон. Одобрив планы приобщения сомалийцев к трудам Ленина и заверив Козлова в высоте квалификации К., я перешел к центральной теме – ставке за лист.

Козлов проявил знакомство с вопросом и выразил готовность платить двадцатипятипроцентную надбавку “за редкость” – категорию, под которую подходили все восточные, в том числе африканские, языки. Я, однако, метил выше.

Я указал на особый статус языка сомали, лишь недавно обретшего письменность. Ставя задачу перевода на него сочинений Ленина, следовало учитывать, что само слово “перевод” получает в этом случае качественно иной смысл. Если при работе с китайским, японским, хинди и т. п. дело сводится к переводу на языки, давно абсорбировавшие марксизм, то на сомали предстоит начинать с нуля. Речь идет не о переводе в готовые языковые формы, а о создании всей необходимой фразеологии. На переводчика – К. – ложится гигантская историческая ответственность: от него зависит, как на сомали будет впредь звучать голос Ленина.

Эту импровизацию в стиле О. Бендера я заключил требованием удвоить надбавку. Козлов выслушал меня с пониманием, но сослался на отсутствие соответствующих разнарядок. Так что 25 % – *si*, 50 % – *no*, хотите берите, хотите нет. Мое красноречие разбилось о стену. Программа-максимум не сработала. Можно было, конечно, гордо удалиться, но мы

утерлись и согласились на минимум.

…Передо мной лежат три красных книжечки на сомали, две ленинских и одна брежневская. Никаких других фамилий там не значится – ни Козлова, ни К., ни тем более моей. Не помню, получил ли я что-либо за “редактуру”. Боюсь, что да. Сохранилось вложенное в Брежнева уклончивое письмо на бланке АПН от 6 февраля 1974 года:

тов. Жолковскому А. К.

Направляем Вам, как переводчику на язык сомали, брошюру Л. И. Брежнева “Наш курс – мир и социализм”, выпущенную Издательством АПН.

П. Козлов,

Заведующий Редакцией изданий на восточных яз.

Козлова я больше не видел, но свою оценку его агентурных качеств пересмотрел. Не исключаю даже, что, развернув мои аргументы перед начальством, он добился-таки изменений в разнарядках, а разницу, как теперь выражаются, приватизировал.

Allegro mafioso

В музыкальной жизни СССР и национальных республик главные профессиональные разборки происходили на пленумах соответствующих Союзов композиторов, где прослушивались и премировались произведения, написанные за год. Борьба шла не на жизнь, а на смерть.

На одном грузинском пленуме финалистами в ведущем жанре симфонии оказались два композитора – Г. Канчели и его тогдашний соперник, фамилии которого не помню, хотя рассказавшие мне это тбилисские друзья, конечно, ее называли. Что делать – история пишется победителями.

Симфонии были вроде бы равноценные, шли ноздря в ноздрю, но у Канчели имелось тайное оружие. Оркестром дирижировал его приятель, согласившийся незаметно ему подыграть. Как? Исполнить симфонию соперника чуть медленнее.

Этого оказалось достаточно. В музыкальном поединке, как и в любом другом, все решают секунды.

Встречи с интересными людьми

В середине 1970-х годов, уже на полуопальном положении, служа в “Информэлектро” и почти все рабочее время посвящая статьям по структурной поэтике, которые затем печатались на Западе, я получил приглашение выступить со своими идеями перед интеллигентной аудиторией города-спутника биологов Пущино. Устроила это имевшая там множество знакомых наша сотрудница Леля Волковыская – под флагом модной в те времена формы неофициальной культурной жизни: встреч с интересными людьми. В Пущине располагался Институт белка АН СССР, и по инициативе его замдиректора, профессора, скажем так, Птицына, при пущинском Доме ученых было создано интеллектуальное кафе “Желток”. Птицын охотно клюнул на Лелину идею, а меня она без труда соблазнила перспективой мгновенной славы и вдобавок лыжного катания по приокским холмам и долам.

Учитывая словесную магию места (*белок – желток – Птицын – …*), в Пущине, наверно, следовало бы говорить о Пушкине. Но я избрал Пастернака и Ахматову. На примере ахматовского стихотворения 1936 года “Борис Пастернак” (“Он, сам себя сравнивший с конским глазом…”), в то время печатавшегося под стыдливым названием “Поэт”, я решил развить занимавшую меня тему взаимодействия поэтических миров. Прибыв на место, я увидел цветную афишу, гласившую:

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
канд. филол. наук
А. К. Жолковский
АХМАТОВА О ПАСТЕРНАКЕ
Кафе “Желток”
19 часов

Стилистика кафе была позаимствована из телевизионного “Голубого огонька” – так называемая непринужденная атмосфера, столики с пластмассовым покрытием, чашечки с черным кофе. Но массовость аудитории превзошла самые смелые ожидания: в зале было несколько сот человек. Наверно, в тот вечер пущинцам было больше некуда пойти, и они сбежались, как солдаты на привезенную в часть кинокартину.

Это был один из редких в моей жизни случаев массового успеха, а по продолжительности выступления – бесспорный личный рекорд. Сначала я говорил часа полтора, потом сделали перерыв, во время которого желающие, примерно половина,

ушли; потом выступление и дискуссия продолжались еще часа два; после второго перерыва осталось человек двадцать, но в полночь кафе закрывалось, и тогда совсем уже узкий кружок собрался у кого-то на квартире. Наряду со щекочущими диссидентское сознание именами двух поэтов роль, возможно, сыграл и присвоенный мне титул интересного человека.

Острых моментов в ходе доклада было два, оба в первом отделении. Сначала кто-то из слушателей, раздраженный жесткостью моих структуралистских построений, спросил, как можно говорить о формулах и инвариантах, когда все поэтическое, духовное, да и вообще человеческое, так непредсказуемо и неповторимо.

– Что за такая неповторимость? – парировал я. – Вот, например, ваш вопрос, как правило, задается кем-нибудь именно в этом месте доклада. Так что вы как раз вполне повторимы.

По аудитории пробежал одобрительный смех. Все-таки это были исследователи не чего-нибудь, а белка, к моделированию живого более или менее морально готовые.

Второй провокационный вопрос, поступивший от самого Птицына, касался трактовки формальных эффектов (звуковых, грамматических и т. п.) как средств воплощения смысла. Помимо вполне естественного незнакомства с достижениями тартуской семиотики Птицын проявил неожиданное упорство в отстаивании своих литературно-теоретических воззрений. Спор затягивался, нарушая правильный ритм доклада и четкую расстановку сил, и я закончил его решительным выпадом:

– Я вижу, мне не удается убедить уважаемого оппонента. Разумеется, каждый имеет право на свое мнение. Я только не хотел бы, чтобы у аудитории сложилось впечатление, будто имеет место спор между кандидатом наук Жолковским и доктором наук Птицыным. В действительности спор идет между кандидатом филологических наук Жолковским и, что касается литературы, выпускником советской средней школы Птицыным.

В зале послышался и захлебнулся возмущенный ропот. Спор прекратился, и я продолжал доклад; в перерыве Птицын и его супруга, корректно попрощавшись, ушли. После этого и до самого конца – до двух часов утра, когда я в изнеможении пошел спать, – никаких драматических эксцессов уже не было.

Из обитателей городка мне особенно запомнился один молодой сотрудник. Он был невысокого роста, красивый, с гладкой кожей. На другой день после доклада я был приглашен к нему на ланч, и меня поразила его кухня, сверкавшая чистотой и обилием кухонных принадлежностей – кофеварок, красиво расписанных досок для нарезания овощей и т. п. Он деловито и

элегантно угостил нас, потом аккуратно убрал со стола, помыл и поставил сушиться посуду.

Он жил один, но вскоре ожидался приход его подруги. Я спросил, не ей ли его хозяйство обязано таким завидным порядком. Оказалось, нет – хозяйничать его научила мама, объяснившая, что это вернейший способ против непродуманной женитьбы, диктующейся соображениями уюта. Больше вопросов у меня не было, спорить тоже не приходилось – ответ оставалось запомнить и принять к сведению.

Так моя поездка в городок биологов закончилась встречей с действительно интересным человеком, несомненным специалистом по науке о жизни – способе существования белковых тел.

Пошлая история

На сей раз остерегаться надо подражания не Бунину, а Флоберу, Гоголю, Зощенко. В частности – соблазна заговорить в третьем лице: “Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать: «Я, братцы мои…»”

Для виньетиста такое алиби – недоступная роскошь. Подобно гладиатору, акробату, каскадеру, наконец, врачу, прививающему себе новую вакцину, он ставит на кон собственное “я”.

Правда, писать никто не заставляет. Как никто в свое время не заставлял и делать то, о чем теперь непонятно, писать ли.

Ответственность за все такое принято сваливать на природу, биологию, животное наше начало. Но чаще виновата не природа, а культура. И уж точно в данном случае, поскольку биология-то как раз подвела. Не животные инстинкты, а сюжетные стереотипы подсказали мне сорок лет назад этот сценарий, поначалу незамысловатый, но постепенно развивший пышные формы; тот же повествовательный зуд толкает сегодня его записать.

Флобер помянут не всуе. Имеется в виду знаменитый параллельный монтаж ухаживаний Родольфа за Эммой и речей на открытии сельскохозяйственной выставки. Я всегда помнил эту сцену – и, оказывается, неправильно, сейчас специально проверил. У Флобера герои любезничают, уединившись на пустынном втором этаже мэрии и наблюдая оттуда за церемонией, происходящей на первом. Я же подсознательно дожал эффект: в моей версии они предавались уже собственно сексу в гостиничном номере, куда через окно доносились с площади голоса ораторов. Сначала ли я мысленно улучшил Флобера, а потом на деле разыграл нечто подобное, или наоборот, не уверен, но рассказать историю тем занятнее.

Это было в начале 1976 года, примерно в феврале. Папа устроил мне путевку в Дом творчества композиторов под Ивановом, разумеется, не отдельную дачу, как полагалось членам Музфонда, а комнату в пансионате – как члену семьи. Комнатка была тесноватая, но мне хватало. Я работал над нашей со Щегловым брошюрой по поэтике для издательства “Знание”, а в промежутках наслаждался жизнью – снежной зимой, лыжами, музыкой. Приемник с проигрывателем имелся de rigueur (всенепременно) в каждой комнате, и в библиотеке был неплохой выбор пластинок.

Я тогда впервые открыл для себя Тройной концерт Баха ля минор (BWV 1044) и без конца крутил его на довольно скверном проигрывателе. Я просил администрацию заменить его, но ничего

лучшего у них не было или оно было мне не по чину, и я довольствовался тем, что имел.

Светской жизни не было никакой. В столовой и на прогулках по территории я регулярно пересекался с единственным отдыхающим моего возраста, в пыжиковой шапке, не помню, композитором или музыковедом. Мы обменивались приветствиями и дежурными жалобами, с моей стороны притворными, на недоступность в ближайшем радиусе спиртных напитков. Было ли это результатом какой-то антиалкогольной кампании или следствием неведомых мне торговых интриг, но факт оставался фактом: за водкой надо было тащиться за несколько километров в какое-то сельпо. Впрочем, меня ее отсутствие нисколько не беспокоило, оставаясь лишь удобным conversation piece (темой для светского разговора).

Женского общества, если не считать официанток, тоже не было. Судя по всему, я попал в мертвый сезон, чем, возможно, объяснялась легкость получения путевки.

А потом женщина вдруг появилась. Она была встречена сначала на дорожке к столовой – в дубленке и сапогах, рыжая, плотная, веселая, немного носатая, – а потом в пансионате, где ее комната выходила в тот же коридорчик, что моя. Собственно, первым ее появление констатировал мой шапочный знакомый, о чем и сообщил мне с некоторым возбуждением.

Завязка налицо. Он замечает ее первый, но живет, будучи полноправным членом Музфонда, в отдаленной даче, я же, при всей скромности своего аутсайдерского статуса, имею стратегическое территориальное преимущество.

Оно не замедлило сказаться. По-соседски столкнувшись утром в коридоре, мы пошли на завтрак вместе и познакомились. Я до сих пор помню ее имя и фамилию, очень в стиле всей этой истории, но из джентльменских соображений вынужден их слегка изменить. Элина Хотецкая представилась сотрудницей Музфонда, на два дня приехавшей в ДТК с бухгалтерской ревизией.

Сюжет крепчал: намечалось классическое единство места, действия и, главное, времени. Она уезжала с ночным поездом, и в двенадцать ей должны были подать автобус.

План созрел мгновенно. Я сказал, что знакомство надо отметить; есть, правда, известные трудности со снабжением, но они преодолимы. Встретив понимание, я после завтрака совершил лыжный марш-бросок к дальнему сельпо и вернулся с двумя бутылками “Столичной”.

Вечером, захватив с ужина что-то, что могло квалифицироваться как закуска, мы устроились в ее комнате – она предложила свою, так как ожидала, что к ней могут

ненадолго зайти. Комната оказалась большой и, по сравнению с моей, роскошной. Мое внимание привлек проигрыватель, я немедленно опробовал его и убедился, что он не моему чета; хозяйка призналась, что не включала его.

За водкой пошел непринужденный разговор о том о сем, в ходе которого я узнал многое о воззрениях ее мужа, которого она называла не иначе как по фамилии. “Хотецкий в таких случаях говорит…”; “Хотецкий сказал: покупаем только «Волгу»”; “Хотецкий мне заявил…” Отстраненные, хотя и частые, упоминания о Хотецком явно не клонились к настоянию на святости брачных уз, и я больше не сомневался в успехе своего предприятия.

Правда, рассмотрев ее поближе, я утратил часть первоначального энтузиазма, но подумал, что овладение первой в моей жизни женщиной-бухгалтером (в памяти услужливо всплыл Остап Бендер, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина – зубной техник) стоит обедни, и положился на магическое действие “Столичной”.

Действие это начинало сказываться, когда в дверь постучали. The plot thickens (“Сюжет сгущается”), подумал я. Элина сказала: “Заходите”, – и в комнату вошла женщина, оказавшаяся сестрой-хозяйкой, которой захотелось попрощаться с дорогой гостьей и заодно занести ей на память несколько кошелок с провизией, гордостью местного сельскохозяйственного производства: медом, маслом, сыром, сметаной – для дома, для семьи. Не помню точно, но, кажется, там была и какая-то небольшая пищевая скульптура, то ли заяц, изваянный из творога, то ли олень из шоколада, что-то в этом роде. Пришедшая с некоторой опаской оглянулась на меня, неожиданного свидетеля этого преступления, мелкого, но все-таки, – дачи взятки должностному лицу при исполнении, впрочем, неясно, каких именно обязанностей, не совсем служебных и очевидным образом не супружеских, – преступления, в сущности, двойного, ибо имело место как предложение взятки, так и ее принятие, причем должностными лицами были обе стороны. Но Элина успокаивающе мотнула головой, дескать, это свой человек, мы с сестрой-хозяйкой заговорщически переглянулись, и я даже напомнил ей, что мы уже встречались – по поводу проигрывателя. Да-да, охотно отозвалась она, помню, и, знаете, сейчас как раз освободился хороший, так что сможем заменить. Но долго задерживаться она не стала, от водки отказалась, попрощалась, подтвердила, что автобус в полночь, и удалилась.

Эта интерлюдия немного сбила назревавший интим, и потребовалось некоторое количество рюмок, чтобы подогреть его

до прежнего градуса. Я постепенно пьянел, тогда как пышное тело Элины, по-видимому, успешно противостояло действию алкоголя. По мере опьянения я стал позволять себе все большие вольности, пока что словесные, и обдумывать переход к физическим. Элина это в целом приветствовала, но из-за стола все не вставала и в конце концов призналась, что возможен еще один визит, после которого – и в любом случае за поздним часом – дверь можно будет запереть и не отзываться.

Стук в дверь через некоторое время действительно раздался, и вошел не кто иной, как директор ДТК собственной персоной. Он тоже что-то принес, что не помню, ко мне без дальних слов отнесся по-свойски (возможно, предупрежденный сестрой-хозяйкой), водки с нами выпил – с хорошими людьми отчего не выпить, мы разговорились, он спросил, как мне у них нравится, я, войдя в роль, сказал, что вообще нравится, но проигрыватель никуда, да и комнатенка больно мала, не то, что эта, и в ответ услышал, вот и прекрасно, Элину сегодня проводим, а вас завтра же сюда и переведем. Я становился не только свидетелем, но и соучастником преступлений, каковые, судя по приходу обоих материально ответственных лиц, масштабам их даров и готовности идти навстречу моим возрастающим капризам (кто знает, не следовало ли потребовать отдельную дачу?), должны были быть нешуточными.

Директор ушел, я опять приналег на водку, и когда обе бутылки были выпиты и дошло наконец до дела, оказался аб-солютно не в состоянии его исполнить. Реакция моей чуткой партнерши сочетала, как водится в крепком сюжете, неожиданность с закономерностью. “Ура! – повторяла она. – Ура, теперь в Москве ты мне обязательно позвонишь!”

К полуночи мы оделись, я помог вынести вещи, у автобуса нас ждал почетный караул из сестры-хозяйки и директора, и на прощание я демонстративно поцеловал Элину. Она уехала, а на другой день меня перевели в ее комнату, и в дальнейшем мы с сестрой-хозяйкой и директором всегда здоровались, понимающе улыбаясь друг другу. Ее лица не помню, его помню очень хорошо.

В Москве я таки да позвонил Элине, хотя не сразу. Желания особого не было, но какое-то чувство долга – морального и сюжетного – надо мной, видимо, тяготело. Мы несколько раз посетили квартиру ее родственников, поручивших ей поливать цветы. Вся мебель была заботливо зачехлена, одну кровать приходилось каждый раз расчехлять и зачехлять. Свой долг я вскоре счел более или менее выполненным, и по ходу очередного свидания на моем лице, по-видимому, достаточно явственно проступил давно занимавший меня вопрос, что я, в сущности, тут

делаю. Потому что, когда мы уходили, она сказала, с интонацией скорее утвердительной, чем вопросительной: “Ты больше не позвонишь?” Знайте же, черствые сердцем, что и бухгалтерши чувствовать умеют!

Задним числом я вспоминал обо всем этом со смешанными чувствами. О соучастии в сговоре коррупционеров, благодаря которому улучшил свои жилищные условия, – с законной гордостью по поводу интеграции в реальную жизнь. О романе с Элиной – с неловкостью, как о еще одном неудачном браке, предельно коротком, но от этого не менее постыдном, единственным оправданием которому может служить его нарративная ценность. О морозе и солнце, лыжах, Бахе, работе над брошюрой – с полным удовольствием. Брошюру мы, кстати, дописали быстро и еще быстрее издали гигантским тиражом в 45 600 экз. – за взятку.

1984
(Взгляд лингвиста)

Советская эпоха была оргией переименований. *Петроград* становился *Ленинградом, Царицын – Сталинградом, Тверь – Калинином, Пермь – Молотовом, Мясницкая* – улицей *Кирова, Пречистенка – Кропоткинской* и т. д. Но переименования были не окончательными. По мере выпадения советских лидеров из обоймы их имена теряли сакральный статус, и *Молотов* обращался в *Пермь, Сталинград* в *Волгоград, Сталинская* премия в *Государственную*, а метрополитен имени *Кагановича* в метрополитен имени *Ленина*.

При этом переименование из *Кагановича* в *Ленина* допускалось, а обратное – никогда. С другой стороны, не исключалось и переименование нейтрального названия типа *Тверь* опять-таки во что-нибудь *ленинское*. Это значило, что по прошествии достаточно долгого времени все объекты с математической неизбежностью получили бы имя *Ленина*. Первые проявления этой тенденции были уже налицо, например, официальное название московского метро: *Московский ордена Ленина метрополитен имени Ленина*, среди станций которого имелась и *Библиотека имени Ленина*. С переименованием *Москвы* в *Ленинск* был бы ленинизирован и последний беспартийный участок этого названия.

Оборотной стороной процесса была постепенная утрата корнем *Ленин* смысловой полноценности. Не противопоставляясь более бывшим *Сталинску, Кировску, Калинину* и *Молотову* (не говоря уже о *Москве* и *Нижнем Новгороде*) и лишь минимально отличаясь от родственных топонимов *Ленино, Ленинград, Ленинакан, Лениногорск, Ленинабад* и проч., *Ленинск* вскоре оказался бы просто еще одним словом со значением “город”, причем смыслоразличительная роль перешла бы от бывшей корневой морфемы к суффиксальным: *– о, – град, – кан, – бад, – горск*. Последним оплотом лексического плюрализма остались бы рудиментарные наименования типа *Ульяновск* и *имени Ильича* с их крайне ограниченным смысловым и словообразовательным потенциалом.

Станция *Библиотека имени Ленина Ленинского ордена Ленина метрополитена имени Ленина* звучит тяжеловато, но понятно. Следующим шагом должна была бы стать постепенная ленинизация имен нарицательных: *библиотека, метрополитен, орден* и т. п. *Ленинотека? Лентро?* Политически – кто бы

возражал?! Но лингвистически это был бы тупик. И в подтверждение неумолимости языковых законов, в свое время приведших в германских языках к передвижению согласных, в русском к падению еров и носовых, а во французском к радикальной перестройке всей латинской фонетики, наступила гласность.

Семнадцать мгновений весны

Операция “отъезд” не была ускоренным марш-броском; она составляла в жизни будущего эмигранта целую переходную эпоху. Одной ногой он некоторое время продолжал двигаться по привычной советской колее, а другой уже нащупывал неведомую заграничную почву. Задолго до “подачи” он начинал примеривать ее к себе, включался в предотъездные маневры уезжающих друзей, попадал в полосу отчуждения. При этом в подневольной совковой ипостаси он чувствовал себя гораздо свободнее, чем в сулившей избавление эмигрантской, сковывавшей его разнообразными советскими, западными и особыми отъезжантскими правилами. Было много курьезов.

Известный лингвист Арон Борисович Долгопольский собрался в землю праотоев сравнительно рано, где-то в середине 1970-х. Арон, или, как любовно называл его Мельчук, Аончик, был маленького роста, подвижный и жовиальный. Он носил сильные очки, нескладно вертел головой и картавил, но это не мешало ему быть полиглотом и одним из пионеров ностратики – гипотезы о родстве целых языковых семей. Свои огромные картотеки он, курсируя между Институтом языкознания и Ленинской библиотекой, таскал на себе и потому ходил обычно с двумя портфелями, а иногда еще и с рюкзаком. (Ноутбуков тогда не было в помине.)

И вот он подал документы, получил разрешение и отбыл на историческую прародину. К суматохе вокруг его сборов я причастен не был, но от Мельчука узнал, что все прошло в общем гладко, хотя некоторые вещи и материалы Аончику вывезти не удалось. Досылкой оставшегося, как всегда в таких случаях, занимались друзья и близкие и, конечно, Мельчук, сам уже нацелившийся на отъезд. А в какой-то момент и мне, до тех пор державшемуся от отъезжанства в стороне, довелось сыграть свою роль в этой международной акции.

Весь архив Арона был уже переправлен, кроме одной, так сказать, единицы хранения, с которой дело застопорилось, – никакие из задействованных каналов ее не принимали.

– Может, ты попробуешь, – сказал мне Мельчук. – Ты живешь в центре, к тебе заходят иностранцы.

– Приноси, – сказал я. – А что это такое? Что-то тяжелое?

– Таблица словарных соответствий между разными языками. Рулон большой, но практически ничего не весит.

– Так в чем проблема?

– Поймешь, когда увидишь.

В следующий раз Игорь принес заветный рулон и шикарно развернул его на полу, приперев по углам книгами. Огромный лист, метра два на три, был сверху донизу покрыт столбцами фонетических значков, взятых то в круглые, то в квадратные скобки и соединенных сложной паутиной стрелок, на которых, в свою очередь, были надписаны какие-то пояснения и уравнения. Как если бы этой подозрительной писанины было недостаточно, оборотная сторона представляла собой политическую карту Советского Союза.

– Что он, с ума сошел – писать такое на карте?! – вырвалось у меня.

– Понимаешь, Арончик нигде не мог достать большого листа, а карт в магазинах навалом. К тому же он начал эту таблицу, когда об отъездах ни слуху ни духу не было. Здесь годы работы.

– Да-да, и если вдуматься, ностратика и географическая карта буквально созданы друг для друга.

С этого дня каждому приходившему ко мне иностранцу я сначала читал небольшую лекцию о ностратике, заслугах Долгопольского и антисионистских настроениях советских таможенников, а затем выносил Аронов свиток. При виде шифрованной карты одни смущенно мялись, другие соглашались, но справедливо указывали на возможность конфискации. Я начал отчаиваться, когда на моем горизонте возник голландский профессор Ян Мейер (ныне покойный).

Мы не были знакомы, но как-то весной он позвонил, представился, похвалил одну из моих статей, был приглашен в гости и пришел, настояв на необычно раннем часе, что-то вроде пяти или шести вечера. Он оказался высоким, седым, краснолицым, очень симпатичным дядькой в черном костюме. Мы ели, пили, говорили о русской литературе (он преподавал в Утрехте, а жил, как я убедился, приехав через два года в Голландию, в Амстердаме), о только что вышедшей “Неоконченной пьесе для механического пианино” Никиты Михалкова (значит, год был 1976-й), об эмиграции, о том о сем. Среди прочего, Мейер сказал, что приехал с правительственной делегацией, в качестве эксперта по России при возглавляющем ее министре, – воспользовался удобным случаем, чтобы повидать русских коллег за государственный счет.

Случай показался удобным и мне.

– Так вы что же, VIP (Very Important Person)?

– Да, очень важная персона – в ранге члена правительства.

– Таможенного досмотра не проходите?

– Не прохожу.

– А вот эту карту возьмете? – Курс ностратики я свел к

минимуму.

– Возьму.

Подогретая застольем, а теперь и овеянная сквозняками международного шпионажа, наша внезапная дружба перешла в новую фазу. Но вскоре гость стал посматривать на часы и на дверь. Таня встревожилась, отказываясь отпустить его без второго и сладкого. Тогда он сознался, что зван еще в один научный дом, почему и пришел к нам так рано – честно говоря, на обед не рассчитывая. К кому он шел после нас, он, однако, выдавать не хотел, говоря, что, как ему объяснили, в Москве все семиотики переругались, так что никому нельзя называть никаких имен. Он явно оправдывал свой статус новоиспеченного дипломата и еще более новоявленного тайного курьера – молчал, как партизан на допросе. Впрочем, это давало и мне кое-какие шансы.

– Что же это получается? – сказал я. – На такое дело вместе идем, а вы мне в пустяках не доверяете.

Мейер раскололся – он шел к Боре Успенскому, с которым я в ссоре как раз не был. Я позвонил Боре и сказал, что его гость у нас и задерживается. Мы еще долго выпивали за науку, за свободу слова и передвижения и за будущие встречи. Потом поймали ему такси, и с картой под мышкой он отправился на следующую явку.

Через какое-то время до нас дошла весть о прибытии заветного свитка в Землю обетованную.

Часть III
Один раз увидеть

Отживать

– А где такие-то? Что-то их последнее время не видно, – спросил я Таню в наш первый год в Штатах о знакомой паре американцев.

– Они в Канаду поехали.

– В Канаду? Зачем? Что у них там?

– Они к Мельчукам поехали, отживать.

– Как это?

– Ну, помнишь, Мельчук, когда здесь лекции читал, у них останавливался, так вот они теперь к нему поехали – свое назад отживать.

Это было сказано тридцать с лишним лет назад, запомнилось намертво и периодически просилось быть проанализированным. Удачность неологизма на прочной архаической подкладке я почувствовал сразу, но вдумываться всерьез ленился.

Этическая сторона описываемой жилищной комбинации не так ужасна, как может показаться. Всем нам знаком принцип “я – тебе, ты – мне”, и ничего зазорного в обмене услугами, в частности по линии гостеприимства, нет. Ну, нелепо выглядит поездка, продиктованная исключительно возможностью бесплатного постоя, а тем более стремлением поскорее отоварить причитающееся. Ну, есть что-то туповато американское в том, как калькулятор определяет желания людей. Ну, дождались бы настоящего повода, тогда бы и поехали. Но, как говорится, на свои законные гуляем, кому какое дело?

Видимо, секрет этой остроты все-таки не столько в содержании, сколько, как по большей части и бывает, в форме – во внутренней форме слова, в работе с корнем и приставкой.

Начнем с приставки. *От* – может означать отдаление, завершение *(отделать)*, реакцию *(отразить)*, возмещение *(отдарить)*, отнятие *(отсудить)*, отрицание… Собственно, слово *отжи[ва]ть,* правда, в другом значении, существует – оно значит “слабеть, дряхлеть, уходить в прошлое, переставать быть жизненным, отмирать”. Естественным фоном ему служат глаголы с тем же корнем, но другими приставками: *выжи[ва]ть, пережи[ва]ть* (“сохраняться, не умирать”), *изжи[ва]ть* (о недостатках), *зажи[ва]ть* (о ране), *заживать (чужой век), прожи[ва]ть* (“расходовать”).

Чем больше вглядываешься в примеры, тем очевиднее коренящаяся в этом словарном гнезде тяжба между жизнью и смертью, а также акцент на цене, которую приходится платить, причем исход зависит от действия приставок. Корень *жи* –

поставляет экзистенциальную составляющую, а приставки задают ей то или иное векторное направление.

Но в Танином mot глагол *отживать* употреблен вроде бы в другом смысле. Речь там идет не о жизни и смерти, а всего лишь о временном пребывании на той или иной территории. Дело в том, что русский глагол *жить* совмещает значения, которые в других языках могут быть представлены раздельно: “быть живым, функционировать в качестве организма” (фр. *vivre*, нем. *leben*) и “жительствовать, иметь резиденцией, населять” (фр. *habiter, loger*, нем. *wohnen*). Совмещение это, хотя и не обязательное, в какой-то мере идиосинкратическое, но понятное, органичное (таково же значение англ. *live*) – и очень тесное. Так что каламбур играет не на случайной омонимии разных слов, а на смысловых переливах одного и того же.

Сплетение экзистенциальной “жизни” с пространственным “жительством” проявляется в таких выражениях, как *выживать* (кого-то откуда-то), *сживать* (кого-то) *со свету*, а типологически, например, в понятии *жизненного пространства*, восходящем к нем. *Lebensraum*. В этой связи любопытно, что если не в современном литературном употреблении, то, по крайней мере, в более старом, простонародном, у глагола *отживать* есть еще одна группа значений, близких к изобретенному Таней. Даль дает такие примеры:

> “***Отживать*** *срок свой, отжить у кого годы,* прожить, прослужить. // ***Отживать у*** *кого долг,* заживать, идти в услуженье, в заработки, за долг. // *Старайтесь* ***отжить от*** *себя незваных гостей без ссоры,* сбыть, удалить, выжить, отделаться от них”.

В двух первых случаях сочетание экзистенциального начала с пространственным под знаком приставки *от* – дает результат, противоположный нашему: ***от-****живание* мыслится не как взимание (= ***от-****ымание*) долга, а как его ответное возвращение (= ***от****-дача*). В третьем случае ***от-****живание* синонимично ***вы-****живанию* (кого-то откуда-то), и напоминает Танину реплику своей откровенной негативностью, чуть ли не убийственностью.

Ибо, конечно, ее яд в том, что путем чисто словесной игры простое взимание долга приравнивается к – пусть частичному, временному, символическому – отнятию жизни. Типа фунта плоти по Шейлоку.

Напрасные совершенства

Это было под конец моего последнего корнельского семестра, весной 1983 года. С Таней мы практически разошлись, она была у Дика в Монреале, а к Ольге в Санта-Монику я мог переехать только после окончания занятий. Я жил один в девятикомнатном доме и сходил с ума, как мог.

Тогда по приглашению своих местных поклонников – Каллера, Льюиса, Клайна – в Корнелл приехал Деррида. Я послушал одну из его лекций, нашел ее скучной, а разбор текста (кажется, “Перед законом” Кафки) малоизобретательным. В перерыве я поделился своими впечатлениями с Каллером, который стал меня уговаривать выступить, но я, понимая, что, чтобы вылезать с критикой, надо сначала пропахать немереные завалы такой же скуки, уклонился. Это не помешало мне в тот же вечер быть приглашенным к Клайну на party в честь почетного гостя.

Народу было не протолкнешься. Деррида меня не интересовал (деконструкция, собственно, и предрасполагает к маргинализации всего центрального), я пил, ел, начинал томиться, пил еще и еще и вдруг оказался лицом к лицу с, иначе не скажешь, писаной красавицей. В кампусном университете все на виду, посторонние редкость, но слава Деррида, видимо, сыграла свою магнетическую роль. Незнакомка была тяжеловата, но породиста, с темными волосами, блестящими глазами и уверенной в себе мягкой повадкой. В своем длинном платье она напомнила мне Курбского перед троном Сигизмунда в начале второй серии “Ивана Грозного”.

Я немедленно начал осаду, носившую, впрочем, прерывистый характер: мы сталкивались в толпе, обменивались репликами, что-то вместе пили, расходились, нас снова прибивало друг к другу и опять разносило в разные стороны. Я постепенно напивался и все настойчивее внушал ей, что впереди у нас что-то общее, ну, хотя бы ее моральный долг отвезти меня, безлошадного пьяного, домой.

Пришла она, разумеется, не за этим, но других своих, более честолюбивых, целей то ли уже добилась, то ли, наоборот, в этот вечер добиться отчаялась и в результате таки повезла меня – не исключено, что просто по принципу, что зануде легче отдаться, чем объяснить, почему этого делать не надо.

То есть она-то, возможно, уступила в смысле отвезти, я же в своем возбужденном состоянии, конечно, понял, что в смысле отдаться. Впрочем, состояние это было возбужденным настолько,

что однозначной интерпретации поддавалось плохо, а задним числом вообще не поддается и уже не поддастся, тут с деконструкцией не поспоришь.

Мы подъехали к дому, я уговорил ее зайти, побежал открывать, а когда она, поставив машину, поднялась в дом, вышел ей навстречу совершенно голый, с бутылкой и двумя бокалами в руках. Она и бровью не повела, но пить отказалась, сказав, что за рулем. Я стал настаивать, приставать и в ответ на очередное “нет” вдруг плеснул ей вином в лицо.

Она повернулась и уехала, я мгновенно заснул, но наутро, протрезвев, стал думать, как извиниться, а заодно снова увидеться. Я не знал ни ее фамилии, ни даже имени. Но тут я хватился своего берета и решил, что забыл его в машине. Я позвонил Клайну, про берет он не поверил, но согласился, что дама так хороша, что разыскать ее необходимо, сказал, что ее зовут Энн-Луиз Дроу (имя и фамилию меняю), и дал телефон.

В трубке я услышал шикарно краткое “Дроу” и столь же шикарно начал с берета. От берета, как и от последовавших извинений, она отмахнулась, приехать в конце концов разрешила, и я понял, что ночной эксцесс прощен, оставив по себе скорее роднящую, нежели разделяющую, и к тому же быстро затягивающуюся зазубрину.

Ехать надо было через всю Итаку, то есть на велосипеде не менее получаса. Было солнечное утро, впереди необозримо расстилался выходной день, я крутил педали, предвкушая встречу и продолжение осады.

Оказалось, что в дом она въехала только что – гардины, еще не повешенные, валялись на полу. Наконец я мог рассмотреть ее на трезвую голову и при свете дня. Ее красоты это не убавило. Фигура была по-прежнему уютно тяжеловата, лицо по-прежнему сверкало и влекло, и я опять принялся за свое. Помог и берет, обнаруженный в машине.

Мы болтали, я лез обниматься, она уклонялась, кивая на незанавешенные окна, но не гнала меня, периодически кормила, то позволяла себя целовать, то отстранялась. Я узнал, что она ирландских кровей, не замужем, занимается женской литературой, преподает в каком-то дальнем колледже, но, побывав в Белладжо, цитадели культурной элиты, решила перебраться поближе к звездному Корнеллу.

С наступлением темноты я перешел к штурму. Опять как бы нехотя, но и не особенно сопротивляясь, она уступила. В дальнем от окон углу она постелила на полу, разделась.

У меня захватило дух. Передо мной, застыв, как на классическом полотне, лежала обнаженная красавица, с немного

тяжелыми бедрами, небольшой, но правильной грудью и сверкающим лицом в раме темно-каштановых волос.

Что именно было дальше, не помню, помню только, что, в общем, ничего из этого не вышло. Все мои наскоки как-то увязали в ее благожелательной безучастности.

– В чем дело, тебя что-то во мне отталкивает? – недоумевал я.

– Ничто в тебе меня не отталкивает. Просто у меня *совсем другие* вкусы.

Я понял и оставил попытки. Мы оделись, опять поели, еще поболтали, и я засобирался домой. Она стала меня удерживать, какая-то, как говорят в Америке, химия между нами была, но я ждал звонка Ольги с Западного берега, где вечер только наступал. Я соврал, что по делам развода должна звонить жена, – понимаешь, брак, развод, увидимся завтра. Что-то ее задело.

– Брак? Объясни мне брак, ну, хотя бы на уровне вводного курса – “Marriage 101”?

Нашла, у кого спрашивать, подумал я и уехал.

Поговорив с Ольгой, я позвонил Энн-Луиз. Было поздно, но она взяла трубку.

– Дроу.

– Я приеду?

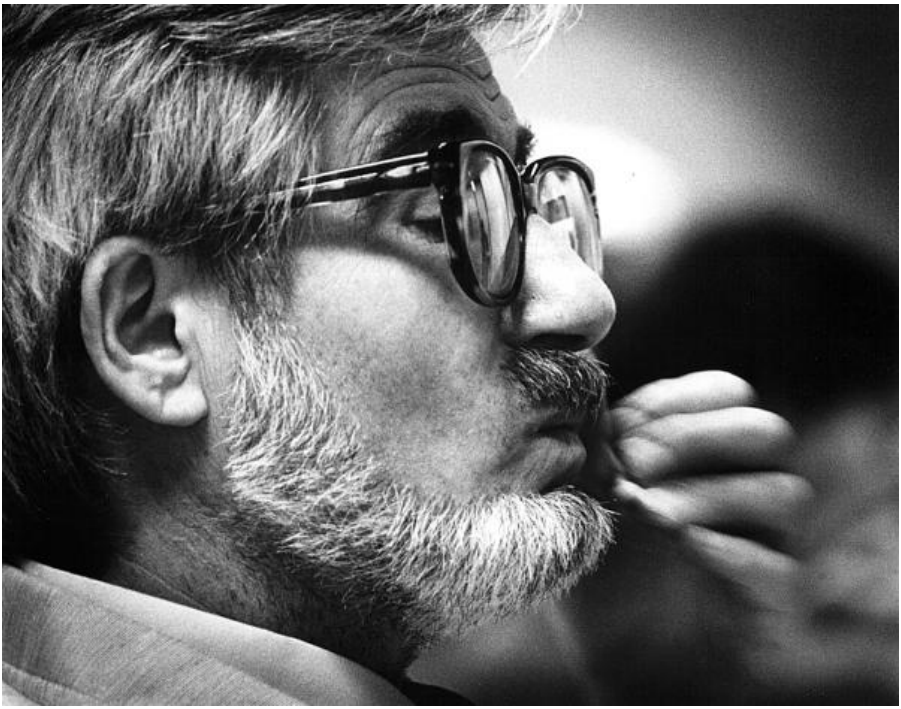
– Нет.

– Ладно, позвоню завтра.

– Нет.

Я звонил каждый день до отъезда и несколько раз в дальнейшей жизни, но слышал только односложное “Дроу” и безоговорочный отказ. Больше я ее не видел.

Десяток лет спустя в букинистическом магазине в Нью-Йорке мне попалась ее книга с неузнаваемо погрубевшим лицом на задней стороне обложки, а сейчас я для порядка заглянул в Интернет. Карьера, хотя и не в Корнелле, сделана – она заведует кафедрой чего-то женского. Лицо старое, жесткое, угловатое. Никаких следов neiges d’antan.[25] И даже неясно, включать ли ее в список.



*Я в бороде (*1989*?). Фото М. Лемхина*

Полевая лингвистика

Дамочка была немолода, но держалась уверенно. В санта-моникском магазине морепродуктов она повосхищалась моим новым шлемом, купила что надо и удалилась.

Садясь на велосипед, я услышал настойчивые гудки. Из-за руля “мерседеса” мне делали знаки. Я подъехал.

– I am picking you up (“Я вас подклеиваю”), – сказала она.

По-русски эти сладостные речи немыслимы в 1-м лице, но как англофонке ей было виднее. Тем более – как голливудской сценаристке, каковой она оказалась при кратком ближайшем знакомстве.

Дисбаланс

Это была самая большая и красивая в моей жизни женская грудь, достойная кисти Рубенса, Бабеля и Бёрджесса (придумавшего big groodies). Роман с ее держательницей расстроился после нескольких месяцев хорошо отлаженной челночной связи (я выезжал вечером, когда транспортный поток спадал, и в середине ночи возвращался по совершенно уже пустому фривею, с ветерком укладываясь в полчаса) – из-за элементарной культурной нестыковки, опрокинувшей образцовую в остальном мопассановскую конструкцию. Дискурс подвел.

Мы случайно встретились у общих знакомых. В синей блузке, красных брюках и сапогах на высоком каблуке, с медно-красным лицом, решительным еврейским носом и расширенными, как бы близорукими глазами, она выглядела очень желанной. Я не обманулся. У нее оказалась гладкая кожа, крепкая, немного узкая в бедрах, фигура и запас энергии, который было одно удовольствие исчерпывать.

К своему телу она относилась с американской рачительностью, следя за диетой, принимая витамины (сугубо organic) и занимаясь спортом (плавание, джоггинг). В первый же вечер у нее дома я заметил на ее босых ногах, у самых щиколоток, что-то вроде гантелей. Она объяснила, что так исподволь наращиваются мышцы ног. Меня ее ноги вполне устраивали, и я опять констатировал действие неофитского американизма – в этом, как и в ее попытках уравновесить наше обоюдное вожделение разговорами о long-term relationship (долгосрочных отношениях).

Груди были вызывающе живые, одновременно мягкие и упругие, не отягощенные никакими посторонними идеями – ничем, кроме собственного золотого веса. От сочетания с узкими бедрами они только выигрывали. Они были хороши анфас и в профиль, спереди и сзади, сверху и снизу. Я не мог на них налюбоваться. Особенно трогала едва заметная асимметрия их встречного взгляда. Осмелившись, я наконец спросил:

– Ты знаешь, что они у тебя косят? – Образ я похитил у Бабеля.

– А, это после операции…

– Как операции? Ведь они натуральные, здоровые? – затревожился я.

– Вот именно здоровые. Пришлось урезать.

– Урезать?!

От смеси облегчения (все-таки натуральные) с

разочарованием (в полном объеме они мне не достались) я расхохотался.

– Я с ними намучилась, повернуться толком не могла. Слава богу, тут это делают, ноу проблем.

Расстались мы из-за пустяка, обнажившего подспудные расхождения. Она и тут повела себя как американка – по почте вернула мои книжки и отвергла виноватое предложение остаться друзьями.

История давно ушла в прошлое, но иногда вспоминается. Может, гири были нужны для остойчивости – как противовес?

Школы для дураков

“Он уже устроился?” – “Нет, еще работает”. Это немного устаревший банальный анекдот о жизни русских евреев в Америке, но в начале 1970-х и дарованной Никсоном и Брежневым эмиграции представления о Западе были самые возвышенные. Рисовался, в согласии с учениями культурологов, совершенно иной мир, со своей особой системой норм и понятий. Моя тогдашняя знакомая, одна из трех выпавших на мою долю настоящих красавиц, решила уезжать потому, что там – там! – ее наконец заставят работать.

Она была молода, повторяю, патентованно красива, была любимицей питерской литературной богемы, за ней тянулся шлейф знаменитых романов, работать особенно не приходилось, все было схвачено (у меня до сих пор есть цейссовская оправа от ее “очкаря”, а вот купленное под ее руководством кожаное пальто канадского офицера Первой мировой войны я так и не полюбил и перед отъездом продал), обо всем она имела мнение и с шикарной прямотой его высказывала, ее капризы радостно сносились (придя в гости в незнакомый дом и еще только раздеваясь в передней, где кто-то, не исключено, что хозяин, говорил по телефону, она могла объявить: “Вы не по назначению используете телефон, молодой человек!” – “??” – “Телефон существует для того, чтобы сообщить важное известие или договориться о встрече, а не занимать его часами!”). Картинка тех лет: она полусидит-полулежит, в желтой шерстяной блузке и черных брюках, длинные ноги разбросаны широко и высоко – но брюки не в обтяжку, выпуклости не подчеркнуты, дело не в эросе, а в hubris’е, “гордыне”, it’s not about sex, it’s about power, – и держит речь о Мережковском и Гершензоне, об ограниченности мужчин, полагающих, что им идут исключительно голубые рубашки, о поправке Джексона-Вэника…

И все это она готова была отдать за достойную деловую американскую жизнь. Мы встретились в ее предотъездный период, и она стала уговаривать меня тоже ехать, однако мне, чтобы решиться, потребовалось еще шесть лет – еще одна почти целая супружеская жизнь.

Папу я знакомил не со всеми дамами, но ее в один из ее приездов в Москву представил. Он заинтересовался, причем в первую очередь ее рассказами о планах отъезда. Особенно сообщением, что по дороге в Штаты эмигранты должны пройти в Италии курсы культурной абсорбции – адаптации к жизни на Западе.

– Абсорбции? Вот как? Завидую вам. Я бы тоже хотел пройти курсы абсорбции, чтобы адаптироваться к жизни в нашей стране.

В свои 65 он был признанным (хотя в свое время, как полагается, битым) ученым, автором десятка классических монографий, ментором нескольких поколений музыкантов, прекрасно ладил с начальством, коллегами и издательствами, но комплекс еврея при губернаторе, видимо, снедал его непрерывно. Абсорбция не давалась.

Собственно, на этом можно было бы кончить, потому что его реплика, как говорят американцы, is a tough act to follow (“номер, после которого удивить трудно”), но виньетка все-таки не про него, а про нее.

Она уехала, поступила в Калифорнии в престижную аспирантуру, где вскоре разругалась с научным руководителем, а там и со всей кафедрой, была исключена, судилась сначала с университетом, потом со своим адвокатом, оба дела проиграла и тогда филологию забросила – на время, с тем чтобы, разбогатев, вернуться в нее уже на новых условиях, – нашла партнеров, с которыми занялась бизнесом (торговлей недвижимостью, но не какой попало, а построенными по их заказу роскошными домами) и таки да разбогатела (последний дворец под Сан-Франциско она продала на моих глазах, доведя таким образом свое состояние до отметки, начиная с которой можно припеваючи жить на проценты, но сначала он пустовал, и я пожил в нем в очередной переходный период; паркет сверкал, а мебели не было, и она выдала нам один из собственных футонов[26]), после чего приступила наконец к сочинению книг и их на тем временем слегка цивилизовавшейся родине издала к сегодняшнему дню уже три.

Живет, однако, не в России. Живет с мужем-немцем, не говорящим по-русски, то в Калифорнии, то в Германии. При всей своей неуживчивости худо-бедно устроилась.

А вот в России, говорит, не потянула бы. Я ее понимаю. Тут необходима адаптация к культурной экзотике, жизни насквозь духовной, концептуальной – по понятиям. Нужны специальные школы абсорбции, платные, дорогие, цены им не будет.

Скорпионова виньетка

О скорпионах я никогда не задумывался, но однажды они вдруг оказались в центре моего внимания.

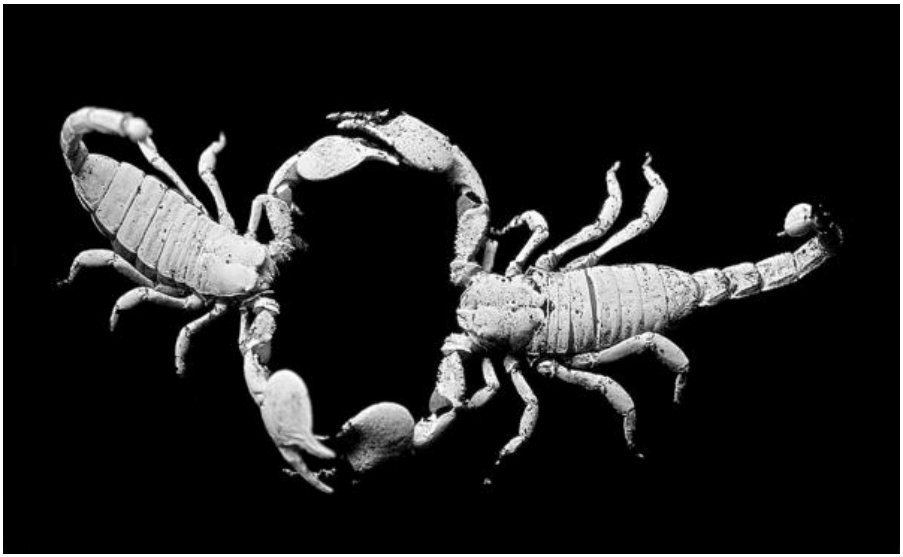
Началось с попытки понять, почему Бенедикт Лившиц назвал свое стихотворение “Не вея ветром, в часе золотом…” (1914) “Скорпионовым рондо”.

Не вея ветром, в часе золотом
Родиться князем изумрудных рифов
Иль псалмопевцем, в чьем венке простом
Не роза – нет! – но перья мертвых грифов,

Еще трепещущие от истом.
Раздвинув куст, увидев за кустом
Недвижный рай и кончив труд сизифов,
Уснуть навеки, ни одним листом
Не вея…

О мудрость ранняя в саду пустом!
О ветр Гилеи, вдохновитель скифов!
О веер каменный, о тлен левкифов!
Забудусь ли, забуду ли о том,
Что говорю, безумный хризостом,
Неве я?

Почему рондо, понятно – потому что поэт, хотя и на головоломной смеси древнегреческого с нижегородским, уложился в заданную форму. Но почему скорпионово? Отсылка к привычке скорпионов насмерть жалить себя собственным хвостом кажется избыточной – рондо и так предполагает кольцевое замыкание. Правда, Лившиц кончает каламбурной вариацией (*Не вея… – …Неве я?*), но ничего специфически скорпионьего ни в этом (таков один из распространенных подтипов рондо), ни в тексте стихотворения вроде бы нет. Впрочем, судить о том, что в нем есть, а чего нет, – дело специалистов, которые пока не разгадали этого ребуса, шифрующего то ли какую-то конкретную картину, то ли сложные полемические игры Серебряного века (Гилея, “Скорпион”, “Гриф” и т. д.), то ли и то и другое. Меня стихотворение интересует с точки зрения своей инфинитивности (*Родиться… Уснуть…*), но хорошо бы понимать, что к чему.



It takes two to tango («Танго танцуют вдвоем»; англ. пословица)

Почти одновременно пришел очередной номер “New York Review of Books”[27] со статьей под интригующим заглавием “When a Scorpion Meets a Scorpion”. Приведу пассаж оттуда, поразивший мое воображение (не перегруженное информацией о повадках беспозвоночных, так как Фабру я с детства предпочитал Брэма), – настоящую поэму в прозе, заранее прося прощения за свой энтомологически и поэтически непрофессиональный, но по возможности близкий к оригиналу перевод.

> “Когда самец скорпиона встречает самку скорпиона [отсюда двусмысленное поначалу заглавие статьи], все его внимание сосредоточено на почве у них под ногами. Это видно по движению его чувствительных грудных гребешков, сканирующих почву, в то время как сам он всем телом мелко вибрирует взад и вперед. Затем он приближается к самке и жалит ее в мягкое место между суставами ее клешни. Самка расслабляется, что позволяет ему схватить ее клешней за клешню, подтащить к себе и лицом к лицу с ней повести ее в скорпионовом вальсе.
>
> В лабораторных условиях пара скорпионов может вальсировать долго – вплоть до двух суток. Но на природе ей обычно хватает около получаса: танец заканчивается, когда самец останавливает наконец свой выбор на подходящем участке почвы (в лаборатории вальс затягивается из-за того, что там самец никак не может найти правильной поверхности). Фактура почвы

существенна для половой жизни скорпионов потому, что вместо пениса у самца имеется отделимый…[28] сперматофор,[29] который должен быть прочно воткнут в землю, без чего оплодотворение состояться не может.

Как следует установив спермапакет, самец продолжает вести свою партнершу до тех пор, пока ее гениталии не окажутся над этим органом [образ съемного члена, возможно, не столь уникальный на фоне перекрестного опыления, метания икры и т. д., в человеческом плане волнует доведенным до скульптурной четкости отчуждением от собственной страсти – типа тантристской эротической самодисциплины или по-пушкински сублимированного *Но пусть она Вас больше не тревожит; / Я не хочу печалить Вас ничем]*. Под тяжестью самки сперматофор гнется, в нем открываются два маленьких клапана, и через них выбрасывается сперма”.

Обратившись к русским источникам, я узнал о скорпионовом вальсе еще более поразительные вещи.

Самец и самка сцепляются клешнями и, подняв вертикально хвосты, в течение многих часов и даже дней ходят вместе. Обычно самец, пятясь, влечет за собой более пассивную самку. Особи прячутся в укрытие, которое самец, не отпуская самку, быстро расчищает с помощью ног и хвоста. Периодически самец целует самку, кладет свои хелицеры (челюсти) на ее челюсти, возбуждая партнершу, порой танцующие скорпионы в экстазе даже приподнимаются над землей. Наконец, самец откладывает сперматофор, подтягивает на него самку, и она подхватывает его половым отверстием. Он лопается, и сперма оплодотворяет яйца, а затем самец выделяет особый секрет, которым заклеивается половое отверстие самки. Оболочку сперматофора самка съедает. В течение брачного сезона самец может откладывать сперматофор несколько раз, но продолжительность танцев каждый раз увеличивается. Самка тоже может танцевать несколько раз. Бывает, что после свадьбы более крупные самки нападают и убивают мелких самцов…

У меня все это вызвало всплеск сопереживания скорпионам обоего пола, тем более что попутно выяснилось, что практически все расхожие представления о скорпионах несправедливы.

Скорпионы не нападают на людей и жалят их, лишь защищаясь. Яд скорпиона смертелен далеко не у всех видов и не всегда. Не жалят скорпионы и самих себя – якобы в порядке героического самоубийства, как в соответствующем сонете

Бальмонта: *Я гибну скорпионом – гордым, вольным* (обложенный кольцом горящих углей, скорпион, театрально махнув хвостом, прибегает к известному трюку членистоногих – танатозу, или мнимой смерти), а также животных, якобы взявшихся перевозить их через реку и становящихся жертвой чудовищной и опять-таки самоубийственной неблагодарности.

Правда, в неволе, в тесном садке, оголодавший скорпион нередко поедает собрата, но вообще каннибализм (на языке энтомологов это называется именно так) для них не типичен. Последнее время скорпионы все чаще становятся домашними питомцами, хотя содержать их не просто: они отличаются редкостным свободолюбием и чрезвычайно требовательны к условиям содержания и кормления (едой для них служат сверчки, кузнечики, некоторые виды тараканов, главное, чтобы насекомые были живые, мертвых они не едят).

Скорпионы были первым отрядом, вышедшим на сушу 400 миллионов лет назад; они скорее осторожны, нежели агрессивны, и очень выносливы – могут обходиться без воды и пищи до полутора лет; двенадцать глаз, расположенных по всему телу, обеспечивают им круговой обзор; беременность продолжается у них около года; а живут они до 20-летнего возраста.

Боюсь, что ничем иным, как своей человекообразной, слишком человекообразной, натурой скорпионы и привлекли к себе недружелюбно пристальное внимание человечества. Причем выпячиванию и преувеличению было подвергнуто все, связанное в их образе жизни с насилием, а их замечательная культура любовных отношений замалчивалась и потому оставалась мне неизвестной.

Но так уж устроено наше мифологизирующее сознание. Как-то раз, посмотрев очередной фильм по “Ричарду III” (1995 года, с Иэном Мак-Келленом, где действие перенесено в 1930-е годы и герой представлен современным фашистом), я обратился к комментариям. Оказалось, что

> исторический Ричард Йорк не был так уж хром и горбат, жесток же был не больше окружающих (как говорится, время было такое – нашим политкорректным потомкам сама идея выборов, на которых, хотя и по правилам, одни побеждают, а другие терпят поражение, покажется, конечно, не меньшей гадостью, чем нам убийство несовершеннолетних соперников в борьбе за престол, настолько все будут полностью и окончательно равны), а просто Шекспир вслед за Холиншедом и Томасом Мором демонизировал его в угоду

человеческому интересу к злодейству вообще и антийорковским установкам Тюдоров в частности.

Или взять Клеопатру. Оказывается,

> она была совершенно некрасива, зато очень образованна, знала больше языков (латынь, греческий, древнеегипетский, эфиопский, древнееврейский, арамейский и нек. др.), чем мужчин (Цезаря, Антония и, в той или иной степени, двух своих малолетних братьев-супругов), и была толковой правительницей, вводившей реформы и стремившейся вернуть птолемеевскому Египту былое величие. Вместо этого мы имеем образ бесконечно желанной женщины-вамп, убийцы бесчисленных любовников-мазохистов, сладострастной совратительницы и погубительницы Антония.

Но против лома нет приема – с Шекспиром и Пушкиным не поспоришь, это тебе не Б. Лившиц.

Русское

Таня, которая всегда знала, как надо, решила, что свадьбу мы будем праздновать на даче, а так как своей у нас не было, то определила, на чьей – ее подруги Ксаны, вернее, ее отца, доктора экономических наук Павла Петровича Маслова. Получив через Ксану его согласие, мы поехали знакомиться и договариваться.

Собственно, знакомиться предстояло мне, Таня знала его давно. По дороге она рассказала, что он держится как русский барин, живет круглый год на даче, не употребляет, подобно Солженицыну, иностранных слов, ко всему советскому, включая преподаваемую им экономику, относится со здоровым цинизмом и гордится, что его отца, знаменитого экономиста, ругал Ленин.

Павел Петрович вышел открыть калитку и оказался высоким пожилым господином (ему был 71 год) со скуластым по-татарски лицом, казацкими черными усами и офицерской выправкой. Пожимая мне руку, он проговорил нараспев, в нос и как бы в сторону:

– Ну что ж, довольно-таки бравый молодой человек… – Проблематичное в плане исконности слово он почти проглотил: вышло что-то вроде “мрааuый”.

Разумеется, “бравый” – давнее, дворянское заимствование, а такие в его словарь допускались, например “библиотека”, с ударением, разумеется, на “о”. Вообще, весь его славянофильский пуризм был чистой воды стилизацией. Живя с отцом в эмиграции, он овладел тремя европейскими языками, на международных конференциях говорил без переводчика, а в заглавиях его научных трудов (“Бюджетный индекс”, “Статистика в социологии”) русские слова вообще не встречались. На участке красовалась надпись: *Do not walk on grass before kossing* (“По траве до косинга, т. е. покоса, не ходить”), а над толчком в нужнике: *Stand up closer: it is shorter than you think!* (“Становись ближе – он короче, чем ты думаешь!”).

В загородном доме у него оказалась библиотека на многих языках, и я взял почитать мемуары Андре Мальро по-французски, а когда чуть ли не через год вернул книгу, он удивился, видимо, совершенно забыв о ней:

– Вот, а Солженицын говорит, что в России нет порядочных людей!..

Была ли в этой фразе скрытая полемика с дочерью, любившей повторять, что в России нет порядочных женихов, не знаю. Тема безвозвратно ушедшей в прошлое порядочности была у него излюбленной, и ему принадлежало вошедшее в наш обиход

выражение “нерукоподаваемая личность”. А беседуя в кулуарах свадьбы с папой, он похвалил Таню так:

– Это находка, порядочных нонче нет.

Когда в тот первый визит мы попрощались и двинулись к калитке без вещей (не помню, почему оставленных у него в багажнике), он спросил:

– Поклажу-то забирать будете?

Роль зощенковского помещика, который “через все ваши революции сохранился” и живет в собственной усадьбе (по сюжету – в сумасшедшем доме), он играл до конца и умер, прожив лишь на три года меньше (1902–1978), чем его отец (1867–1946). В последний год его жизни Ксана вышла замуж за шведа и в дальнейшем уехала за границу, как и другая его дочь. Мы с Таней тоже уехали, а когда разошлись, она вышла за американо-канадца. Видимся мы в основном на даче под Москвой – у другой ее подруги.

Дворянское гнездо

Мало было отпраздновать свадьбу на даче, летом надо было на даче жить. Но дачу снимают весной, и первое лето пришлось пропустить.

Временным суррогатом дачи стали поездки на озеро Валдай, где у меня оставалась лодка с парусом. Правда, Таня воды не любила, но из чувства супружеского долга ездила. Падучева сетовала на простои в работе, Таня отвечала: “Елена Викторовна, не могу. Я *должна* кататься на яхте”.

На следующий (1974-й) год дачу стали снимать. Таня каким-то образом установила, что снимать надо в Купавне, где озеро чистое (моторки запрещены), а поселок вдоль него – генеральский, почти закрытый.

“Почти”, потому что прямого запрета или ограды не было, но, как мы быстро убедились, приехав на разведку прозрачным апрельским воскресеньем, не было и желающих сдавать. Вообще, сезон еще не начинался, и мы, щелкая зубами, ходили вокруг запертых участков.

Один генерал все-таки раскололся. Сам он сдавать не стал, но по секрету дал наводку на вдову-генеральшу, Зинаиду Владимировну Кочеткову, дачников пускавшую. Связав нас страшной клятвой, он сообщил ее московский телефон и предупредил, что потребуются солидные рекомендации.

Это было первое брачное испытание, и его я, в отличие от большинства последующих, выдержал. Я позвонил Зинаиде Владимировне, представился, похвалил ее поместье, сказал, что мы, к сожалению, незнакомы, но пусть она назначит, от кого нужны рекомендации, и я их доставлю. Приезжайте в воскресенье, сказала она, у меня для вас есть *павильон*.

Генеральша оказалась крепкой, энергичной женщиной со следами былой красоты. Я назвался. Она произнесла с выражением:

– Какое у вас красивое имя, Александр Константинович!

Вслушиваясь в интонацию, я заподозрил, а узнав Зинаиду Владимировну поближе, убедился, что под красотой понималась излучаемая моим именем-отчеством аура расовой чистоты, в натуре не наблюдавшейся. Тем не менее мы поладили.

Участок был огромный. В центре стоял двухэтажный господский дом – трофей, вывезенный генералом из побежденной Германии. Он не сдавался – в нем жила генеральша со взрослой дочерью Наташей и иногда наезжавшим сыном с семьей. Но по участку были разбросаны сарайчики, вагончики, времяночки,

населенные разношерстным людом, вряд ли поступившим по рекомендациям Генштаба. Отведенным нам павильоном оказалась осевшая изба, в которой хозяева жили когда-то сами, пока крепостные солдаты по камешку по кирпичику воспроизводили немецкое чудо.

Одна жиличка, совсем простонародная старушка, ютилась в фургончике без окон. Ее фольклорность сыграла свою магическую роль, когда нас стали донимать крысы. Ничто не помогало. Старушка сказала: “Вы бузины наломайте, оне ее не любят”. Бузина росла тут же, за забором. Мы ее, недоверчиво посмеиваясь, наломали и набросали. Крысы исчезли.

В том же дальнем углу, что фольклорная бабушка, помещение, более похожее на жилье, снимали таксист Толян с хамского вида женой – зав. винным отделом гастронома. Располагая в семье контрольным пакетом акций, жена держала Толяна, робкого пьянчужку с льняными волосами, в постоянном страхе изгнания. Ее симпатичный четырнадцатилетний сынишка стал, к облегчению Тани, моим партнером по яхте.

Я наслаждался катанием, купанием, дачей, лесом, хотя до станции было далеко и продукты мы по-туристски таскали из Москвы на спине. Кто страдал от дачной жизни, так это безапелляционно приговоренная к ней Танина мама. Ксения Владимировна недоумевала, почему вместо благоустроенной городской квартиры она должна зябнуть на сырой даче, но с ангельской кротостью отбывала назначенные сроки. По иронии судьбы, она, будучи действительно дворянского происхождения, оказалась в двойной вассальной зависимости – от Тани, унаследовавшей командные гены отца-полковника, и от генеральши.

Иногда приезжал мой папа – тряхнуть стариной и сходить “в далекую”. Эта формула помнилась с детства, когда папа, повязав на голову носовой платок с четырьмя узелками по углам, отправлялся за десятки километров к другой ветке железной дороги, слал оттуда маме телеграмму и поспевал к ее сюрпризному вручению.

Выставив небольшой столик в сад, я занимался полузапретным Пастернаком, наслаждаясь соответствием антуража его дачной поэтике. Наш дом был ближе всех к озеру, стол стоял у самой дорожки, и Толян, проходя мимо, звал меня купаться. Я отвечал, что работаю, и он с неизменным недоумением повторял: “Че ты все пишешь?! Писатель!!” (Как в воду глядел.)

Зинаида Владимировна вставала с рассветом и весь день, не покладая рук, поливала, удобряла, подрезала, окапывала,

опрыскивала, пропалывала и пересаживала в изобилии росшие на участке цветы, ягоды, овощи и фрукты. Одновременно она распоряжалась наемными рабочими из деревни, которые что-то для нее чинили, красили, копали и заливали бетоном, а к концу дня хрестоматийно толпились у заднего крыльца в ожидании оплаты.

Рабочими она была недовольна – они явно уступали немецким стандартам.

– Моя бы воля, я б их на конюшне секла, – говорила она. Я кивал с чувством тайной диссидентской солидарности.

Деревенскую публику Зинаида Владимировна вообще не жаловала.

– Вот у кого теперь деньги, – говорила она, мотая головой в сторону шумно колесивших вокруг участка пьяных мотоциклистов.

В ее “теперь” слышалось сожаление об уходящих в прошлое временах подлинного аристократизма.

– Какая у вас замечательная усадьба! – как-то сказал я, отчасти в дипломатических целях, но не кривя душой, и был вознагражден незабываемой репликой:

– Сталин добрый был, много давал…

Покататься на яхте приезжали друзья. Однажды была американская аспирантка Джоханна Николлз (ныне знаменитая лингвистка). Из валютного магазина она привезла невиданный продукт – пиво в банках. Потягивая его под деревом, она употребила изысканную английскую конструкцию “Am I decadent!” (“Ну, я и разлагаюсь!”), которую мы тут же освоили.

Яхточка ее не впечатлила – ее бывший свекор был бизнесменом как раз по этой части.

– He owns marinas…

– Marinas? Что такое “марина”?

– Пристань с прокатными лодками, яхтами и тому подобным.

– So he owns it? (“И он ей владеет?”)

– Them. (“Ими”.)

Как реалии, так и грамматика (pluralis) звучали недосягаемо. Впрочем, свекор, вместе с мужем и маринами, был все-таки бывший.

…В один из первых приездов после перестройки, летом 1991 года, я совершил ностальгическое паломничество в Купавну. Я ожидал увидеть процветающий, может быть, чрезмерно коммерциализованный, курорт и был поражен зрелищем запустения. Кругом были непроходимые буераки, валялись блоки распавшейся бетонной ограды, кафе на берегу было заколочено, озеро зацвело, по нему не катались и в нем не купались. Даже

погода соответствовала – несмотря на июль, было холодно.

С трудом пробравшись к даче, я привычным движением открыл внутреннюю щеколду калитки, вошел и осторожно, с извиняющейся оглядкой, направился к главному дому. Он, однако, был необитаем – завешен пластиком, как при ремонте. Меня окликнула пожилая женщина, в которой я узнал Наташу. Я сказал, что когда-то снимал здесь дачу, спросил Зинаиду Владимировну. Наташа улыбнулась и повела меня к стоявшему около “павильона” столу с лавками, за которым сидела, как Меншиков в Березове, закутанная в темное тряпье генеральша.

Мы поздоровались. Мне были рады. Наташа сказала:

– А я смотрю, кто-то иностранной походкой идет по участку…

Беззубо шамкая, Зинаида Владимировна стала жаловаться на разруху (“Теперь, знаете, у кого деньги?”), расспрашивать, радостно завидуя, про наше заморское благополучие (я стушевался, сказав, что по-настоящему богата Таня, у которой бизнес и дом в Итаке, квартира в Монреале, дом и земля под Монреалем) и допытываться у меня, иностранца, “что же теперь с нами будет”.

Господский дом ремонтировался, значит, было на что, но пока они жили в той же избушке, что когда-то, – у разбитого корыта. Аристократическая парадигма, разыгранная генеральшей, оказала себя с неукоснительной полнотой, явив наглядную картину разорения мелкопоместного дворянства.

Интересно, как теперь? У кого деньги?

“Да” и “нет” не говорить…

Свой саббатикал[30] (1990/91) я проводил в научно-исследовательском центре на Восточном берегу, а Ольга оставалась в Санта-Монике. Мы постепенно расходились, но регулярно перезванивались и даже обменялись визитами.

Вот однажды звоню, спрашиваю, как жизнь, все ли в порядке, и в ответ слышу взволнованное:

– Меня ограбили! То есть нас с Мариной.

Марина была ее школьная подруга, но не из первой, а из второй эмиграции и потому не такая аристократка и левачка, но все-таки.

– Как это случилось? Ты цела?

– Да нет, ничего страшного. Мы вечером гуляли в скверике на 4-й улице, помнишь?

– Конечно.

– Так вот, к нам подошли двое и отобрали все деньги и драгоценности – часы, кольца, сережки, цепочку.

– В полицию заявили?

– Заявили, но там нас не очень обнадежили, сказали, что вряд ли найдут. Особенно жалко маминого колечка. Да дело не в этом, а в унижении. И обидно, ведь в Санта-Монике преступности практически нет…

– Да, – говорю, – обидно.

Говорю это и замолкаю. Ольга тоже молчит. Выдержав паузу, задаю давно вертящийся на языке вопрос:

– Ну, а в какой момент в полиции зашла речь о цвете кожи грабителей?

Спрашиваю тоном, не оставляющим сомнений, что и через тысячи верст ясно его различаю.

– О нем речь не заходила.

– ???

– Они не спросили, а нам было неудобно с этим вылезать (volunteer this information).

– Понимаю, понимаю, это прозвучало бы как-то неполиткорректно. Но о колечке тогда можно забыть. Или полиция не хуже меня знает, кого ловить? Только как бы не вышло racial profiling?![31] А так – affirmative action[32] в лучшем виде.

…И двадцать лет спустя вспоминаю эту историю со смешанными чувствами. Жалко, хотя теперь уже совершенно вчуже, фамильной драгоценности, тревожно за наш благословенный городок и, last but not least, обидно за нашу

некогда пассионарную расу, теряющую последние остатки воли к выживанию. Обидно, хотя, если подумать, на знакомстве главным образом именно с ее представителями основано мое невысокое мнение о человечестве в целом. Наверное, просто жалко своих, как ни пошло это звучит.

Трубка
(Виньетка в 72 слова)

Она была красавица, умница, мы улыбались друг другу, но романа как-то не выходило.

Шли годы. Мы с Таней уже давно жили на одном конце Америки, они с мужем на другом, мы мило видались, но это было и все.

Однажды я остановился у них. Днем я задремал. Сплю я и снится мне, что я жду ее, она зовет: “Алик”, входит.

Я просыпаюсь. Это она. Подходит к кровати, улыбается, протягивает мне трубку:

– Таня.

Генерал Гоголь
(История одного открытия)

Уже на заре туманной юности, сподобившись соавторствовать с великим Мельчуком, я удивлялся, сколь долгим и кривым – “ненаучным” – путем приходят в голову совершенно, казалось бы, очевидные вещи, которые потом и докладывать-то в качестве открытий как-то неловко (“Ну да, конечно, но это же и так ясно, а как же иначе…”). Мельчук отвечал, что никаких научных методов не бывает и быть не может, надо просто разуть глаза, шевелить мозговой извилиной, трудиться в поте лица и не заморачиваться дурацкими вопросами.

Историей одного затянувшегося открытия, правда, не в филологической, а в житейской сфере, я недавно поделился с читателем – рассказал, как в один прекрасный день, после десятилетий блуждания в интеллектуальной темноте, я сообразил, что в нашей благословенной Санта-Монике парковочные счетчики на незастроенной – открытой к морским горизонтам – стороне Океанской авеню имеют номера, соответствующие их уличным адресам и потому легко вычислимые.[33]

А вот еще одна подобная история, свеженькая.

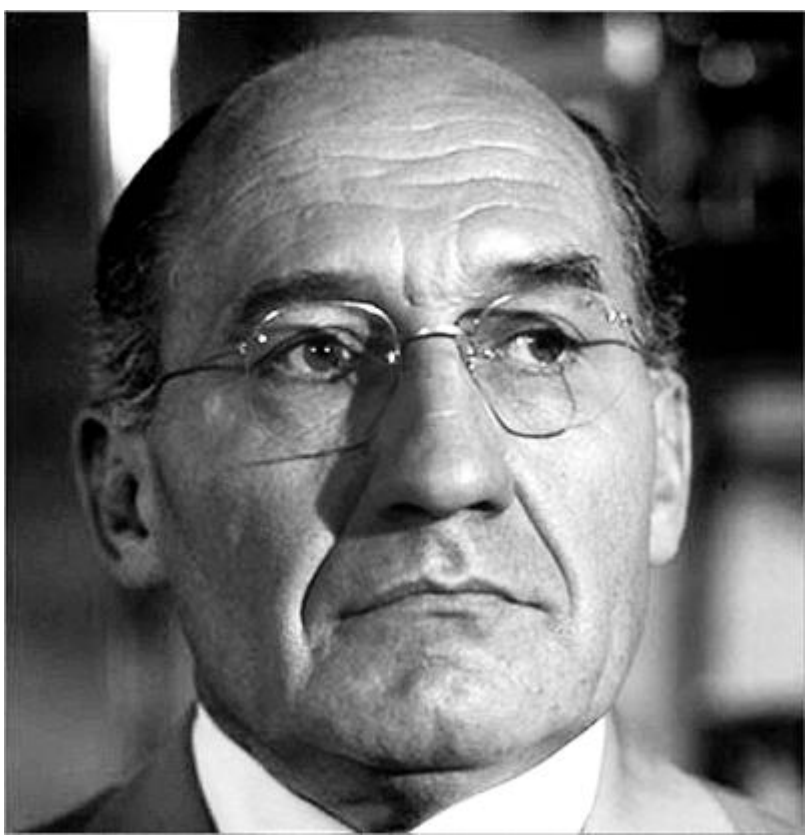
Преподавая вот уже четвертый десяток лет общеобразовательный курс русской новеллистики, я, в целях снискания у американских первокурсников дешевой популярности, дойдя до Гоголя, иногда сообщаю, что в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде в качестве главы советской разведки фигурирует генерал Гоголь.

Это действует, правда, с годами все меньше: имя Джеймса Бонда постепенно становится столь же экзотическим, как имена лорда Байрона, Вальтера Скотта, Генри Джеймса и многих других англоязычных авторов. Но отдельные смешки упоминание о Гоголе под флагом Бонда все-таки вызывает.

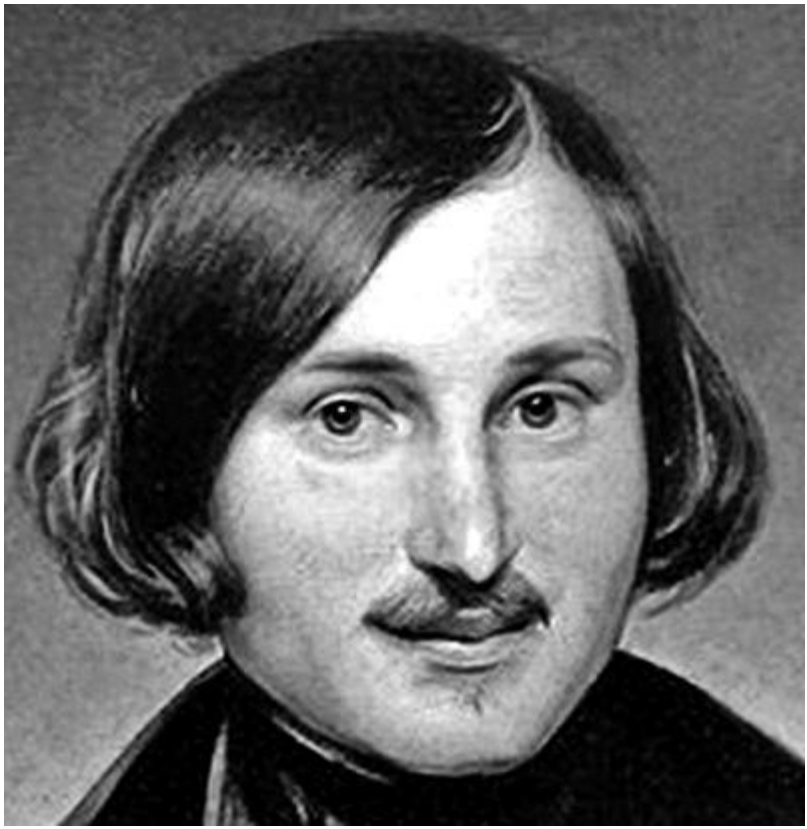
Недавно (в сентябре 2014 года) я по телевизору случайно наткнулся сразу на два таких фильма подряд: *For Your Eyes Only* (1981) и *A View to a Kill* (1985). Надо сказать, что генерал Анатолий Гоголь,[34] хотя и является естественным противником Бонда, – персонаж, в общем, скорее положительный, здравомыслящий, сторонник мирного сосуществования и разрядки напряженности. И, когда я в этот раз заговорил о нем перед студентами, меня вдруг впервые осенило, что и наш Николай Васильевич был-таки полным генералом, почти в

буквальном смысле слова.[35]

В классе я обычно ограничиваюсь рассуждениями о том, что кто-то из создателей бондианы, по-видимому, прослушал в свое время курс вроде моего и, возможно, даже сознательно учел фиксацию персонажей Гоголя на чинах, чинопочитании, знаках различия (вспомним квази-*маиора* Ковалева в “Носе”, *значительное лицо* в “Шинели”, претензии героя “Записок сумасшедшего” на испанский престол), да и его собственную любовь к имперской субординации и высочайшим повелениям. Об этой ориентации Гоголя на Табель о рангах я писал, со ссылками на Синявского,[36] в своем разборе письма Гоголя к калужской губернаторше.[37] Там я даже сравнил начальственный самообраз автора с аналогичным позиционированием соколовского Палисандра и, шире, с дискурсом Комара и Меламида, Д. А. Пригова и других соцартистов. Но разглядеть в Гоголе генерала так и не сумел.



*Генерал Гоголь (актер Walter Gotell). Кадр из фильма «The Spy Who Loved Me» (*1977*)*



Н. В. Гоголь. Портрет работы Ф. А. Моллера. 1840-*е гг.*

Надо сказать, что соцарт, подталкивавший мысль в этом направлении, почему-то – и, как я теперь понимаю, незаслуженно – оставлял Гоголя в стороне. Так, в приговских “Некрологах” (1980):

> “Центральный Комитет КПСС, Верховный Совет СССР, Советское правительство с глубоким прискорбием сообщают, что 10 февраля (29 января) 1837 года на 38-м году жизни в результате трагической дуэли оборвалась жизнь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина <…> что 15 июля 1841 года в результате дуэли скончался замечательный русский поэт Лермонтов Михаил Юрьевич <…> что в 1881 году ушел из жизни известный писатель Достоевский Федор Михайлович <…> что не стало графа Льва Николаевича Толстого. <…>[38]

Гоголь в элитную компанию, отмеченную правительственным вниманием, не попадает.

Соцартовский образ классиков, как своего рода членов Политбюро, закономерно опирался на понятие “литературных генералов”, то есть официально признанных живых классиков советской литературы, печатавшихся гигантскими тиражами (от Шолохова и Симонова до совершенно бездарных, но занимавших важные секретарские посты Софронова, Кожевникова и др.). Кстати, выражение “литературный генерал” было впервые употреблено, по-видимому, Достоевским (в “Униженных и оскорбленных”) и подхвачено современниками, включая Салтыкова-Щедрина, но полноценный командный смысл обрело в позднесоветское время. Недаром на обложку своей книги о власти в литературе Михаил Берг[39] вынес фрагменты коллажа Б. Орлова (1982), где галерею брежневоподобных орденоносцев в генеральской форме образуют академик Павлов, Маяковский, Петр Первый, Горький, Ленин, непонятно кто (Тургенев? Менделеев? Стасов?), Пушкин и Ломоносов. Но Гоголь и тут блистает, как говорится, своим отсутствием.

А между тем в одном из часто цитируемых (в частности мной, в том числе в лекциях для первокурсников) мест из гоголевской “Переписки” автор недвусмысленно присваивает себе генеральский чин:

> “Я не любил никогда *моих дурных качеств* <…> По мере того как они стали открываться <…> усиливалось во мне желанье *избавляться от них* <…> передавать их моим героям. <…> С этих пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей *моей собственной дрянью*. Вот как это делалось: взявши *дурное свойство мое*, я преследовал его *в другом званье и на другом поприще*, старался себе изобразить его в виде смертельного врага <…> преследовал его злобой, насмешкой и всем чем ни попало <…> [Д]ля первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди, однако ж, ничуть не портреты с ничтожных людей; напротив, в них собраны *черты* от тех, которые считают себя лучшими других, разумеется только в *разжалованном виде из* ***генералов*** *в солдаты*. Тут, кроме *моих собственных*, есть даже *черты* многих моих приятелей. <…> Герои мои еще не отделились вполне от *меня самого*. <…>
>
> Я <…> не люблю *моих мерзостей* и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех *низостей моих*, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними. <…> Я уже от многих *своих гадостей* избавился тем, что

передал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться. <…>”[40]

Правда, свое производство в генералы Гоголь искусно смазывает употреблением обобщенного множественного числа (говоря о “*тех, которые* считают себя лучшими других”, и далее о разжаловании “из *генералов в солдаты*”) и сдвигом акцента на разжалование; возможно, потому оно и ускользает от нашего внимания. Однако вся риторика этого пассажа нацелена прежде всего на *собственные* недостатки автора (в порядке появления в тексте: *дурные качества, гадости, дрянь, дурные свойства, черты, мерзости, низости, гадости*). И, значит, генеральский чин присваивается в первую очередь именно автору, которому затем и предстоит с ним расстаться. Впрочем, по успешном избавлении автора от *собственной дряни* путем передачи ее отрицательным персонажам, можно ожидать восстановления его в звании.

Этот знаменательный фрагмент из “Выбранных мест” я приводил, в статьях и лекциях, неоднократно, причем в связи как с самим Гоголем, так и с Зощенко, тоже наделявшим своих комических персонажей собственными чертами. Но прочертить от него напрашивающуюся прямую линию к общей гоголевской помешанности на идее чина мне в голову не приходило.

В чем тут дело?

Когда в 1967 г. я впервые оказался в Польше и гостил у польской лингвистки Ирены Беллерт, из уст ее сына, молодого красавца Анджея (сейчас ему, если он жив, должно быть 70), я услышал фразу, обращенную к Ирене и запомнившуюся мне навсегда:

– Powoli kojarzysz, matko! (*букв.* “Медленно соотносишь,[41] мать!”)

Запомнил я также, что ее краткую версию, усеченную до одного только первого слова, этот фанатик интеллектуального динамизма пускал в ход чаще, чем полную, для него, видимо, чересчур длинную.

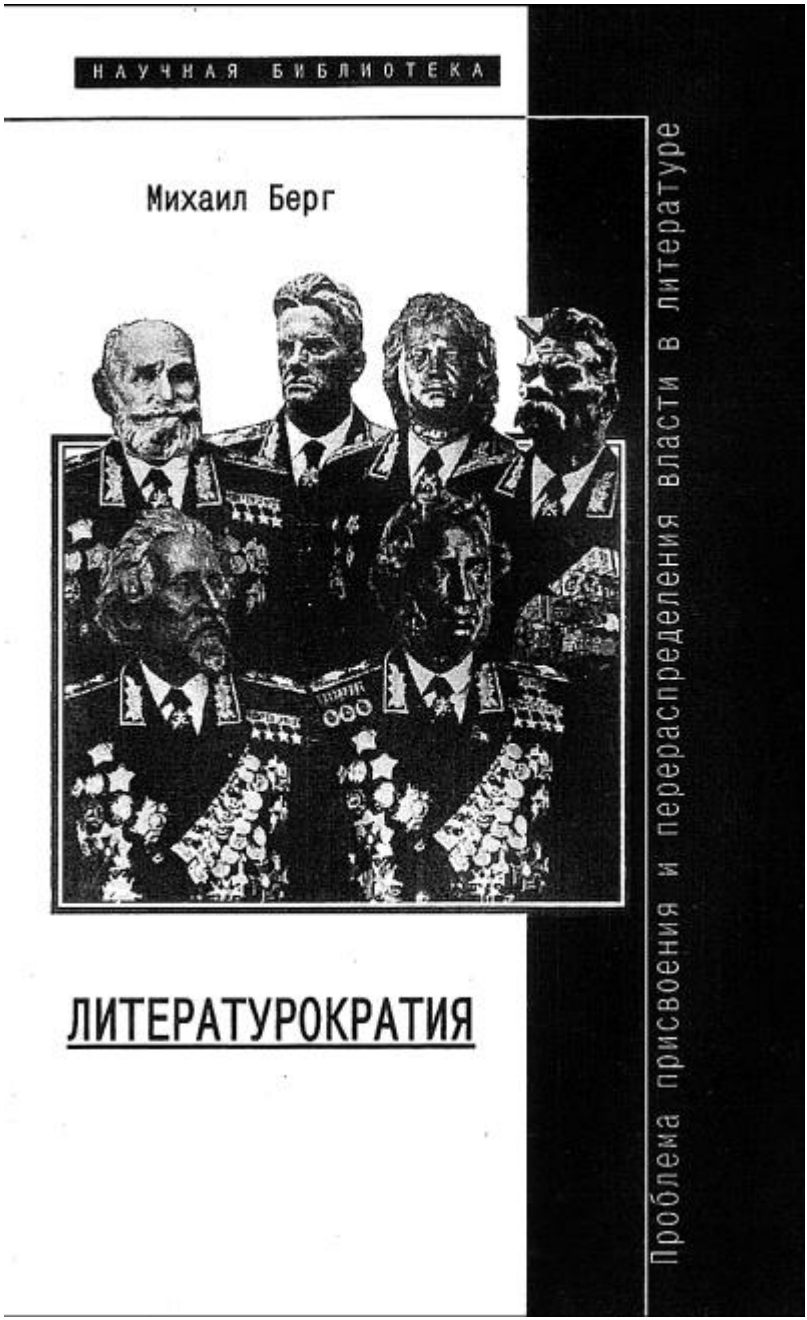
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

2010113131

Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе

ISBN 5-86793-101-1
9 785867 931018

НОВОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ



*Коллаж Б. Орлова (*1982*)……использованный для обложки книги М. Берга (*2000*)*

Не то чтобы Ирена страдала заторможенностью мысли; это была прекрасная лингвистка, в дальнейшем получившая работу в Канаде (в Университете Мак-Гилл). Да и себя я привык относить числу сравнительно быстрых разумом невтонов. Но жизнь то и

дело, со снисходительной интонацией Анджея, напоминает о перспективе разжалования в рядовые:

– Powoli…[42]

Ex ungue leonem [43]

Мы случайно встретились на прогулке вдоль пляжа, то есть, собственно, встретилась Катя[44] – это был физик, знавший еще ее отца.[45] Оказалось, что они с женой тоже живут в Санта-Монике, и нас по соседству позвали в гости.

Кате, да и мне, интересен был, конечно, физик, но он был уже глубоко пенсионного возраста, скромен и молчалив, и за столом говорила исключительно его жена, над которой годы были не властны. Среди прочего она пела дифирамбы какой-то дальней родственнице, умнице, красавице и вообще другой такой поискать.

Хуже рассказов шапочных знакомых об их неизвестных вам родственниках и совершенно уже абстрактных свойственниках, реальных, а то и оставшихся потенциальными, пожалуй, только рассказы, сопровождаемые принудительным рассматриванием домашних альбомов, где те же лица, а главное, рассказчики, представлены в выигрышном виде и возрасте. Но альбомов не демонстрировалось – для этого необходим переход в гостиную, а квартирка была маленькая, кажется, субсидированная городскими властями по программе помощи беженцам, и разговор шел за обеденным столом. Застольный же рассказ особых требований к аудитории не предъявляет: Васька слушает, да ест, что мы и делали, иногда понимающе переглядываясь. Реплики подавала, если приходилось, Катя.

Вдобавок к прочим своим достоинствам дальняя родственница оказалась еще и грузинкой (как грузинка затесалась в еврейскую семью, я не уловил, не исключаю, что какое-то количество грузинской крови текло и в жилах рассказчицы).

– Грузинка? – подала голос Катя. – Наверно, княжна?

– Да, старинного княжеского рода, – не подвела хозяйка.

Кульминационным моментом рассказа, перебрасывавшим мостик в настоящее – к переезду хозяев на Запад, было знакомство этой грузинской принцессы со знатным иностранцем. Ей предложил руку и сердце приехавший по культурному обмену в Тбилиси замечательный молодой человек, англичанин.

– Наверно, лорд? – поддержала Катя.

– Представьте, настоящий английский лорд, Ричард. Так что мы теперь в родстве с британской аристократией.

Следующая реплика напрашивалась уже и без Ричарда. Но Катя овладела собой и лишь беззвучно мне промимировала:

– Ричард в тигровой шкуре.

Без мужчин

Было уже за полночь. Кончался длинный уикенд (первый понедельник сентября – праздник, *Labor Day*[46]), и мы еще не спали, когда в окно стали доноситься истеричные женские крики.

Я прислушался, стараясь понять, что это – реальная женщина или чей-то зарвавшийся телевизор. Для правды жизни крики звучали, пожалуй, слишком членораздельно, красноречиво, театрально. Впрочем, реализм в Америке полный, так что неясно, кто кому подражает – телевидение женщинам или женщины телевидению. Слышно было, в общем, плохо – из-за вытянутости нашего дома в длину и прекрасной звукоизоляции.

Я накинул халат, спустился вниз (каждая квартира у нас на нескольких уровнях) и пошел на звук. По-видимому, кричали в 3-й квартире, где наверху горел свет. Голос был действительно женский, высокий, и хотя слов было не разобрать, общий смысл угадывался – женщина обвиняла обидчика. В конце концов, из ее речей я выудил знаменитое: “You are harassing me!” (“Ты преследуешь меня!”) и, не слыша других голосов, предположил, что сцена играется по телефону, с мужчиной где-то на другом конце, что не так страшно.

Еще до переезда в Америку я читал о том, как типично для индивидуалистичных американцев не знать даже ближайших соседей. В нашем кондо владельцы сменяются так часто, что на сегодня я знаю людей только из двух квартир – мою многолетнюю союзницу Энн и нашего очередного священного врага Марка (великого комбинатора и, как всегда, жильца квартиры номер 6). В 3-й номер год назад въехала новая владелица, но с ее именем я сталкивался, только депонируя ее взносы, а в лицо вообще не помнил, лишь изредка встречая ее гуляющую с собакой.

В поисках источника шума я продолжил свой обход, тайно надеясь, что скандалят Марк с супругой; они любят выпить, и их, особенно ее, склочность не вызывает сомнений, хотя пока что направлялась исключительно вовне. Дойдя до конца дорожки, я убедился, однако, что у них темно и тихо.

Вдруг где-то рядом раздался приглушенный голос:

– Это ваши соседи?

За забором стоял пожилой мужчина в пижаме, видимо, тоже вышедший на крики.

– Наверно, но не знаю, которые.

Я вернулся под окна квартиры номер 3 и на этот раз услышал второй голос, тоже женский, но пониже тембром.

– Мать и дочь, – определил сосед, тем временем

проложивший параллельный курс по своей территории и опять оказавшийся рядом. – Никакого мужчины, все в порядке.

Убедившись в отсутствии типового виновника всех бед, мы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по домам. Вскоре улеглись и крики.

Засыпая, я вспомнил, что как-то на собрании кооператива говорили, что, вот в 3-й номер въезжает женщина с дочкой переходного возраста. Она выгодно развелась и на вырученные деньги покупает эту квартиру. Так что все сходилось, и виноват был-таки мужчина – во-первых, самим своим отсутствием, а во-вторых, предоставлением двум страдалицам идеальной возможности терзать друг друга. В чем именно состоял материнский харассмент дочки осталось неизвестным: велела ли она ей выключить свет, телефон, телевизор или вибратор.

Floor & Breakfast (В старом Чикаго)

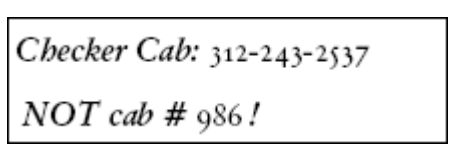
Год назад[47] состоялась небольшая конференция по Серебряному веку в Чикагском университете. Все было интеллигентно, заранее оплачено и не так уж холодно. Поселили чикагцы кого у себя по домам, кого в отеле в даунтауне (и возили туда-сюда на машинах), а кого, в том числе нас, в гостиничке типа “Bed & Breakfast” на расстоянии пешеходной прогулки от кампуса. Дом оказался симпатичный, со светлой квазикирпичной облицовкой, широкой лестницей, высокими потолками и массой всяких ковриков, стульчиков, сундучков, тумбочек, зеркалец, подставочек, салфеточек, статуэточек и прочего викторианского уюта.

Отношения с хозяйкой сразу же сложились самые взаимные: мы не понравились ей, а она нам. Она была в возрасте, глядела понуро, передвигалась с усилием, и я все не мог понять, да так и не разобрался, косила ли она на один глаз или прихрамывала на одну ногу.

Трения начались с моего вопроса, когда завтрак. Она объявила, что в пятницу – в 8–8:30, но в субботу и воскресенье – никак не раньше девяти, и вообще, “мы с мужем не верим в такие вещи, как завтрак в семь утра”. К счастью, заседания начинались в 10, так что проблема поспевания отпала.

Но во весь рост встала другая. В переписке с устроителями я упомянул, что моему позвоночнику нужна жесткая постель. Хозяйка сказала, что отвела нам комнату с кроватью, тверже которой в доме нет. Под ее суровым взглядом я по специальной приступочке взобрался на высоченное ложе, бегло его опробовал и одобрил, решив, что там видно будет.

Как и весь дом, комната была полна всевозможных рюшечек. Кроме того, везде торчали записочки, выдержанные в непреклонно лапидарном стиле: “Не забывайте о подставках”, “Не передвигайте” и т. п. Особенно интригующей была инструкция о заказе такси:



Первые же серьезные попытки заснуть показали полную непригодность кровати. Делать нечего, мы собрали всякие

коврики и одеяла, расчистили место и постелили на полу. Спалось, надо сказать, отлично.

Утром я попросил у хозяйки еще подстилок. В ответ я услышал, что ни с чем подобным она никогда не сталкивалась, никаких подстилок у них, скорее всего, нет и, вообще, не лучше ли бы нам было в отеле?! Оказавшись лицом к лицу с жестокой правдой, я позорно прогнулся (обнаружив теперь уже и моральную бесхребетность), заверил, что, нет, нет, нам у них очень нравится, и в подтверждение своих слов бессмысленным жестом обвел гостиную.

Между тем к столу спустился еще один участник конференции, прибывший рано утром и немедленно получивший за это взбучку. Я слушал его рассказ с удовольствием – как вечно взыскуемое подтверждение, что дело не обязательно во мне. Хозяйка держалась виновато и даже предложила отвезти его, а заодно и нас, в университет на своей машине.

Этот механизм компенсаторной любезности хорошо знаком мне по внутреннему опыту. Наблюдая его теперь вчуже, я мог убедиться, что компенсация компенсацией, но нанесенной травмы она не снимает.

На следующий вечер мы вернулись довольно рано, так как попали под холодный дождь со свирепым чикагским ветром и мечтали оказаться наконец под кровом. Однако пробраться в дом нам удалось не сразу – хозяйка замахала руками, требуя все мокрое сбросить при входе. Мы повиновались, дивясь единству ее образа – тяжелому наследию то ли викторианских табу, то ли чикагского гангстеризма.

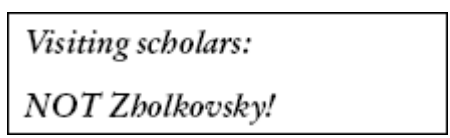
Оставив туфли и зонтики в холодном тамбуре, мы на цыпочках двинулись к себе, но были остановлены хозяйкой, объявившей, что лишних подстилок для меня нет и не будет, а такого, чтобы постояльцы сами переставляли мебель (один сундук мы, расчищая плацдарм, действительно, сдвинули в сторону), не бывало за всю историю этого заведения.[48] Я еще раз сослался на свою хрупкую спину, и мы трусливо ретировались. Угроза выселения повторена не была.

Размышляя о глубоко неамериканском поведении хозяйки, я не мог не признать, что хорошо ее понимаю. Я тоже не в восторге, когда в мой дом проникают посторонние, даже редких желанных гостей курить выгоняю на улицу, а к спасительному ежедвухнедельному приходу уборщицы психологически готовлюсь с вечера. Так что раздражительность хозяйки недоумения не вызывала, оставалось только определить, какой садомазохистский комплекс заставляет ее держать дом для постояльцев.

За завтраком к нам присоединилась еще одна коллега и тоже пожаловалась на неприветливость хозяйки. Я с трудом удерживался, чтобы в ответ не рассказать о постели, когда в столовую вошла хозяйка, со словами: “Ну как там было на полу?” Таиться стало ни к чему.

Перед отъездом в аэропорт, совершенно, так сказать, под занавес и мало чем рискуя, я задал наконец давно волновавший меня вопрос о причинах отлучения таксиста № 986. Сделал я это не без опаски, но близость расставания уже начала оказывать на хозяйку благотворное действие. Оживившись, она рассказала, что тот однажды возил ее в город, гнал как сумасшедший (“It was bare knuckles!”,[49] – она показала сжатые кулаки), оскорблял других водителей (она выставила средний палец) и матерился (она процитировала). Пришлось позвонить в компанию, и он, наверно, уже уволен. Продолжая на той же ноте, она сообщила, что сотрудник университета, договаривавшийся с ней о нашем размещении, больше там не работает.

Отрицание явно было ее любимой риторической фигурой. Не исключаю, что у нее уже заготовлена новая памятка:



Учитель словесности

Мой лос-анджелесский знакомый[50] Леонид – мастер слова, не расходящегося с делом. По образованию он режиссер, по призванию бизнесмен. Силой красноречия и постановочного таланта он продает богатым эмигрантам картины с иконописными грузинскими царевнами, а калифорнийским галереям – самих художников, импортируемых из бывшего Совка.

Он журит меня за профессорское умничанье, а я его за потакание пошлости.

Чтобы открыть перед приемной дочерью, с утомительным однообразием то выгоняющей, то впускающей обратно своего бойфренда, более широкие горизонты, он поместил на интернетном сайте для любовных знакомств соблазнительное описание ее личности: “На первом месте у меня мой шестилетний сынишка. На втором, третьем, четвертом и пятом – секс, секс, секс, секс”. Отбою от претендентов не было, но она как-то не вжилась в образ, и, приходя в гости, я видел все того же бойфренда.

Больше, чем с падчерицей, Лёне повезло с ее быстроглазой подружкой, приехавшей в Калифорнию из сибирского захолустья. Жемчужиной ее интернетного имиджа (разумеется, после пятилетней дочурки) он сделал пристрастие к Чехову.

Чехова американцы любят – потому, что в отличие от Пушкина он переводим, а в отличие от Толстого – Достоевского краток и ненавязчив. Они даже каким-то образом чуют в нем загадочную русскую душу, хотя основная мысль у него вполне западная – типа мойте руки перед едой (с русской добавкой: и они все равно будут грязные).

Предложения посыпались. Возникло, правда, затруднение – сибирячка не читала ни строчки любимого автора. Но она подошла к делу серьезно. Заехала к Леониду за Чеховым, взяла, стала читать, полюбила. С женихами тоже разобралась, на ком-то остановилась. Лёню не устает благодарить; особенное, говорит, спасибо – за Чехова.

Сколько в этой истории процентов правды, не знаю – учитывая словесное мастерство Леонида. Словесное мастерство и, подозреваю, желание быть в моих глазах ближе к Чехову, чем к другим героям своих проектов. Вообще, показать мне, кто из нас действительно умеет преподавать литературу. Кто – профессор Серебряков, а кто – профессор Хиггинс.

Посвящается Пиранези

С ежегодного съезда американских славистов в Новом Орлеане Лада вернулась полная впечатлений – о докладах и людях. Я не ездил, полагая, что все уже и так знаю. Оказалось, не совсем.

Лада встретила там Ольгу. Ольга спросила, удалось ли Ладе посмотреть город. Лада ответила, что да, ее много возили живущие там Саша Раскина и Саша Вентцель и все показали.

– Мне очень понравилось, и я ей так и сказала. Но меня поразило, чту она спросила дальше. Никогда не угадаешь!

Угадывать я люблю. Как правило, это получается и наглядно доказывает, что человечество предсказуемо – против инварианта не попрешь. Конечно, необходимы какие-никакие исходные данные. В этом случае они у меня были: Ольгу я знал давно и довольно хорошо.

– Ну что ж, – сказал я. – Ольга любит все мертвое, похороны, кладбища, надгробия. Наверно, она спросила, была ли ты на кладбище. Не знаю, знаменито ли тамошнее кладбище, но раз она спросила, значит, так и есть. Правильно?

– Вот и неправильно. Она спросила, видела ли я разрушения.

Хотя Ольга, в общем-то, осталась верна себе, лапшу я все-таки провесил порядочную. Положившись на свое владение старыми инвариантами Ольги, я совершенно упустил из виду новые инварианты города, пострадавшего от урагана Катрина. Это было тем обиднее, что подобные совмещения инвариантов (лейтмотива персонажа с лейтмотивом места действия) прекрасно предусмотрены в нашей со Щегловым порождающей поэтике, а данное просто напрашивалось.

– Да-а, позор. А она их, естественно, посетила?

– Нет, только еще собиралась. И не она одна. Там был Свен Спикер, и он тоже хотел посмотреть разрушения. Он попросил таксиста быстро показать ему разрушения, но тот сказал, что быстро не выйдет – особо впечатляющие разрушения не в городе, а за городом.

– Поведение таксиста как раз предсказуемое на сто процентов. И что же, Свен согласился на большой каботаж?

– Согласился, но остался недоволен – даже и дальние разрушения особого впечатления не произвели.

Потом, уже в Лос-Анджелесе, выяснилось, что на разрушения ездили многие и тоже были разочарованы.

Тут от мелкого зубоскальства, хотя и сдобренного рассуждениями об инвариантах, я хочу перейти к масштабным

обобщениям. Почему же все так жаждали разрушений? Какая за этим вырисовывается культурная парадигма?

Ну, прежде всего – ритуальная потребность продемонстрировать свою идентификацию с жертвами, будь то природы или общества. Кроме того, как пишет мне из Германии мой самый любимый читатель: “А на что еще там у вас в Америке смотреть – ведь настоящей архитектуры или хотя бы настоящих руин-то нет?!” Но откуда такая привередливость? Почему разрушений оказывается недостаточно?

Что-то похожее всплывает из “Записных книжек” Ильфа:

> “Осадок, всегда остается осадок. После разговора, после встречи. Разговор мог быть интересней, встреча могла быть более сердечной. Даже когда приезжаешь к морю, и то кажется, что оно должно было быть больше. Просто безумие”.

Действительно безумие. Чехов, например, довольствовался наличными размерами. Он говорил Бунину:

> “Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? *Море было большое*. И только. По-моему, чудесно”.

Читал ли Ильф эти воспоминания Бунина, напечатанные в парижской газете в 1929 году, дело темное. Но очевидно, что у Ильфа (и Петрова) обман ожиданий и даже его количественная оценка – своего рода инвариант, разумеется, издевательский.

> “У нее была последняя мечта. Где-то на свете есть неслыханный разврат. Но эту мечту рассеяли”.
>
> “Любопытства было больше, чем пищи для него”.
>
> “Появилось объявление о том, что продается три метра гусиной кожи. Покупатели-то были, но им не понравилось – мало пупырышков”. (Ильф “Записные книжки”)
>
> “Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
>
> – С целью капитального ремонта Провала, – дерзко ответил Остап, – чтоб не слишком провалился”. (Ильф и Петров “Двенадцать стульев”)

У каждой эпохи свои приколы (по-научному, sensibilities), и чужие кажутся странными. Приходится специально напрягать

интеллектуальное зрение, чтобы понять, чту привлекательного находили сентименталисты в сельских кладбищах, слезах, самоубийстве и вообще смерти. Но, по крайней мере, они были в этом по-сентименталистски простодушны.

> “Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости, о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в каком согласии жил с нею. «Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться – до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!» – Эраст слушал ее *с непритворным удовольствием”*. (Карамзин “Бедная Лиза”)

Эрасту говорят, что Кай умер, и ему этого достаточно – он получает непритворное удовольствие. А этим, нашим, сколько разрушений ни подавай, все мало. Мало пупырышков. Хотя что удивительного? Если разрушения – это хорошо, то тогда чем больше, тем лучше. Вполне понятный эстетический максимализм, с некоторым народническим надрывом.

Мой инвариант, как уже говорилось, состоит в вычислении чужих. Желательно – по примеру Леверье[51] – не выходя из дому. Конечно, и у меня раз на раз не приходится, но разрушения я всегда готов одобрить заочно.

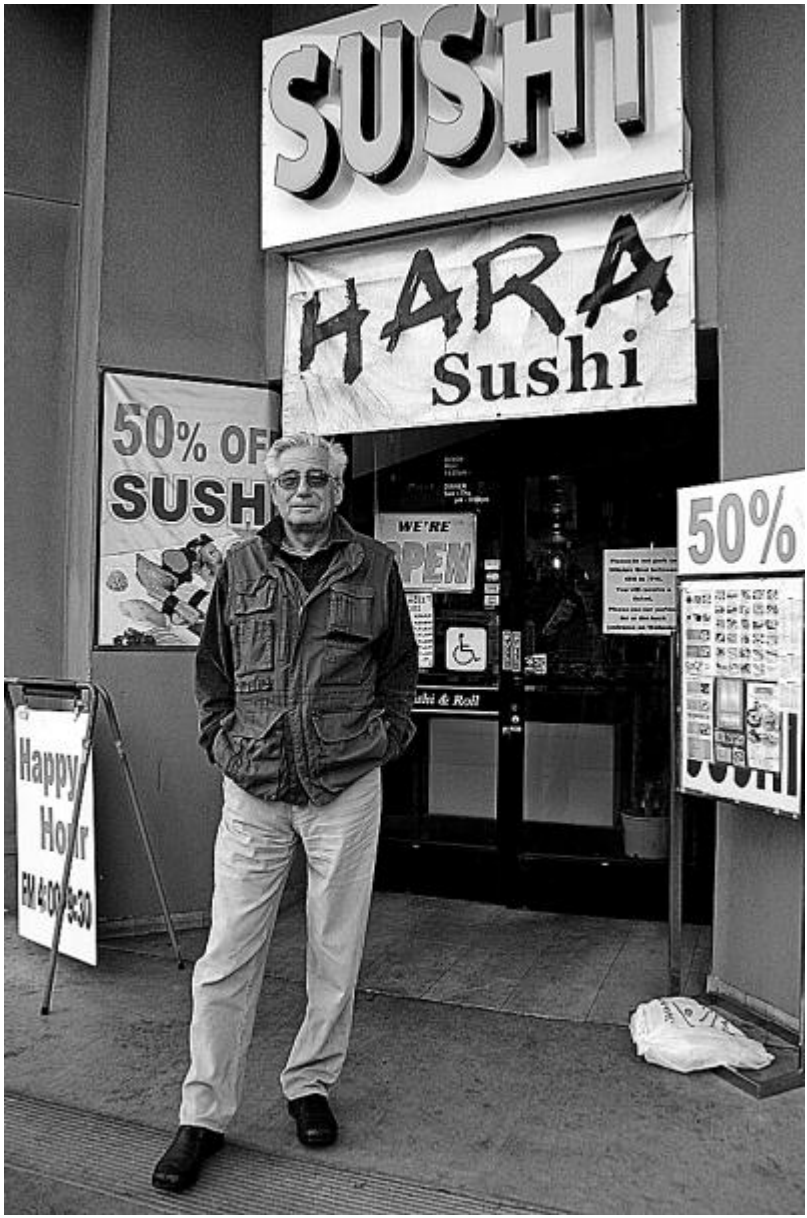
The usual
(Заметки завсегдатая)

Недавно мы обнаружили у себя в Санта-Монике, буквально в двух шагах от дома, японский ресторанчик, где дешево и вкусно кормят суши, поят саке, подают сколько хочешь мисо, а вместе со счетом приносят еще и зеленое мороженое из чайных листьев. Сидеть можно у стойки бара или за столиком, цена все равно одна, и такая низкая, что уже от нескольких посетителей я слышал фразу “I feel like I am stealing” (“Ощущение такое, будто воруешь”). Даже я, при всей своей неизбывной бережливости, иной раз даю аж 20 % чаевых.

Обслуживают исключительно азиаты, но не все они японцы; есть корейцы, монголы, насчет китайцев сомневаюсь, вроде бы, с китайцами японцы не сочетаются (аналогично, кстати, и различие кулинарных стилей: в японских блюдах все всегда раздельно, в китайских – перемешано). Мы как-то сразу попали под крыло к рослому молодому монголу, немного знающему по-русски (“Спасибо”, “До свидания”, “Как дела?”, “Вы откуда?”), и он стал “нашим” поваром. Мы узнали, что его зовут Эдди, стали садиться только к нему, приходить только в его дни и часы, получать от него знаки внимания в виде лакомых кусочков сверх заказанного и упиваться сознанием, что у нас появился “свой” шеф. Особенно радовался я, потому что очень ценю редкие островки постоянства в непредсказуемом мире, одним из которых и объявил это место, “Хара суши”, куда можно ходить в определенное время и к определенному повару. Свою консервативную определенность я простер и на самый заказ, всегда один и тот же и предельно единообразный: четыре двойные порции суши из тунца плюс дополнительная чашка риса. Более того, в своем амплуа завсегдатая я завел обычай вообще ничего не писать на бланке заказа, ограничиваясь многозначительным “The usual” (“Как обычно”). Эдди стал с видимым удовольствием повторять этот породнивший нас пароль.

Есть несколько магических формул, употребить которые – но с полным правом, оказавшись в соответствующей ситуации и шкуре, – мечта каждого уважающего себя мужчины. Одну из них (“Следуйте за той машиной!”) мне однажды привелось пустить в ход ни больше ни меньше, как в Манхэттене, а другую (“Это со мной”) – по поводу не кого-нибудь, а вдовы Бабеля, и вот теперь в мой репертуар на законных основаниях вошло “The usual”, пахнувшее праздником, который всегда с тобой.

“Своя официантка”, Тамара Ивановна, была у меня одно время в Москве, в далекие семидесятые, – в кафе “Прага”, где она по-матерински сажала и обслуживала меня почти без очереди, но до заказа в формате “The usual” дело не доходило, да я и отдавал себе отчет, что, по сути, мечта это, конечно, западная, американская, хемингуэеоидная, и со вздохом относил ее осуществление в неопределенную даль. Задумавшись теперь о ее глубинном смысле, я понял, что он, в общем, тот же, что и у двух других сакраментальных формул. Речь идет о хрупком, но тем более драгоценном мостике личного контакта и доверия, перебрасываемом через безразличие огромного мира, о покрове, выражаясь по-тютчевски, накинутом над бездной.



*Перед ресторанчиком Hara Sushi. Санта-Моника (*2009*). Фото Л. Пановой*

Классическая ситуация такого рода – финал знаменитого в свое время романа Джой Адамсон “Рожденная свободной” (1960). Выкормив осиротевшую маленькую львицу, Джой выпускает ее на волю, а через год едет к ней на свидание в саванну, и та, после эффектно затянутой нарративной паузы, наконец появляется из-за деревьев, чтобы признать свою приемную мать… Если довести эту сцену узнавания до формульного блеска, получится: “У меня

есть знакомая львица в Африке". Никогда не забуду небрежно-горделивую интонацию, с которой полвека назад Боря Жутовский мог обронить: "У меня на Алтае есть один занятный старик!.." (его характерное альвеолярное "тэ" прибавляло Алтаю еще больше экзотики). А из Хемингуэя вспоминается еще padrone, хозяин гостиницы в "Кошке под дождем", присылающий героине кошку, правда, не ту самую, но все равно приятно.

У "The usual" есть важная особенность, отличающая ее от родственных формул. Это вытекающая из самой ее сути необходимость регулярного воспроизведения. Закричать "Следуйте за той машиной!", бросить охраннику "Это со мной", да и обняться в джунглях со знакомым хищником достаточно один раз, после чего можно бесконечно об этом рассказывать, писать мемуары и ставить фильмы. Иное дело – "The usual". Взялся выступать в роли постоянного клиента, изволь подтверждать свой статус снова и снова. А это проект более честолюбивый, но, соответственно, и более рискованный, особенно в динамичном Лос-Анджелесе, где все декорации и сценарии подвержены неожиданной смене: освоенные было магазин, ресторан, кинотеатр, программа аспирантуры, структура вебсайта… перестраиваются, расцветают, разоряются, закрываются, переезжают, исчезают со сцены, целые кварталы сносятся, знакомые продавцы, парикмахерши и коллеги деваются неизвестно куда…

Нет, наше "Хара суши" пока не закрылось, а напротив, становится все популярнее и многолюднее, причем качество еды не страдает и цены почти не растут. В какой-то момент, правда, изменилась вдруг форменная одежда поваров, приобретя более строгий, отчетливо японский и совершенно унифицированный вид – черные халаты, черные шапочки, без каких-либо индивидуальных вариаций. Это повышенное единообразие я мысленно приветствовал, да оно и не мешало нам узнавать своего Эдди. Но в новом наряде он проработал недолго. В очередной из "его" дней его не оказалось на месте, то же повторилось еще и еще раз – он как в воду канул. На наш осторожный вопрос (а ничего большего японский стиль общения не допускает) нам ответили, что Эдди больше у них не работает.

Что делать?! Погоревав, мы решили приручить кого-нибудь из других поваров и вскоре остановили свой выбор на Тоши. Это был внушительного вида японец, почти не говоривший по-английски, раза в два старше девятнадцатилетнего Эдди, внешне не столь очевидно отличавшийся от остальных, но мы стали старательно привыкать к нему, а он, как можно было заключить, к нам. Готовил он не хуже, а может быть, даже лучше Эдди (все-

таки настоящий японец) и вскоре тоже начал баловать нас дополнительными деликатесами по собственному выбору. Приходя и уходя, я стал с подчеркнутой благодарностью кланяться ему, демонстративно закрепляя возникшую близость. Интимности в ней было меньше, чем с Эдди: одно дело – свой брат татаро-монгол, совсем другое – непроницаемый японец, но, как было однажды сказано, других писателей у нас для вас нет.

Мы стали водить туда знакомых, но однажды вышла накладка. Мы пошли с Ладиной подругой детства, приехавшей погостить из Айовы, трех мест у бара не нашлось, да втроем там разговаривать было бы и неудобно, и мы сели за столик. Поэтому свое “The usual” мне пришлось не произнести устно, а написать на бланке, но все равно свои заказы мы через официантку послали лично Тоши. Для верности, однако, я подошел к стойке бара и исполнил свой обычный ритуал с поклоном и приветствием. Японец отвечал тем же, и я вернулся к столику довольный, чтобы доложить Ладе, что контакт установлен, и глазами показал ей на Тоши. Но она сказала, что это не Тоши, Тоши – вон там, в другом конце бара, она видела, как именно ему были переданы наши заказы. Я перевел взгляд с моего кандидата в Тоши на ее, потом обратно и должен был признать, что различить их не в состоянии. Однако тщательные дальнейшие наблюдения показали, что права Лада, и перед уходом я адресовал свои поклоны уже этому настоящему Тоши, назвав его по имени, и он не возражал, а тоже дружественно поклонился в ответ. Но и это, строго говоря, ничего не доказывает, и что он там себе в своем зазеркалье о нас думает и до какой степени нас выделяет, покрыто мраком неизвестности.

Повар Тоши. Фото Л. Пановой

В общем, хаос под покровом, накинутым на бездну, продолжает шевелиться, и на память приходит еще один аналогичный проект:

> “[Манилов] думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах”.

P. S. Немного лингвистики. *Хара* по-японски значит “живот” (отсюда и *харакири*), с коннотациями “душа, личность” (ср. рус. *живот* в смысле “жизнь”), например, *хара-гурой*, букв. “живот-черный”, значит “злой, подлый”. В имени Тоши, вроде бы, проглядывают смыслы “беглый взгляд”, “ясновидение” и “боевой дух”. А наше *спасибо* звучит по-корейски, как сообщила смешливая официантка, опознавшая в нас русских, неприлично, – типа английского F-word. Собственно, сказала она, достаточно одного *с-п*, два – уже перебор. Сначала я даже не понял, какие два, поскольку никогда не воспринимал *спасибо* как редупликацию одного и того же слога: *съп-съп*. Век живи – век учись…

P. P. S. Сегодня мы снова были у Тоши, и Лада его сфотографировала, а он не только разрешил это сделать, но и самым недвусмысленным образом продемонстрировал интимность нашего знакомства: что-то сказал по-японски официанту – и тот принес мне вилку. Эдди в свое время тоже заметил, что я не пользуюсь палочками, и следил, чтобы мне подавали вилку, а один раз даже снабдил меня ножом. Но то Эдди, а это Тоши. От него и хула – похвала.

Один раз увидеть

Узнав, что мы едем в Питер, Дима Быков загорелся отправиться с нами – ради вечера Каравайчука. Но раздумал, когда выяснилось, что сам маэстро играть не будет, а просто покажут известные записи, которые он уже видел. Нам же наказал обязательно пойти и по телефону устроил приглашение.

Каравайчука я заочно почитал за “Марш оловянных солдатиков” из фильма “Монолог” (1972) и общую репутацию неконвенционального гения. Но ничего, кроме “Марша”, раньше не слышал. Так что его неучастие меня не останавливало: я готов был удовольствоваться видео.

В Питер мы приехали утром, весь день провели в бегах, к назначенному времени едва поспели, притащившись по жаре, и в небольшой зал вошли, когда свет был уже погашен, а места в основном заняты. Лада скромно присела где-то сзади, а я, увидав, что первый ряд, видимо, отведенный для почетных гостей, пуст, хотел было этим воспользоваться, но при попытке обогнуть загораживавший дорогу проектор был остановлен окриком нелепой старухи в коричневом берете из второго ряда. Высоким голосом она проканючила: “Нет, нет, в первый ряд нельзя, туда не садиться, нет, нет, это первый ряд…” и еще что-то невразумительное про звук. Этот скандальный выпад, ожививший давние советские воспоминания, вроде бы диссонировал с атмосферой элитной тусовки, но его авторитетность не вызывала сомнений – старуха говорила как власть имеющая, и я, подумав, что это, наверно, кто-нибудь из родственников композитора или хозяев помещения, покорно ретировался и устроился на какой-то миниатюрной табуретке.

В результате я лишь вполуха слушал вступительное слово организатора, впрочем, довольно краткое, сводившееся к напоминанию о гениальности Олега Николаевича и сообщению, что запись, которую нам продемонстрируют, особо замечательна тем, что сделана она была в самой что ни на есть цитадели высоколобого академизма, не то в Таврическом дворце, не то в Эрмитаже. Затем на экране появилось изображение и зазвучала музыка.

Качество звука оставляло желать лучшего, он плыл и дребезжал, зато изображение впечатляло, являя крупный план фортепианной клавиатуры и неистово ударявших по ней могучих рук пианиста. Кроме рук, видна была и часть туловища, облаченная в буроватый бумажный свитер, но расположенная не вертикально, а горизонтально; голова же вообще оставалась за

кадром. Это был мастерски задуманный сеанс двойной игры вслепую: лежачий исполнитель не видел клавиш, а озадаченные зрители – лица исполнителя (вместо которого в памяти всплывала пьяная физиономия Моцарта, откалывающего подобные трюки в “Амадеусе”). Так или иначе, тема слепоты была задана – и тут же мной отрефлектирована.

Броской радикальности визуального ряда вторила радикальность музыкального продукта. Наклевывавшаяся время от времени классическая мелодия (Чайковский?) беспардонно заглушалась дисгармоничным бренчанием, постепенно переходившим в атональный грохот, вплоть до налегания на клавиши обеими ладонями, а там и локтями, потом опять прорезалась знакомая мелодия, которая опять растаптывалась, опять возвращался барабанный хаос, и это тянулось и тянулось бесконечно. Но ничего бунтарского, собственно, не происходило: звукоизвлечение пристойно держалось в рамках клавиатуры, и рассчитывать на то, что исполнитель наконец вскочит и хватит топором по деке, а заодно и по дворцовому интерьеру, не приходилось.

Я заскучал, и тогда дала о себе знать накопившаяся усталость; захотелось развалиться в кресле, вытянуть ноги, снять кроссовки, расслабиться. Я решил под шумок перебраться в вожделенный первый ряд, к стенке, что и проделал, не вызвав на этот раз ничьих нареканий. Фонограмма между тем погромыхивала в том же однообразном ключе, но когда я вновь поднял глаза на экран, то констатировал бесспорные подвижки, не менявшие, впрочем, глубинной сути режиссерского решения. Музыкант уже не лежал за роялем, а сидел в нормальной пианистической позе, но его голову облекал огромный бумажный пакет, так что клавиатура была по-прежнему скрыта от него, а его лицо – от зрителя.

Это становилось интересным, и я с нетерпением ждал очередной перемены, но проморгал и ее, отвлекшись на собственные проблемы. Я обнаружил, что скинутые мной кроссовки воздуха, по выражению классиков, не озонируют, чем, помимо прочего, нарушают строго выверенную аудиовизуальную организацию зрелища, никакой ольфакторной, тактильной и густаторной коммуникации не предполагающую. По возможности тихо натянув кроссовки обратно, я снова посмотрел на экран – и не поверил своим глазам.

Вместо загадочного пакета на голове музыканта красовался теперь коричневый берет, в точности такой, как у наоравшей на меня старухи, да и во всем остальном он был вылитая она. Тот же дамский берет, тот же замогильный профиль с кривым

подбородком, та же бумажная водолазка! Я несколько раз осторожно перевел взгляд назад, на мою старуху, потом опять на экран. Сомнений не оставалось: я был облаян не кем-нибудь, а самим гениальным Каравайчуком! Сделав это открытие, я постарался задним числом восстановить его реплику, и до меня с запозданием дошло, что он заботливо рекомендовал не садиться в первый ряд по чисто акустическим соображениям: это слишком близко к усилителям – и эффект был бы испорчен.

Всему приходит конец, кончился и этот номер. Был объявлен антракт, после которого предстоял просмотр “Октября” с новонаписанной музыкой Каравайчука. Как напомнил организатор вечера, предыдущим гениальным творением Олега Николаевича была музыка к “Потемкину”.

Вступительное слово произнес сам композитор. По-прежнему женским, но более бодрым голосом он заговорил об авангарде в искусстве, о непреходящей его революционности и об опасности впадения в рутинный академизм. В качестве вечных новаторов он выделил Хлебникова и Эйзенштейна, “ритмическим монтажом” которого он вдохновлялся, сочиняя музыку к “Октябрю”.

Все это звучало очень задорно, но не страшно. Эйзенштейн давно покрыт хрестоматийным глянцем, аудитория собралась вполне опрятная и почтительная, бунтом на корабле (если не считать моих печальной памяти кроссовок) не пахло. Берет не помог бы даже и вагнеровский.

Эйзенштейну я в свое время отдал дань, “Октябрь” смотрел неоднократно, но тут не сдюжил. Музыка была того же рода, что в первом отделении (только в одном месте прошел забавно травестированный “Интернационал”), а беззастенчиво пропагандисткие кадры, вздыбленные эйзенштейновским монтажом, вызывали странную смесь протеста и скуки. Большевистские закидоны сегодня можно простить разве что лимоновцам, идущим за них на риск, но наслаждаться ими как искусством для искусства под удручающий модернистский аккомпанемент?! Мы бежали – уже после Ленина на броневике, но еще до Керенского в Зимнем.

В “Марше оловянных солдатиков” чту было потрясающе? То, как оловянно звучала музыка, призванная заставить их маршировать, и какими оловянно неподвижными они тем не менее оставались, застыв в своих ухарских позах. Нарочито бесчеловечная музыка была там к месту, выражала, как сказал бы Эйзенштейн, тему, а не дрябло поигрывала состарившимися за сто лет мышцами.

Знаю-знаю: несу непрофессиональную чушь, к тому же реакционную. Акция равна реакции…

Часть IV
Некрологи, которые мы выбираем

Хваленая объективность

Наши трансатлантические отношения, когда-то близкие, а теперь дружески-деловые, давали право на откровенность, и я им воспользовался – сказал, что, будучи пристрастна к “своим”, она полностью закрывает глаза на их недостатки. В ответ она пустилась отстаивать не правильность своих воззрений, а саму установку на пристрастность – в том смысле, что любовь важнее истины. Мои попытки логически отделить одно от другого (“Если хочешь, люби своего черненьким, но зачем уверять, что он беленький?”) успеха не имели. С прагматическими доводами, типа: “Если люди поймут, что ты смотришь на вещи необъективно, твои мнения перестанут уважать, а твоим рекомендациям – верить”, она соглашалась, но и то лишь для виду, справедливо сознавая, что с приемлемостью ее мнений все в порядке.

Я начинал терять терпение, ибо под вопросом оказывалось всемогущество разума вообще и моя интеллектуальная боеспособность в частности. Срочно требовался убийственный аргумент, и он нашелся.

– Помнишь, как в С. мы с тобой были в гостях, и туда позвонили с известием о некоем Ване, сыне знакомых?

Она, конечно, помнила – и понимала, что имеется в виду не только этот звонок, но и эпизод, случившийся десятком лет раньше.

Ване тогда исполнилось, кажется, четырнадцать, он был уже здоровенным парнем, курил, пил, гонял на мотоцикле, а в утешение матери пытался писать рассказы и сценарии. На празднование собрались его сверстники и друзья дома, звучали поздравления, тосты, похвалы виновнику торжества. Особенно неумеренные восхваления исходили, естественно, от матери, растившей сына в одиночку (отец в Америку не поехал) и души в нем не чаявшей. Но постепенно это переходило границы, и в ответ на очередное требование подтвердить исключительность Ваниных дарований я спросил, с, по замыслу, обезоруживающей улыбкой:

– А не пора ли внести в это дело нотку объективности?

Обезоруживающей оказалась, однако, не моя улыбка, а ярость, с которой раненая львица ринулась на защиту своего детеныша:

– Кому нужна эта хваленая объективность?!

Под действием аффекта и винных паров глаза ее, от рождения косившие, но приведенные американскими хирургами к

почти идеальной симметрии, опять разбежались в стороны.

Боя я не принял, но программная фраза врезалась в память. Она немедленно пришла мне на ум и тогда, в С., однако припомнить ее вслух было бы недопустимым в своей объективности кощунством. Избалованный матерью и во многом пошедший в нее (у него глаза не столько косили, сколько как-то вообще не смотрели; алкоголизмом страдал, кажется, и отец), Ваня покончил с собой, выбросившись из окна отеля на городской асфальт.

Возвращаясь той же ночью в Б., где мы остановились у знакомых, я рассказал историю с днем рождения. Мы уже съехали с фривэя, когда, замедлив ход на темной улице, чтобы прочесть ее название, я был ослеплен внезапным снопом света и оглушен громкими командами в мегафон. Это не предвещало хорошего – дорожная полиция в этой части штата известна своей склонностью штрафовать чужаков. К счастью, предупрежденный хозяевами, в гостях я не пил.

К машине подошел полицейский с револьвером, но выйти из машины не потребовал. Я спросил, почему он остановил меня.

– Потому что траектория (pattern) вашего вождения соответствовала (was consistent with) образующейся под влиянием алкоголя.

– Просто я не здешний…

– Ясное дело.

– …и плохо тут ориентируюсь. Но в рот не брал ни капли, готов пройти тест.

– Ладно, не нужно, – сказал он и спросил документы.

Предъявление каждого следующего документа – водительских прав, регистрации, страховки – он встречал с нарастающим недоумением. Видимо, когда модель пьяного водителя не сработала, он сменил ее на гипотезу о незаконном иммигранте-угонщике, но постепенно вынужден был отказаться и от нее. Он, наверно, выдвинул бы и какую-нибудь третью, но тут моя спутница засмеялась, и он строго спросил, в чем дело.

– Чего ты смеешься? – спросил и я.

– Какой вежливый!

Я перевел, пояснив, что там, у них, в России, полиция ведет себя иначе. Он, как говорится, улыбнулся довольный, убрал револьвер и сказал, что мы можем ехать.

В дальнейшем никто из моих американских знакомых не хотел верить, что я отделался легким испугом, без прокола и штрафа, но у меня имелась свидетельница. Правда, она утверждала, что решающую роль сыграла не профессиональная объективность американского полицейского, а обеспеченная ею

душевная подпитка из российских подвалов.

Утверждала и продолжает утверждать. Да и казус с Ваней отвергает как бездоказательный.[52] Что тут скажешь? Разве что средняя продолжительность жизни в России ниже 60? Как говорит герой Джека Николсона в фильме “Честь семьи Прицци” об убитом им противнике: “If he is so fucking smart, how come he is so fucking dead?” (“Если он такой, блин, умный, что же это он такой, блин, мертвый?”). Логика действительно убийственная.

Дурак такой!

Во время поездки в Италию, на вручение премии “Этна-Таормина” (декабрь 1964 года), Ахматова была довольна не всем. Папа римский понравился, а гробница Рафаэля – нет. То есть, конечно, поводом для глубокомысленных высказываний она послужила, и их охотно приводят:

> “…могила Рафаэля в Пантеоне, надпись на которой вторила той схеме космического единоборства, которую чаяла Ахматова: «Здесь покоится Рафаэль, который соперничал с самой Матерью-природой, и она опасалась, что в творчестве он превзойдет ее».” (Р. Тименчик)

А дальше последовал такой закидон:

> “…Ахматова рассказывала:
> – Меня возили к гробнице Рафаэля. Представьте себе, они его не похоронили! Наполовину гроб в стене, наполовину снаружи.” (А. Сергеев)

*Данте Алигьери. Портрет работы С. Боттичелли (*1495*)*

*Анна Ахматова. Фото М. Наппельбаума (*1921*)*

Наверное, сказалась травмированность непогребенным Лениным, хотя каменный гроб Рафаэля (как и гробы королей в христианских храмах по всей Европе), конечно, закрытый и с надгробием.

Но этим недовольство Ахматовой не ограничивается. Она продолжает:

> “И рядом служитель с книгами почетных посетителей. Посмотрел, точно определил и подал мне

расписаться книгу – китайскую! На лучшем ахмóтовском уровне. Знаете, я написала в Литфонд – мне прислали ответ: товарищ Ахмóтова…” (А. Сергеев)

Так что влетает и служителю. Но чем он виноват? Он “посмотрел” и довольно “точно определил”, что перед ним нечто азиатское, чем она, кстати, гордилась:

“ – А почему именно – Ахматова? Так это по имени моего пращура Ахмата… Предки мои были князьями в Золотой Орде…” (В. Астапов)

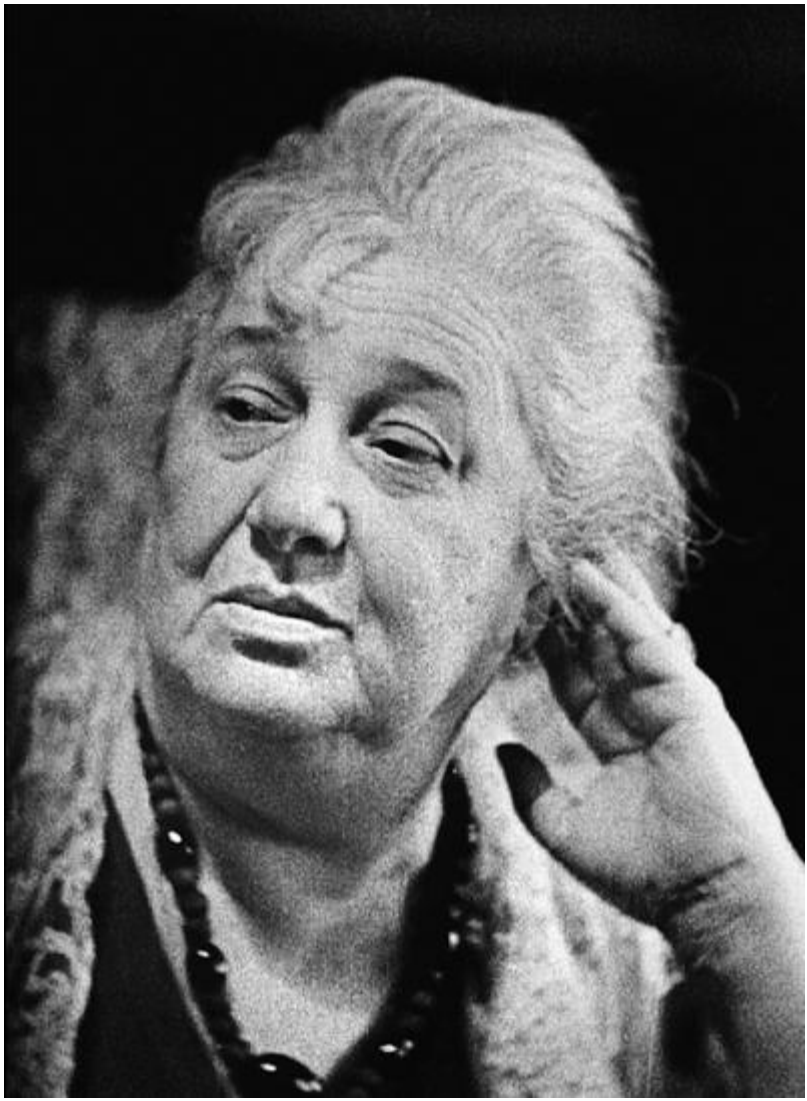
“Анна Андреевна сказала, что она надеется на хороший прием у татар благодаря своей татарской фамилии… О своем пребывании в Ташкенте говорила так: «Я себя чувствовала там как дома. Ведь я чингизидка».” (Н. Чулкова)

“В Ташкенте старый узбек носил ей молоко. Он был почтителен сверх меры. Молитвенно складывал руки при виде ее. Однажды взял со стола зеркало и сперва приблизил его к лицу Анны Андреевны, а потом поцеловал его. После рассказа пауза. И после паузы: «Он, очевидно, полагал, что я принадлежу к потомкам хана Ахмата, последнего хана Большой Орды».” (Л. Озеров)

Ну, с китайской книгой служитель, пожалуй, переборщил: Ахматова, в отличие от монгола Чингисхана полным китайцем все-таки не выглядела. Незадачливый служитель мог сориентироваться на некую общую восточность, тем более, что в Италии русская литература традиционно проходила по категории “восточных исследований” (studi orientali).

А может – чем черт не шутит? – может, в Пантеоне он лишь временно халтурил, а по образованию был вот именно ориенталистом, написавшим диссертацию об ахматовских переводах китайской или, там, корейской поэзии, скажем, корейской поэтессы Хван Чин И из Кэсона, и вполне сознательно, с тайной гордостью, поднес ей китайский, вернее, корейский альбом (различала ли она китайскую, японскую, корейскую и прочую иероглифическую грамоту, вопрос открытый – переводила-то она, о чем диссертант вряд ли догадывался, с подстрочников) и уже готовил небольшое славословие на русском языке, когда был на месте испепелен ее гневным взором…

Чингисхан. Китайский средневековый рисунок. XII в.



*На даче в Комарове. Анна Ахматова. Фото Б. Шварцмана (*1963*)*

Истоки гнева – не бином Ньютона. Это в Ташкенте она хотела быть чингизидкой, а в Риме – не меньше, чем итальянкой, соплеменницей и даже родственницей Данте:

> “[К]огда большая группа поэтов поехала в Италию по приглашению тамошнего Союза писателей, а ее не пустили, и она говорила, лукаво улыбаясь: «Итальянцы пишут в своих газетах, что больше хотели бы видеть сестру Алигьери, а не его однофамилицу». И повторяла

для убедительности, по-итальянски: «La suora di colui» («Сестра того»). Под однофамилицей подразумевалась поехавшая в Рим Маргарита Алигер, но в каких газетах писали это итальянцы, выяснять было бесполезно. А «la suora di colui» – это луна в XXIII песне «Чистилища», сестра того, то есть солнца.” (А. Найман)

Выразилась она с великолепной архаичностью, преподав итальянской прессе божественный урок, хотя сама по себе хохма, вообще-то, напрашивалась, ср. эпиграмму Сергея Смирнова:

Не оскудел в какой-то мере
Живой созвучности пример.
Был, скажем, Данте Алигьери,
Есть Маргарита Алигер.

Но, конечно, куда там Алигер со свиным рылом в калашный ряд?! Зато установка Ахматовой на протеизм – законная, пушкинская, ну, слегка, что ли, в приговском повороте:

В Японии я б был Катулл
А в Риме – чистым Хоккусаем
А вот в России я тот самый
Что вот в Японии – Катулл
А в Риме – чистым Хокусаем
Был бы

А служитель – дурак такой! – не понял.

“Дурак такой! – говорила она о Голлербахе. – У его отца была булочная, и я гимназисткой покупала в их булочной булки – отсюда не следует, что он может называть меня… Горенко.” (К. Чуковский)

Любимой быть другим (Виньетка в 72 слова)

Она всегда была самостоятельной женщиной, даже в советские времена – с машиной. А теперь вообще появлялась, когда хотела.

Как известно, старая любовь не ржавеет. Вернее, ржавеет медленно. Я уехал. Приезжал, уезжал, снова приезжал… Любовь не ржавела, не ржавела, а потом взяла и заржавела.

И однажды ночью, пролежав неловких полчаса без движения, я признался, что ничего такого мне неохота.

Она помолчала, потом внятно проинтонировала: “Тогда это сделают ДРУ-ГИ-Е”; встала, оделась и уехала —

Оппоненты и пуанты

На конференцию в Питер я приехал сонный (сосед по купе храпел) и то и дело клевал носом прямо в первом ряду. Осознав, как это неприлично, на половину второго заседания я попросился в кабинет к Главному Вдохновителю (ГВ) чтений, где в мягких креслах соснул часок с более или менее чистой совестью.

Уровень докладов был неплохой, но смущал игривый крен даже в лучших из них (кроме одного, действительно выдающегося) в сторону развлекательности, репертуар которой с наступлением компьютерной эры пополнился аудиовизуальными эффектами.

В последний день конференции, после собственного выступления (перед которым тоже недоспал) и обильного ланча, я собрался вздремнуть на докладе моего Закадычного – почти сорокалетней давности – Оппонента (ЗО), с тем чтобы очнуться бодрым к заключительному выступлению ГВ, коллективному финальному выпивону и, на закуску, званому ужину у Верховных Попечителей (ВП) конференции. Тем более что содержание доклада ЗО не составляло загадки: нам предстояло услышать, что эти идеи он, э-э, уже развивал, м-м, тогда-то и там-то, а также, э-э, там-то и там-то… Повеселив народ своим пророчеством по дороге с ланча, в зале заседаний я отсел в дальний угол, плотно надел аэрофлотовский наглазник и под смешки соседей отключился.

Не тут-то было. В свой привычный сценарий ЗО внес непредвиденное изменение. Ссылаясь на свои прошлые доклады, он каждый раз поминал мое имя: “Впервые я имел случай говорить об этом в 19** году в семинаре Александра Константиновича Жолковского…”; “Эту мысль я в дальнейшем обосновал в докладе там-то, но тоже в присутствии Александра Константиновича…”; и так четыре или пять раз. Заметил ли он – и решил пресечь – мою попытку уклониться от слушания или просто воспользовался мной для освежения приема, но я был жестоко возвращен к реальности и вслушался. Доклад оказался очередным изводом его знаменитого наблюдения, в свое время новаторского (но с тех пор растиражированного им самим и кем попало), что в строчке *Есть **блуд** труда, и он у нас в **крови*** слово *блуд* является фонетической копией немецкого *Blut*, “кровь”.

В кулуарах я, конечно, прошелся на ту тему, что, может, хватит уже по-паганелевски читать русскую поэзию с немецким словарем, но, убедившись, что ЗО, как всегда, глух к моим аргументам, задумался о динамике наших перебранок. Если ему безразлично, что я думаю, зачем он так настойчиво муссирует

мои давно пересмотренные взгляды? В свое время он, один из пионеров отечественной подтекстологии, оказался дальновиднее меня, я это признал и последовательно ввел подтексты – а затем, с учетом западных теорий, и интертексты – в свой инструментарий. Он же остался, как говорится, при своих, почему и вынужден прибегать к гальванизации далекого прошлого. Такая реконструкция меня устраивала, но полемический запал не проходил.

Вечером в гостях речь зашла и о докладе ЗО – один из ВП признался, что не понял, в чем его пуанта. Он так и сказал: пуанта. Соблазн был слишком велик, и я выпалил:

– А этот номер был не на пуантах. Он исполнялся босиком, a la Айседора Дункан, причем позднего, есенинского периода.

Не озаботившись отдать здесь свою хохму третьему лицу, я, конечно, нарушаю священные каноны юмора – иду по неверному пути Наймана. Зато этически риск невелик: ЗО никогда ни в чем со мной не согласен, и мои претензии на, как бы это выразиться полетальнее, *Scharfsinn* (нем. “остроумие”) вряд ли сочтет достойными внимания.

P. S. Не тут-то было. Виньетка, по-видимому, дошла до ЗО, и год спустя, в кулуарах очередной конференции, ЗО объявил мне, что со мной не разговаривает; а еще годом позже, на другой конференции, начал свой очередной не-доклад словами о том, что никаких пуант в его выступлении не планируется, так что желающие могут спокойно покинуть зал или предаться сну, не покидая его. Это, надо сказать, была лучше всего подготовленная часть его выступления, без единого *э-э* или *м-м*. Вопрос, означает ли это, что ЗО (или кем-либо иным) была разгадана соль моего двуязычного mot, остается открытым.

Подробности

Сидели вроде бы неплохо. Народ был в основном отборный, квартира – только что выменянная и стильно отремонтированная, стол – отменно накрытый хлебосольной хозяйкой. Как вдруг один из гостей, самый почетный, встает, выходит в переднюю и, как вскоре выясняется, вообще уходит, посетовав хозяину, в ответ на уговоры побыть еще, что – хозяин смакует цитату – “мало подробностей”.

Он уходит, но загадка недоданных подробностей продолжает, выражаясь поэтически, подобьем смолкнувшего знака тревожить небосклон, трезубцем Скорпиона повиснув над оставшимися… И занимает меня до сих пор, полтора десятка лет спустя.

Ну, самый прямой смысл этого apte dictum[53] обидно прост: “Скучно!”. Все, что произносилось за столом, Михаил Леонович, скорее всего, уже слышал, читал, записывал и выписывал – и не раз. Хотя гости, как я уже сказал, были не последнего разбора – других бы Осповаты на Гаспарова и не позвали. Не исключаю, что немного подпортил дело я, приведя с собой – вот не помню, с предварительного согласия хозяев или в порядке пощечины общественному вкусу – даму из слегка иной, менее, что ли, интеллектуальной, тусовки.

Но как раз это вряд ли могло так уж наскучить Гаспарову, скорее, даже наоборот. Поскольку второе, что приходит на ум при анализе его энигматической формулы, это что за столом, где так трудно поймать его подслеповатый взгляд, он, оказывается, внимательно слушал и страстно ждал тех или иных, надо полагать, компрометационных, подробностей (именно таким помню его на заключительном банкете иерусалимской конференции 1998 г.). А мы их ему не предоставляли. Я дежурно пикировался с Тименчиком, но в рамках приличий – с оглядкой на хозяйку, способную, как я знал, напрочь забанить не одобряемых ею коллег мужа. (Кажется, в конце концов эта судьба меня все-таки постигла.) Дама моя держалась тем более комильфотно, ценя неожиданное попадание в высшие филологические сферы.

В общем, ничего такого особенного, something to write home about, не происходило, не сообщалось, не пробалтывалось. И МЛГ ничего не оставалось, как по-английски удалиться к своим рукописям и подсчетам. Впрочем, почему же по-английски? Его лаконичная, но тщательно отделанная реплика была как бы по секрету, но вполне внятно доведена до собравшихся и стала незабываемой подробностью вечера. О котором теперь есть что

рассказывать.

Чему вас учут?!

Наряду с хрестоматийными apte dicta запоминаются и словечки, сказанные кем-то невеликим в простоте душевной.

– I have my Dickens. (“У меня есть мой Диккенс”.) (О ненужности новых книг; 1960-е годы.)

– Зачем еще ангина, если уже есть грипп? (о болезнях детей; 1960-е.)

– Вот так, значит, нас, трудящихся?! (О подорожании сигарет; 1970-е.)

– ЗА-БУДЬ-ТЕ Э-ТО СЛО-ВО!.. (Зам. секретаря парткома в ответ на просьбу выдать характеристику “в рабочем порядке”; 1970-е.)

– Ракообразные!.. (О новом местечке с seafood; 1980-е.)

– И ученики потянулись за учителем? (Было как раз наоборот; 1990-е.)

– Ну ты эта, смари, шоб в самолет кто не зашел! (Напутствие перед рейсом; 2000-е.)

А на днях всплыло нечто из чуть ли не 1940-х:

– Образ Ольги не совсем удался Пушкину.

Это написал в школьном сочинении какой-то ученик, видимо, 8-го класса (мне рассказал его одноклассник).

Гнев учительницы не имел границ:

– Что ты пишешь?! “Образ Ольги не совсем удался Пушкину”! Чему вас учут? Разве вас учут, что не удался?! Вас учут, что удался!.. Двойка!!!

Как у этого демифологизатора получился этот маленький шедевр, мы не знаем и уже не узнаем. Наверно, сказалось очевидное предпочтение, отдаваемое Онегиным, да и самим Пушкиным, Татьяне, но откуда взялась эта зрелая, в целом сочувственная, но добросовестно, по-аптекарски, дозированная в своей объективности интонация? Просочилась из разговоров взрослых? Из слов той же учительницы о каком-нибудь менее бесспорном авторе? “Образ Стародума не совсем удался Фонвизину”? “Образ Софьи не совсем удался Грибоедову”?

Так или иначе, фраза хороша, а еще лучше она по контрасту с истеричной реакцией преподавательницы, от которой ожидалось бы что-нибудь более взвешенное.

По контрасту, который и не дает этому диалогу уйти в прошлое. Ведь счеты у нас сегодня не с классиками (они – какие есть, такие есть), а с их блюстителями, то исступленно топающими на каждое “не совсем” ногами, то насупленно его замалчивающими. Дело не в Ольге, а в том, что образ Пушкина (Хлебникова, Ахматовой…) не совсем – или чересчур? – удался литературному истеблишменту.

“Срезал!”

Это было летом, в Москве, на одной из тех ежегодных вечеринок—ассамблей, где собирается теплая компания моих старинных коллег. Старинных, но в основном все-таки младших, хотя бывают и мои сверстники и даже двое-трое чуть постарше меня, а самому общительному и остроумному – всеми обожаемому патриарху этого сообщества – вообще за 80. С ним мы по давней традиции театрально пикируемся перед знакомой аудиторией, разыгрывая показательный интеллектуальный поединок – дескать, кто кого? а знаете ли вы, что? и как вы парируете вот это? – но с неизменным взаимным уважением, он немного, что ли, по-отцовски покровительственно, а я по-сыновнему почтительно.

При этом, он обычно восседает где-то в центре, я же работаю по краям, так сказать, на ковре, он ведет главную партию, а я поставляю неожиданные вариации, этакие партизанские наскоки. Распределение ролей вполне адекватное, тем более что он с некоторых пор важничает – принимает свои титулы, премии и почетные должности чересчур всерьез, а меня хлебом не корми, дай подорвать чей-нибудь священный авторитет.

В этот раз карта легла на редкость для меня удачно, и я его практически нокаутировал. Вот как это было.

Он сидел за столом, уставленным едой и напитками, в окружении поклонниц (сидеть ему уже давно легче, чем ходить), а я перемещался от группы к группе, что-то попивая и чем-то закусывая, когда вдруг услышал обращенную ко мне нарочито вызывающую реплику:

– Алик, а можно задать Вам деликатный вопрос?

Деликатный? Это публично-то?! Напористая фразировка, победительная интонация, заранее торжествующая улыбка – все это не оставляло сомнений в характере надвигавшейся опасности. Но я был к ней давно готов и все ждал, когда же и кем – уж не им ли? вот бы здорово! – будет сделан предсказуемый ход.

– А можно я отвечу, не дожидаясь вопроса? Верхнее, – я назвал его по имени отчеству, – верхнее!

– Как Вы сказали? Верхнее?!

– Да-да, верхнее. В смысле: белье не нижнее, а верхнее.

– Как же вы догадались, чту я имел в виду? – покорно признавая мою победу, спросил он.

– Как, как… Так Вам все и скажи. У нас есть свои методы, – со скромным достоинством завершил я этот раунд.

Для собравшихся смысл происходящего был очевиден – в

самом буквальном значении этого слова. На вечеринку я пришел в недавно купленной новомодной рубашке горчичного цвета, очень похожей на топ кальсонного гарнитура. При покупке в сантамоникском магазине REI (как я потом узнал, престижном) она вызвала у меня аналогичные сомнения, и я специально допросил продавщицу, каковая заверила меня, что да, да, одежда верхняя, верхняя, что, впрочем, не мешало Ладе еще долго настаивать, что на работу в этом лучше не появляться (она ошибалась, – секретарша и аспиранты хором подтвердили, что рубашка о'кей).

Так что насчет «методов» я, конечно, приврал – напустил дополнительной важности. Но извне все смотрелось в духе сеанса черной магии и прошло на ура, тем более, что мой оппонент еще несколько раз в течение вечера допытывался, как это я прочел его мысли, но я не раскололся.

Однако задним числом определенный метод, увы, налицо, не в том смысле, что я им сознательно руководствовался, а в том – удручающем – интертекстуальном смысле, что ничего нового сказать практически невозможно, в лучшем случае удается пролепетать что-то карликовое с плеч гигантов.

Первым на память приходит, конечно, Остап Бендер, мгновенно раскусывающий своих партнеров. Например, только что выпоротого соседями Лоханкина, у которого он собирается снимать комнату:

> " – Васисуалий Андреевич, вас незнакомый мужчина спрашивает. <…>
>
> Васисуалий Андреевич живо вскочил, поправил свой туалет и с ненужной улыбкой обратил лицо к вошедшему Бендеру. <…>
>
> – Да, да, – пролепетал Лоханкин <…> видите ли, тут я был, как бы вам сказать, немножко занят… Но… кажется… я уже освободился?.. <…>
>
> – Торговаться я не стану, – вежливо сказал Остап, – но вот соседи… Как они?
>
> – Прекрасные люди, – ответил Васисуалий. <…>
>
> – Но ведь они, кажется, ввели в этой квартире телесные наказания?
>
> – Ах, – сказал Лоханкин проникновенно, – ведь в конце концов кто знает! Может быть, так надо! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда!
>
> – Сермяжная? – задумчиво повторил Бендер. – Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас

вытурили за неуспешность? Из шестого?

– Из пятого, – ответил Лоханкин.” (“Золотой теленок”, II, 13).

Ну, Лоханкина Бендеру вычислить нетрудно. К тому же он, с позволения подыгрывающих ему авторов, получает щедрую подсказку, обнажающую интеллектуальные штампы собеседника (*так надо; сермяжная правда*).

Но более достойному противнику великий комбинатор может иной раз и проиграть.

Вот он приходит к Корейко с похищенными у него накануне десятью тысячами – в расчете, что, взяв их, тот признается в своих подпольных богатствах.

“…Остап приступил к делу. <…>

– Хотим вас обрадовать.

– Любопытно будет узнать. <…>

Бендер полез в карман. <…> На свет появилась железная коробка от папирос «Кавказ». Однако ожидаемого Остапом возгласа удивления не последовало. Подпольный миллионер смотрел на коробку с полнейшим равнодушием. Остап вынул деньги, тщательно пересчитал их и, пододвинув пачку к Александру Ивановичу, сказал:

– Ровно десять тысяч. <…>

– Вы ошиблись, товарищ. <…> Какие десять тысяч? <…>

– Ведь вас вчера ограбили?

– Меня никто не грабил.

– Да как же не ограбили? <…> Вчера у моря. И забрали десять тысяч. Грабители арестованы. <…>

– Да, ей-богу же, меня никто не грабил. <…> Тут явная ошибка.

Еще не осмыслив глубины своего поражения, великий комбинатор допустил неприличную суетливость, о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом. Он настаивал, сердился, совал деньги в руки Александру Ивановичу <…> Корейко пожимал плечами, предупредительно улыбался, но денег не брал. <…>

– Ну, как вы думаете, откуда у меня может быть столько денег?

– Верно, верно, – сказал Остап, поостыв. – Откуда у мелкого служащего *такая уйма денег?..*” (“Золотой теленок”, II, 14)

Фразу, которой Остап рассчитывал пригвоздить Корейко, тот издевательски произносит сам.

Легкие победы, как у Бендера над Лоханкиным, в изобилии встречаются у Булгакова. Классический случай, вошедший в пословицу, – разговор Воланда с буфетчиком, жалующимся, что воландовские червонцы обратились в простые бумажки.

> “ – Это низко! – возмутился Воланд, – вы человек бедный… ведь вы – человек бедный?
>
> Буфетчик втянул голову в плечи, так что стало видно, что он человек бедный.
>
> – У вас сколько имеется сбережений?
>
> Вопрос был задан участливым тоном, но все-таки такой вопрос нельзя не признать неделикатным. Буфетчик замялся.
>
> – Двести сорок девять тысяч рублей в пяти сберкассах, – отозвался из соседней комнаты треснувший голос, – и дома под полом двести золотых десяток. <…>
>
> – Ну, конечно, это не сумма, – снисходительно сказал Воланд <…> хотя, впрочем, и она, собственно, вам не нужна. Вы когда умрете?
>
> Тут уж буфетчик возмутился.
>
> – Это никому не известно и никого не касается, – ответил он.
>
> – Ну да, неизвестно, – послышался все тот же дрянной голос из кабинета, – подумаешь, бином Ньютона! Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года, от рака печени в клинике Первого МГУ, в четвертой палате. <…>
>
> – Девять месяцев <…> двести сорок девять тысяч… <…> Маловато, но при скромной жизни хватит. Да еще десятки.
>
> – Десятки реализовать не удастся, – ввязался все тот же голос, леденя сердце буфетчика, – по смерти Андрея Фокича дом немедленно сломают и десятки будут отправлены в госбанк”. (“Мастер и Маргарита”, 18)

Воланд и ассистирующий ему из соседней комнаты Коровьев угадывают даже не мысли буфетчика, а нечто еще более сокровенное, отчасти и ему самому неведомое, – масштабы и судьбы его сбережений, причину и даже дату смерти. Полное превосходство опять-таки на стороне распознавателей, в данном случае благодаря их сверхчеловеческой природе.

А вот более серьезный вариант подобного разгадывания –

между персонажами, если не равными, то все же сопоставимыми по умственному развитию.

> “Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованного <…> и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, что проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова: «Повесить его». Изгнать <…> велеть затемнить комнату, повалиться на ложе, потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гемикранию. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора. <…>
>
> – Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина? <…>
>
> И вновь он услышал голос:
>
> – Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет. <…>
>
> – Ну вот, все и кончилось, – говорил арестованный, благожелательно поглядывая на Пилата, – и я чрезвычайно этому рад. <…> Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека. <…> Беда в том <…> что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. <…>
>
> Тогда раздался сорванный, хрипловатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего:
>
> – Развяжите ему руки”. (“Мастер и Маргарита”, 2)

Иешуа не только ставит Пилату диагноз, но и немедленно исцеляет его, так что торжество распознавателя оказывается полным, особенно по контрасту с невыигрышностью его

исходного положения.

Во всех этих сценах тема интеллектуальной дуэли органично сплетена с темой власти, особенно остро стоявшей в тридцатые годы. Причем победа могла оставаться как за оппонировавшими режиму умниками (излюбленный ход Булгакова), так и за властями предержащими. У всех на слуху сцена, заключающая I действие “Дракона” Шварца:

> “*Лакей*. Здравствуй, Эльза.
> *Эльза*. Здравствуй, Генрих.
> *Генрих*. Ты надеешься, что Ланцелот спасет тебя?
> *Эльза*. Нет. А ты?
> *Генрих*. И я нет.
> *Эльза*. Что дракон велел передать мне?
> *Генрих*. Он велел передать, чтобы ты убила Ланцелота, если это понадобится.
> *Эльза* (в ужасе). Как?
> *Генрих*. Ножом. Вот он, этот ножик. Он отравленный…
> *Эльза*. Я не хочу!
> *Генрих*. А господин дракон на это велел сказать, что иначе он перебьет всех твоих подруг.
> *Эльза*. Хорошо. Скажи, что я постараюсь.
> *Генрих*. А господин дракон на это велел сказать: всякое колебание будет наказано, как ослушание.
> *Эльза*. Я ненавижу тебя!
> *Генрих*. А господин дракон на это велел сказать, что умеет награждать верных слуг.
> *Эльза*. Ланцелот убьет твоего дракона!
> *Генрих*. А на это господин дракон велел сказать: посмотрим!”

Особая унизительность этого диалога для Эльзы состоит в том, что разговаривать ей приходится не с главным противником, *господином драконом*, а с его жалким посыльным, и, конечно, в том, что ее реплики оказываются угаданными заранее. Кстати, обидное дублирование великого мастера распознаваний его циничным подмастерьем налицо и в сцене между Воландом, буфетчиком и Коровьевым. А весь букет шварцевских эффектов восходит к общему учителю наших авторов – Достоевскому, живописателю психологической рефлексии и властных игр, особенно между нелюбезными ему “умными” людьми.

> “Липутин <…> явился к Николаю Всеволодовичу <…> и убедительно просил его <…> пожаловать к

нему <…> на вечеринку. <…> [Ставрогин] угадал, что Липутин зовет его теперь вследствие вчерашнего скандала в клубе и что он, как местный либерал, <…> искренно думает, что <…> это очень хорошо. Николай Всеволодович рассмеялся и обещал приехать.

Гостей набралось множество. <…> [М]олодежь <…> затеяла под фортепиано танцы. Николай Всеволодович поднял мадам Липутину – чрезвычайно хорошенькую дамочку <…> сделал с нею два тура, уселся подле, разговорил, рассмешил ее <…> вдруг, при всех гостях, обхватил ее за талию и поцеловал в губы, раза три сряду, в полную сласть. <…> Николай Всеволодович взял шляпу, подошел к оторопевшему среди всеобщего смятения супругу <…> и пробормотав ему наскоро: «не сердитесь», вышел. Но завтра же <…> подоспело довольно забавное прибавление к этой <…> истории <…> доставившее с тех пор Липутину некоторый даже почет. <…>

Часов в десять утра, в доме госпожи Ставрогиной явилась работница Липутина, Агафья, развязная, бойкая и румяная бабенка, лет тридцати, посланная им с поручением к Николаю Всеволодовичу и непременно желавшая «повидать их самих-с». <…>

– Сергей Васильич <…> – бойко затараторила Агафья, – перво-на-перво приказали вам очень кланяться и о здоровьи спросить-с <…>?

Николай Всеволодович усмехнулся.

– Кланяйся и благодари, да скажи ты своему барину, от меня, Агафья, что он самый умный человек во всем городе.

– А они против этого приказали вам отвечать-с, – еще бойчее подхватила Агафья, – что они и без вас про то знают и вам того же желают.

– Вот! да как мог он узнать про то, что я тебе скажу?

– Уж не знаю, каким это манером узнали-с, а когда я вышла и уж весь проулок прошла, слышу они меня догоняют без картуза-с: «Ты, говорят, Агафьюшка, если, по отчаянии, прикажут тебе: «Скажи, дескать, своему барину, что он умней во всем городе», так ты им тотчас на то не забудь: «Сами очинно хорошо про то знаем-с и вам того же самого желаем-с».” (“Бесы”, I, 2)

Сходства очевидны и комментариев не требуют. Замечу разве, что начинается эпизод с угадывания Ставрогиным хода мыслей

Липутина, который в дальнейшем и отвечает ему тем же, но с превышением, как теперь говорится, асимметрично.

…Возвращаясь к поединку на московской ассамблее, с умным человеком, согласно Смердякову, и поговорить любопытно. А любопытнее всего – что все уже было, было.

Сократик, сократись

Когда несколько лет назад в медлительном американском издательстве “Slavica” наконец вышел сборник по материалам конференции о Кузмине, организованной Ладой,[54] она захотела устроить его презентацию в Москве. Коллега, курирующая один из элитных домов-музеев, охотно согласилась предоставить помещение, но сказала, что решает все не она, а директриса, которая, скорее всего, будет не против, но наверняка потребует дать этому мероприятию глубокомысленное философское название.

Переговоры шли по мобильнику: мы говорили из Санта-Моники, коллега – из своей московской квартиры. Обрывки платоновского диалога разлетались в мировом эфире.

Лада терялась, не зная, какое придумать название, и за помощью обратилась ко мне. На заглавия я зверь. Я предложил несколько, из них помню одно: “Михаил Кузмин и геецентрическая картина мира”.

По-моему, здорово. Но Лада, хотя и давилась от смеха, транслировать это в Москву отказалась. Презентация была согласована под каким-то более невинным названием и в дальнейшем состоялась.

А мне жаль моего детища. Тем более что шансов на успех в России у него с годами, а последнее время и месяцами, все меньше. Там с этим вообще швах.

Из подвалов памяти всплывает старый анекдот, одновременно еврейский и гомосексуальный. По-видимому, дореволюционный, так сказать, времен Кузмина.

> “В глухое местечко приезжает столичный интеллектуал с лекцией о гомосексуализме. Старые евреи, группирующиеся около синагоги, идти на такое, конечно, не могут и решают послать кого-то из молодых. Тот идет и по возвращении отчитывается:

– Вос фар общэ впечатленэ – зер сложнэ. Абер конкретнэ – дер тохес хот а грэйсе будущэ.”[55]

Вместе с тохесом, надеюсь, *грэйсе будущэ* имеет и моя формулировка. К сожалению, будущему, подобно линии горизонта, свойственно по мере приближения отодвигаться.

Name dropping [56]

Горький, Зонтаг

Так сошлось, что накануне юбилейного празднования, устроенного мне Быковым (22 сентября 2012 года в Тургеневской библиотеке), я страшно отравился едой из престижной кулинарии (как мне потом объяснили, высокая цена ничего в Москве не гарантирует – скорее наоборот: дорогую еду не раскупают, и она продается в тухлом виде), всю ночь мучился, глотал лекарства, на свой вечер явился изящно исхудавшим, следующую ночь, в преддверии отлета в Калифорнию, провел вообще в ступоре, вызванном, по-видимому, чрезмерным приемом медикаментов, поддался на уговоры встревоженной жены о вызове “скорой”, получил спасительный укол, уснул, а утром уже полусидел-полулежал в “Шереметьево” в ожидании рейса.

Лада обзванивала по мобильнику друзей, бывших на вечере, с благодарностью за приход и бюллетенем о моем здоровье.

– Гандлевский соболезнует, спрашивает, можешь ли ты лететь?

– Скажи: лететь может – ползти не может!

Пересказ собственных острот – последнее дело, как и подыскание извиняющих его обстоятельств. Бесполезно ссылаться на свое жалкое состояние, буквально взывавшее о преодолении Словом, поскольку пишу я это год спустя, правда, в Москве, но, тьфу-тьфу, в более или менее добром здравии.

Как выкрутиться, не знаю. Разве что сделав еще один вербальный виток – выдав свою хохму за интертекстуальную задачку, решение которой для постсоветского читателя может представить определенную трудность. В порядке подсказки напомню, что предметом элитного – кэмпового – потребления иногда становятся пошлейшие тексты предыдущих эпох. (Кажется, заодно наклевывается и перекличка с просроченной говядиной.)

Бернштейн, Хайдеггер

Как-то раз президент поехал в Сочи, чтобы задать показательную – перед телекамерами – выволочку вороватым прорабам олимпийской стройки. Уличив очередного босса в отставании от графика, он потребовал гарантий, что тот все-таки

уложится в срок.

– Обещаете?

– Постараемся, Владимир Владимирович.

– Постараетесь или сделаете?

– Будем делать все возможное, Владимир Владимирович.

– Будем делать, будем делать!.. Что же у вас получается? Движение – всё, цель – ничто?! Это троцкизм!!

Троцкизм?.. В смысле: ревизионизм?.. Нет, не брошу спасательного интертекстуального круга молодежи, не прошедшей боевого крещения основами марксизма-ленинизма и потому неспособной оценить столь причудливую игру означающих. И прямо перейду к ответу на вопрос, возникающий у более искушенного наблюдателя: чту же – хотя бы приблизительно, чту – думал, говоря это, человек, от которого столько зависит в нашей многострадальной стране? Боюсь, что ничего он такого особенного не думал, то есть думал что-нибудь свое обычное, типа: “Ща я вам всем покажу!”. А говорил вообще не он: им, как и всеми нами, говорил язык, худо-бедно усвоенный в нежном возрасте.

Словесный аспект здесь принципиально важен. Простым опусканием подчиненных властитель ограничиться не пожелал. Ему надо было поднять свой начальственный разнос на философский уровень. Тут-то и пригодились подзабытые, неуместные, но источающие ауру научной непререкаемости “основы”. Причем в некоторой свободе риторического маневра ему, пожалуй, не откажешь: для чужих он выбирает низкий слог (*лезть гриппозным носом, мочить в сортире* и т. п.), для своих – высокий, интеллектуальный, с – *измами*.

Бабель

Тут недавно в связи с участием в одном полумеждународном мероприятии мне причитались деньги. Причитались, но как-то все не выдавались. По ходу этого дела я общался – то лично, то по электронной почте, то по телефону – с соответствующими должностными лицами. Среди них помимо далекой и недосягаемой спонсорши выделялись две релевантные фигуры – координатор и бухгалтер, тоже дамы.

Nomina sunt odiosa,[57] поэтому их опустим.

Координатор держалась вальяжно, с претензией на светскость, но и с самого начала ничего толком не координировала, а в дальнейшем на почту практически не отвечала и постепенно из кругооборота вообще выпала. Бухгалтер

же изображала деловитость, писала и звонила, но от выплаты уклонялась, объясняя, что как бухгалтер она ничего не решает, выполняет волю вышестоящих инстанций и только следит за правильным оформлением бумаг.

Впрочем, однажды, в ответ на очередное напоминание, она немного расчувствовалась, сбросила маску бухгалтерской невозмутимости и с некоторым надрывом, ощущавшимся даже в электронном письме, спросила, не ожидаю ли я, что она заплатит мне из своих?! Я, разумеется, заверил ее, что о таком и не помышляю, а лишь пытаюсь уточнить, когда же поступят спонсорские. Другой раз она удивила меня своей, как бы это сказать, непрофессиональной откровенностью, когда стала объяснять задержку выплаты внезапным ростом курса евро, на который российские спонсоры, видимо, не рассчитывали и в результате оказались на мели.

Дело тянулось, тянулось, а потом вдруг взяло и разрешилось ко всеобщему удовлетворению. Бухгалтер самолично приехала ко мне, чтобы вручить деньги. Разговорившись по этому приятному поводу с ней о том о сем, я задал ей какой-то посторонний финансовый вопрос – дескать, что она скажет как бухгалтер? И тут она, тоже, видимо, приведенная мирным исходом конфликта в расслабленное состояние, призналась:

– А я не бухгалтер.

– Как это не бухгалтер? Вы же все время пишете: “Я как бухгалтер…”

– Да нет, я не бухгалтер. Я племянница… (прозвучало, в родительном падеже, имя-отчество главной спонсорши). Я ей говорю: “Я же не бухгалтер”. А она говорит: “Чего там? Берись! Заодно прокатишься в…” (прозвучал, в винительном падеже, неотразимый европейский топоним).

На этом наши контакты закончились. А разгадку лингвистического парадокса – *бухгалтер* или *не бухгалтер*? – дала Лада. Она сказала:

– Ты просто не расслышал запятую. Там была запятая.

– Какая запятая?

– Та, которая перед *как* в значении “в качестве” не ставится, а в значении “подобно” – ставится.

Поставленная вовремя запятая действительно ставит все на свои места. Ее, наверное, следует отнести и к координаторше, хотя степень ее родства со спонсоршей остается пока не выясненной.

Начать и кончить

Занявшись тем, что я назвал инфинитивной поэзией, и написав несколько статей по ее теории и истории (оказалось, что она вовсе не начинается с блоковского “Грешить бесстыдно, непробудно…”, а уходит на пару с лишним веков вглубь нашей литературной традиции и как минимум вдвое глубже в европейской), я вскоре с удивлением осознал, что наибольшее удовольствие получаю не столько от научного ее осмысления, сколько от коллекционирования – обнаружения каждого очередного ее образца, будь то русско – или иноязычного. И понял, что естественным плодом моих занятий были бы не научные статьи, а антология, пусть основательно аннотированная, но именно антология – академический продукт, наиболее близкий к коллекции.

Где публиковать такую антологию, не представлялось мне биномом Ньютона. Ясно, что в новой, зеленой, серии Библиотеки поэта, редакционная коллегия которой состояла почти сплошь из знакомых коллег.

Поэтому, оказавшись летом в Москве (думаю, что речь идет о 2003 годе), я немедленно поделился этой идеей с Андреем Зориным, которому ранее уже рассказывал о своем открытии. Зорин вроде бы поддержал идею, но выразил опасение, что ее не одобрит М. Л. Гаспаров, от которого, конечно, зависит многое.

– С Гаспаровым я поговорю, но вы-то не возражаете? (Тогда мы были еще на “вы”.)

– Нет.

Заручившись согласием Зорина, я приготовился говорить с Гаспаровым. На его поддержку я мог рассчитывать потому, что он был первым, кому я за несколько лет до этого радостно (звонком из Санта-Моники в Москву) доложил о возможности распространить близкую ему концепцию семантических ореолов с ритмики на поэтический синтаксис и встретил полное понимание. Действительно, услышав о проекте антологии и его одобрении Зориным, Гаспаров отнесся к нему положительно. Но он усомнился в его практической реализуемости.

– Шефнер будет против, – сказал он.

Насколько я знал, Вадим Шефнер незадолго до того умер, причем в крайне преклонном возрасте, да и при жизни к Библиотеке поэта отношения вроде бы не имел. Спорить с Михаилом Леоновичем о литературных фактах, датах и других числовых показателях было делом рискованным, но я все-таки осмелился.

– По-моему, Шефнер умер.

– Ах, извините, Кушнер, Александр Кушнер. Кушнер будет против.

– Кушнера я вскоре увижу в Петербурге. Могу я сказать ему, что вы за?

– Да-да, но он будет против. А главное, не согласится реальный коммерческий директор серии Игорь Немировский, владелец “Академического проекта”.

– Поговорю и с ним.

Приехав в Петербург, я встретился с Немировским, пересказал ему свои беседы с Зориным и Гаспаровым, показал свои файлы, мы обсудили оптимальные объем и тираж антологии и возможности финансирования, но окончательное решение отложили до моего визита к Кушнеру – главному редактору серии.

С Кушнером, стихи которого я люблю издавна, я познакомился лично уже в годы перестройки. Мы стали видеться и дружить домами, и тем летом я собирался к нему и Лене Невзглядовой на дачу в Вырицу вместе с Андреем Арьевым. Мы приехали днем, поели, выпили, все вчетвером погуляли по лесу, искупались в Оредеже, потом снова выпили – более основательно, уже под суп и второе… Обстановка для антологии складывалась благоприятная, но я проявлял выдержку и не торопил событий. Слово за слово, Кушнер предложил мне выпить на брудершафт, что мы и проделали, благодаря чему градус общения поднялся еще на несколько делений.

Наступало время действовать.

Слегка заплетающимся языком я изложил понятие инфинитивной поэзии и кратко подытожил суть моих переговоров с Зориным, Гаспаровым и Немировским. И вдруг наткнулся на неожиданный отпор со стороны Лены, тоже литературоведа-поэтолога.

– Алик, что вы такое говорите? Бывают инфинитивы в поэзии, но никакой особой инфинитивной поэзии нет и быть не может.

– Лена, на вашей стороне то небольшое преимущество, что Вы сравнительно трезвы, но на моей гораздо большее – я занимаюсь этой темой уже четыре года и написал несколько статей, которые буду рад, вернувшись в Москву, вам послать. И вы как честный офицер признаете, что инфинитивная поэзия очень даже может быть и бывает. Есть, есть такая поэзия, – немного по-ленински закончил я.

– Конечно, присылайте, – отозвалась гостеприимная Лена.

– И вы увидите, что немалое ее количество написано присутствующим здесь Сашей и другими современными поэтами,

каковые и займут в моей антологии достойное место.

Это была сильная домашняя заготовка, и Кушнер не мог на нее не отреагировать.

– Алик, не в этом дело. В Библиотеке поэта есть правило, что стихи живых поэтов не включаются.

– А Исаковский? – выдал я напрашивавшееся банальное возражение.

– Ну, там, как вы знаете, были особые причины. Живых нельзя.

– Жив-вых, нежив-вых. С-странно с-слышать такое от п-па-эта. – Я старательно поддал в свой прононс алкогольных паров. – Сегодня, С-саша, ты ж-живой, а завтра… завтра… в-вечно живой. К тому же, как показано в моих работах, инфинитивная поэзия трактует именно о в-виртуальном ино-б-бытии…

Разговор продолжился в этом навязанном мной полувиртуальном ключе, но коснулся и возможных практических шагов; какие-то деньги Кушнер надеялся получить на это дело даже от мэрии.

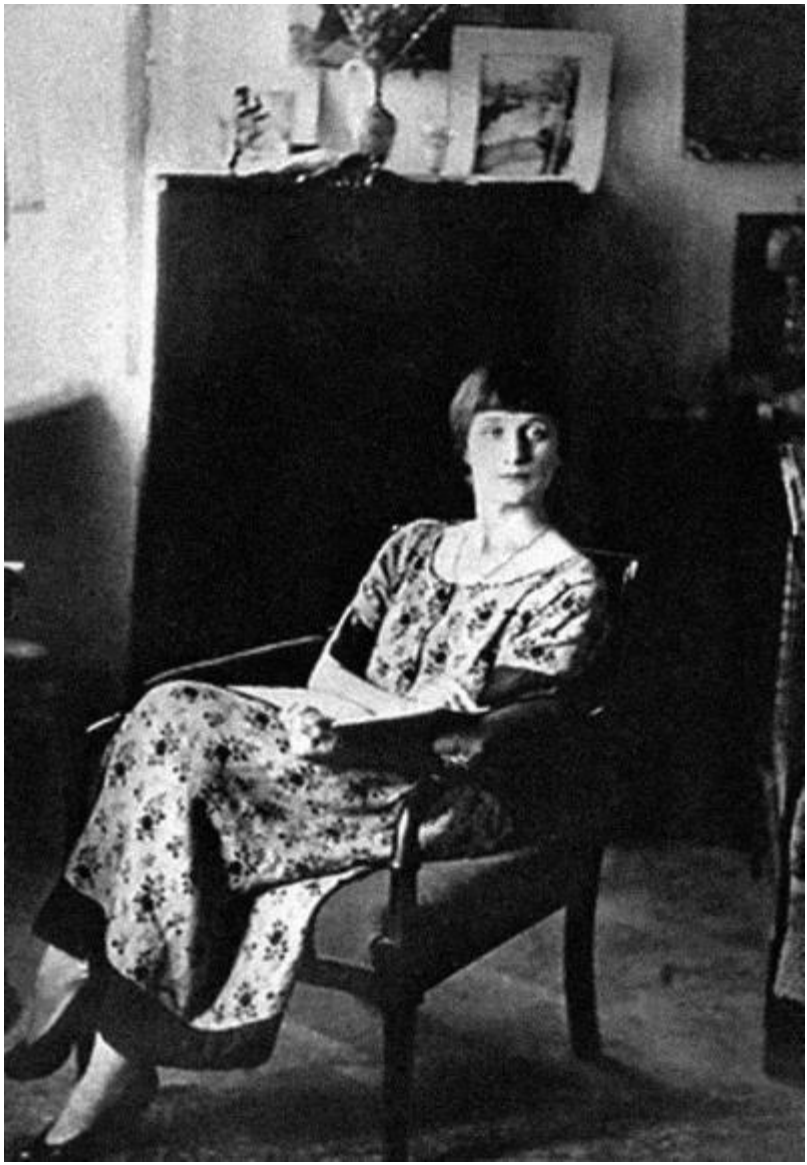
Пили и болтали еще долго, на чем вернулись в город, не помню. Из Москвы я послал Лене обещанные статьи, она их почитала и вскоре разразилась собственной, так что инфинитивная поэзия, можно сказать, засуществовала вовсю. А Кушнер вскоре написал, что готов включить антологию в план – но, разумеется, из одних только классиков.

После этого мы с Немировским по телефону и электронной почте долго обсуждали практическую сторону дела и возможность выбить какой-нибудь российский грант. Потом я получил небольшой грант у себя в университете, потом Гаспаров умер, а Немировский переехал в Штаты, и Новая библиотека поэта сильно обеднела морально и материально…

Но главное – не это. Главное, что я до сих пор не довел антологию до публикабельного вида. Так что виртуальность, присущая этому проекту по самой его природе и окружающая его со всех сторон, нависает над ним до сих пор.

Против ветра

С Дмитрием Быковым мы не только дружим – у нас есть и совместное произведение. Это его интервью со мной о книге Тамары Катаевой “Анти-Ахматова”. У него оно называется “Суд над Ахматовой. *Снова пострадала и снова в августе*”,[58] а у меня – “«Анти-Катаева». *Интервью*”.[59] Я там отстаиваю идею подрыва культов, он – неприкосновенность фигуры великого поэта. Пересказывать наш интеллектуальный поединок нужды нет, он легко доступен в Сети, история же его публикации может быть любопытна, тем более что она сопровождалась параллельным соперничеством двух фотографов.



*Анна Ахматова. Фото Н. Кириллова (*1924*)*

Тем летом я, как всегда, был в Москве, мы с Димой регулярно общались, как вдруг он позвонил в сильном возбуждении:

– Алик! Знаете ли вы книгу Катаевой “Анти-Ахматова”?!

– Знаю, – не преминул я зайти с козырей. – У меня есть экземпляр с авторской надписью.

– Как? Откуда? Вы с ней знакомы?

– Нет, но мне от ее имени принесли и вручили эту книгу.

– Вы уже посмотрели? Это же ужас! Что делать? Отвечать – лишняя реклама, игнорировать – получится, что нечего возразить.

– Да, я посмотрел, и мне есть что сказать. Ужас, ужас, но не ужас-ужас. Видимо, наболело. Можете взять у меня интервью.

– Отлично! Для “Огонька”, в понедельник уже выйдет. Завтра буду у вас на Маяковке.

К приходу Быкова я более или менее изучил книгу Катаевой и приготовил, что говорить. Прибыл он не один – с фотографом и подругой. Подруга тактично держалась в сторонке, а фотограф, напротив, был явно важной персоной, чье время дорого, так что начали со снимков. Это заняло минут 20. Он расставил свое оборудование, долго щелкал меня в разных прикидах, позах и ракурсах, за столом, на фоне книг, у окна, с Быковым и без, после чего сложил аппаратуру и отбыл. Пора было переходить к делу.

Мы сели за письменный стол друг напротив друга, Дима начал задавать вопросы, я начал было на них отвечать, как вдруг заметил, что он без диктофона. Я запротестовал, Лада меня поддержала, он стал извиняться и уверять, что все и так запомнит, я в ответ стал грозиться, что никакой отсебятины не допущу, ибо привык отвечать за свои слова… В общем, порешили на том, что он запишет все от руки, пришлет отделанный файл, оставляя за мной полное право редактуры и даже вето. Мы стали беседовать, и я с сомнением наблюдал, как он что-то невнятное карябает на клочке бумаги.

На другой день файла не было, но я смолчал, на третий я стал требовать немедленной присылки, наконец, в субботу, тот есть практически накануне выхода журнала, получил по электронной почте текст интервью.

Впечатление было неслабое. Все, что я говорил, было передано бережно, полно и адекватно, ну разве что немного более удачно, чем дано выражаться простым смертным. Лучшие слова в лучшем порядке. В общем, претензий у меня могло быть не больше, чем у Марка Антония к Вильяму нашему Шекспиру по поводу знаменитого монолога: “Friends, Romans, countrymen, lend me your ears…” (“Друзья, сограждане внемлите мне…” в пер. М. Лозинского).

Я выразил Диме свое восхищение, и мы с Ладой стали ждать понедельника, чтобы увидеть воочию волнующее интервью. Благо киоск был прямо перед домом, Лада съездила вниз и, загадочно улыбаясь, вручила мне номер “Огонька”. Я раскрыл его с привычной опаской – чту там из моих золотых слов выбросили редакторы, и с тревожным предвкушением – как я там вышел на фото. Увиденное превзошло ожидания.

Мой текст был в порядке, зато обращение редакции с нашими совместными усилиями, включая творческий подвиг оставшегося неведомым фотографа, подтвердило-таки близкую моему сердцу

зощенковскую поэтику недоверия. Вместо меня или нас с Быковым (я уж не говорю о Катаевой), рядом с интервью, совершенно его затмевая, красовался огромный, мастерский, неотразимый фотопортрет тридцатипятилетней Ахматовой (работы Н. Кириллова, 1924 года), в изысканном платье с цветами, в роскошном кресле, в полной спокойного достоинства позе, с книгой, возможно, художественным альбомом, в руках.

Имя-отчество как таковое

Дайте мне одну кость, и я восстановлю животное.

Жорж Кювье

Ничто этого не предвещало. Это прогремело среди ясного неба, нет, подкралось тихой сапой, да нет, собственно, и не подкралось, а просто безо всякого предупреждения вдруг оказалось уже произнесенным, причем так естественно, по-домашнему уютно, настолько само собой разумеясь, что, кажется, кроме меня, никем вообще и не было услышано. Или почти никем – как минимум одна свидетельница у меня есть.

Ожидать такого, повторяю, не приходилось. Шла вторая половина 2000-х. На конференцию по русскому авангарду в одну из европейских столиц съехался цвет мировой славистики – народ в основном продвинутый. Я не мог поверить своим ушам. Тем более что никаким розыгрышем тут не пахло. Это был, что называется, момент истины. Правда жизни сама, по собственной воле, с неожиданной щедростью и во всей своей наготе раскрылась желающим.

Невероятное признание, слетевшее с уст одной российской участницы, прозвучало не в ударном месте доклада – не в заглавии и не в концовке, да и вообще не в докладе, а в реплике на чей-то вопрос, кажется, даже по поводу не ее выступления, а чьего-то еще. Целиком я ее слов не запомнил – только самое главное. Оно того стоило. Прозвучало нечто вроде: “Это стихотворение очень нравилось Владимиру Ильичу”, или, может быть: “Владимир Ильич очень любил это стихотворение”, или “… этот плакат”, или “…эту статью”. Не помню. Но за “Владимира Ильича” ручаюсь головой.

Сюжет, в общем-то, типа того анекдота, в котором жена, застигнутая с любовником, говорит разгневанному мужу: “Не тронь его – он Ленина видел”. Но эффект был много сильнее, и я вот уже три года, как о нем размышляю.

Дело, думаю, в том, что я оказался втянут в действие мощной архетипической конструкции. Впечатление было как от нечаянного заглядывания в чужую квартиру – как если бы дверь вдруг открыла служанка в совершенном дезабилье, а в глубине виднелась спальня, в которой… ну, и так далее. Впрочем, гривуазные параллели необязательны – диапазон аналогий гораздо шире. По хрестоматийному определению Карла

Сэндберга, “поэзия – это открывание и закрывание двери, предоставляющее зрителям гадать, что промелькнуло перед ними”.

Вспоминаются:

– пушкинский цветок засохший, безуханный, забытый кем-то в книге и вызывающий разнообразные догадки о том, к чему он мог быть причастен;

– аналогичная лермонтовская ветка Палестины;

– оттаявшие звуки почтового рожка в одном из русских приключений барона Мюнхгаузена;

– блоковская пылинка дальних стран;

– судьбоносные для бунинской героини слова о легком дыхании из старинной книги ее детства, всплывающие в разговоре с одноклассницей, а после смерти героини – в памяти ее учительницы;

– треуголка великого лицеиста и растрепанный том Парни, всего лишь столетие назад лежавшие среди мшистых пней Царскосельского парка и таким образом связывающие нас с ним в стихотворении Ахматовой;

– клоп (поскольку речь об авангарде), обнаруживаемый учеными коммунистического будущего (в 1979) на теле размороженного ими персонажа в пьесе Маяковского;

– и другие подобные манифестации механизмов культурной памяти.

Аналогичные построения применяются и в больших повествовательных жанрах, в частности в историческом романе.

> В “Капитанской дочке” читателю 1830-х годов предлагались записки Гринева о временах пугачевщины (1770-е), и в эпилоге сообщалось, что “в одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке… к отцу Петра Андреевича… – оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова”.

Интервал в 60 лет, позволяющий по цепочке непосредственных человеческих связей заглянуть в “доступное прошлое” (visitable past, в формулировке Генри Джеймса, так построившего “Письма Асперна”), был задан уже в заглавии первого романа Вальтера Скотта “Уэверли, или Шестьдесят лет назад”; он же налицо в “Войне и мире”. Примеров множество, хотя, разумеется, длина интервала может колебаться. Эта

конструкция спародирована у Зощенко – в юбилейной речи управдома, вычисляющего, кого из его предков мог запросто брать на ручки Пушкин, а кто из них, наоборот, предположительно качал и нянчил поэта.

Особенно пикантны и филологически любопытны, конечно, истории, в которых из глубин прошлого до нас доносятся – во всей своей не тронутой временем свежести и мгновенно опознаваемой достоверности – именно словесные сигналы.

> Мельчук рассказывал, как во время лекционной поездки в Венгрию его поселили у моложавой вдовы, сдававшей комнаты приезжим. Услышав, что гость из России, она похвасталась, что знает несколько русских слов, привезенных мужем с завьюженного восточного фронта.
>
> – Хе-леб, мала-ко, йай-ка… – произнесла она с деревянной правильностью, – и еще одно очень странное слово, только он его не переводил.
>
> – ??
>
> – Щии-КОТ-наа, – старательно пропела вальяжная венгерка, и в ее облике на мгновение проступили черты какой-то вертлявой рязанской хохотушки времен поистине des neiges d'antan. – Хоть вы скажите мне, что это такое?

Однако вернемся к нашей истории. Тетенька была не первой молодости, но отнюдь не старуха, так что, скорее всего, она не застала не только Владимира Ильича, но и Иосифа Виссарионовича – разве что самый чуток. Поэтому ее короткость с Владимиром Ильичом не надо понимать слишком буквально; сама она его не видела и претендовать на это не собиралась. Но дверь, внезапно распахнутая ее бесхитростной репликой, вела в обычно закрытые от внешнего глаза кельи ее института (архив Максима Горького? отдел Демьяна Бедного? сектор Ивана Бездомного?), где покойник десятилетиями поминался с той неповторимой смесью подобострастия и интимности, о которой сегодня могут дать лишь отдаленное представление произносимые с сакральным придыханием имена – кем Анны Андреевны, кем Надежды Яковлевны, а кем и Лидии Корнеевны.

Королевская речь

Аркадий Блюмбаум – питерский филолог младшего, по моим хронологическим меркам, поколения, а объективно говоря, конечно, уже среднего. Дело, наверное, в том, что познакомился я с ним в его бытность аспирантом Стэнфорда, и это навеки омолодило его в моих глазах.

Аркаша заикается. В Америке о таком говорить почти невозможно, политкорректность не позволяет. Хотя – смотря как говорить. Вспоминается история, рассказанная, не знаю, с большой ли долей вымысла, покойным Василием Аксеновым. Он тогда только что получил профессорскую ставку в Университете Джорджа Мейсона (George Mason), недалеко от Вашинтона. И со своим характерным смешком описывал, как там решался вопрос о приеме на работу нового коллеги.

– Ну, собрались мы, мейсонские Робинзоны…

Это прозвучало немного загадочно, как если бы речь шла о некой масонской ложе Робинзонов, на самом же деле давалось понять, что Василий Павлович – один из почетных профессоров имени миллионера Кларенса Робинсона, спонсировавшего эту элитную касту.

– …Собрались, стали рассматривать дело. Самого-то кандидата не позвали – обсуждали досье. Ну, вроде ничего выдающегося. Пообсуждали, пообсуждали и забаллотировали. Тогда тот Робинзон, который его рекомендовал, говорит, что же это мы ему так сразу от ворот поворот, все-таки человек симпатичный, заслуженный, к тому же заикается (stutters)…

Председательствующий встрепенулся, переспрашивает:

– Stutters?.. He stutters?! He is hired!!! (“Он нанят”).

Так заочно и приняли.

У нас, как писал Зощенко, на этот счет довольно быстро. Скорая помощь. Мариинская больница. Смоленское кладбище (“Иностранцы”). Помню, одно из заседаний Эткиндовских чтений проходило аж в Большом зале самого Пушкинского дома. Зал, и правда, большой, престижный, но акустика ужасная, слушать – и, соответственно, говорить – трудно. Особенно трудно было двум докладчикам, Геннадию Обатнину и Аркадию Блюмбауму. Взойдя на трибуну, Аркадий (он говорил вторым) начал с того, что отметил странный садизм организаторов, поставивших д-двух з-заик под-д-ряд.

Слов нет, нам, гладкоговорящим, влезть в шкуру заики мудрено – разве что на высшем философском уровне, в смысле, что все мы немножко лошади. Но вообще-то ясно, что они

молодцы. Начиная с Демосфена и Моисея и кончая теми, кого я знал, – моим отчимом Л. А. Мазелем, Ю. М. Лотманом, М. Л. Гаспаровым, которые в своей профессиональной деятельности, лекторской, почти не заикались. И уж точно никогда не мямлили, чему с академическим кокетством охотно предаются некоторые докладчики, пытающиеся мыслить, что называется, прямо на глазах. У заики, дорожащего каждым с трудом произносимым словом, слогом, фонемой, дифференциальным признаком, просто нет ни времени, ни сил на эти роскошные э-э-э и м-мэ-э… В ответ на свой дефект он развивает мощную компенсаторную дисциплину, воспитывающую пророков, ораторов, мастеров слова. У папы было даже устное хобби – рассказы с имитациями a la Ираклий Андроников, и уж тут он разливался соловьем.[60]

Имитатором, причем имитатором-миниатюристом, оказался и Аркаша. Я узнал об этом стороной и как-то раз, во время заключительного банкета после Эткиндовских чтений, попросил его показать кого-нибудь. Он заговорщически отвел меня в угол и наскоро, вполголоса, как бы пунктиром, исполнил два номера.

Один назывался “Осповат – начальник станции”. Речей там был минимум, в основном жесты. Типа: “Ну, ты – туда, ты – так, а ты, это, пока постой…” плюс распорядительские кивки, мановения рук, глаз журьба. Мне однажды пришлось наблюдать Сашу Осповата в роли неформального лидера большой литературоведческой компании, ехавшей из Москвы на Тыняновские чтения в Резекне, то есть в недавно ставшую независимой Латвию, и он именно таким манером утрясал билетно-визовые проблемы с железнодорожным и пограничным начальством. Пророческий потенциал Аркашиного этюда подтвердился пару лет назад, когда Саша соткал буквально из воздуха и возглавил филологическое отделение “Вышки” (Высшей школы экономики) в астральной ипостаси научного руководителя без портфеля.

А второй номер был целиком словесный: “Лотман-лектор”, с прозрачной отсылкой к популярным телевизионным лекциям Ю. М. в эпоху перестройки, увенчавшим его карьеру культурного героя. Текст был тоже минималистский, что-то вроде: “А-алекс-сандр С-сергеевич П-пушкин был в-в-великий п-па-паэт. А-а П-пушкин б-был д-действительно а-а в-в-великий п-аэт…”. Произнесенные серьезным, даже каким-то озабоченным тоном, эти слова сразу вызывали в памяти Лотмана, его стремительную походку, сосредоточенный вид, гусарские усы, весь его облик вдумчивого добывателя драгоценных гуманитарных истин. А заикание, дававшееся исполнителю, так сказать, без грима, с неподдельным комизмом разыгрывало контраст между

напряженностью интеллектуального усилия и банальностью сообщаемого результата.

Не знаю, есть ли в Аркашином репертуаре я. И если есть, то радоваться или огорчаться. Однажды он уже публично уделил мне внимание, написав рецензию на первый сборник виньеток. Очень проницательную, местами ядовитую.[61] И, кажется, опасался, не обиделся ли я. Ничего подобного. Главное, я – в хорошей компании.

Что ж вы раньше не сказали?!

На этот раз я нарушу второй пункт жестокой заповеди Ларошфуко – не говорить не только о себе, но и о своей жене.

Собственно, в основном-то речь пойдет не о ней, а об одном старшем коллеге, человеке совершенно блестящем – передовом, остроумном, популярном, писавшем, среди прочего, на семиотические темы. И ничем меня не обидевшем, даже наоборот, всегда отличавшем.

Естественный вопрос: зачем же придираться именно к нему? Естественный ответ: не в мужа же Марьи Иванны всматриваться с ревнивой пристальностью.

И вот этот коллега любит со мной разговаривать, обмениваться остротами, пикироваться на публике и так далее и тому подобное, и абсолютно не замечает моей новой подруги, со временем становящейся новой женой. То есть, держится он с ней вполне светски – как человек воспитанный и в высшей степени красноречивый, – но все это так, в упор не видя.

(Претензий по этому поводу заявлять, конечно, не приходится. Дело известное. Наши друзья-приятели то и дело женятся, разводятся, снова женятся, мы вчуже уважаем их выбор, приглашаем с новыми женами и неженами в гости, все чин по чину, *ноблесс*, как говорится, *оближ*, но сердцу не прикажешь, на вкус и цвет товарища нет, насильно мил не будешь, поговорим о чем-нибудь действительно интересном…)

А потом все вдруг меняется. Происходит, как положено в крепком сюжете, внезапный поворот. Коллега вдруг переключает свое общение с Ладой на режим повышенной куртуазности. В гостях у общих знакомых он даже выходит в переднюю поприсутствовать при ее ритуале перед зеркалом и наконец, объявляет, с присущей ему театральностью:

– А вы, Лада, оказывается, красавица?!

Лада, немало удивленная, начинает отвечать всерьез, в том смысле, что и в молодые-то годы на такое не претендовала, выступая в более скромном жанре хорошенькой женщины, типа окликаемой по-испански *hola, guapa* (“привет, красотка/милашка”).

– Нет-нет, – настаивает он, – красавица. Я недавно прочел стихи, в которых сказано, что вы красавица.

– А-а, – говорит Лада, – понятно.

Дело в том, что незадолго до этого поэт, и не кто-нибудь, а Сергей Гандлевский, написал стишок – именно стишок, шуточный, в рамках игрового обмена литературными

репликами, – со строчками: *Ах, Алик, Алик! Видит Бог, когда же / Мне не до вас с красавицею Ладой!..* Он написал, а я вывесил на своем сайте. И стишок сделал свое дело. Человек, привыкший руководствоваться печатным словом, прозрел прямо на глазах.

Как известно, большинство наших желаний носят имитационный, подражательный характер – ориентируются на те или иные культурные авторитеты.

Ну да, абсолютной независимости не бывает. Даже Баратынский, начав с вызова принятым вкусам: *Красавицей ее не назовут* и т. д., кончает тем, что апеллирует к той же инстанции:

> Но поражен бывает мельком *свет*
> Ее лица необщим выраженьем,
> Ее речей спокойной простотой;
> И *он*, скорей чем едким осужденьем,
> *Ее почтит небрежной похвалой*.

Но должны быть, как выразился однажды мой учитель, какие-то градации. Одно дело – надеяться на эвентуальное признание публикой твоих нестандартных достоинств, другое – рабски следовать готовым мнениям, пусть и новейшим.

И потом, читать надо внимательно, комплимент, да еще написанный в столбик, в стихах, так сказать, мадригал, смаковать cum grano salis.[62] С оглядкой – а вдруг его адресат не просто милашка, а вполне себе филолог, и уж твой-то нехитрый текст видит как на ладони.

Но этого никто авторитетный ему, видимо, еще не прописал.

Красота по-американски – трудности перевода

В одном интервью, когда речь зашла о сериале “Секс в большом городе” (которого, в отличие от “Сайнфельда”, я не переношу), я отметил странные представления американцев о женской красоте и позволил себе назвать некрасивыми Барбару Стрейзанд, Лайзу Минелли, Гленн Клоуз и Сару Джессику Паркер. Ну, за Стрейзанд, Клоуз и Паркер никто не вступился, а за Лайзу Минелли меня в блогах сурово отчитали – в том смысле, что во дает, Лайза Минелли ему некрасивая, можно ли после этого доверять его суждениям о литературе?! В переводе на язык анекдота: “Всю Одессу она удовлетворяет, его одного она, видите ли, не удовлетворяет!”

Разумеется, красота дело субъективное, поскольку, выражаясь по-английски, находится в глазу наблюдателя, а что касается Лайзы Минелли, то вопрос, может, и правда спорный. Она если и не красива, то, конечно, чертовски мила, да таково, в сущности, и ее обычное амплуа.

Но знаменательно, что непризнание ее красивой воспринимается чуть ли не как святотатство. Тут, я думаю, действует харизма власти, статуса, общественного признания. Может ли она быть некрасивой, когда она звезда, лауреат, прославленная актриса?! Я, например, с детства привык считать Сталина красавцем и отделался от этого не сразу, а параллельно все удивлялся, как немцев мог завораживать Гитлер.

Уже из этих примеров ясно, что дело не в личных пристрастиях, а в институализованных вкусах – в том, что Рене Жирар описал как имитационное, или подражательное, желание (mimetic desire). Кстати, на тему о красоте в глазу наблюдателя есть знаменитый ролик из старой американской серии “Сумеречная зона” (Twilight Zone). Он так и называется: “The Eye of the Beholder” (1960).

> Косметическая операция тяжело переживающей свое уродство женщины заканчивается неудачно, но камера почти до самого конца не показывает лиц персонажей, и лишь в последнем кадре зритель видит, что отчаявшаяся пациентка – нормальная американская киноблондинка (актриса Донна Даглас, настоящее имя Дороти Смит; р. 1933), а доктора и медсестры – люди с полусвиными мордами.

В чем же суть задевшего меня американского канона “некрасивой красоты”? Тайна сия невелика есть, и она в какой-то мере уже отрефлектирована – если не впрямую, то под знаком юмора.

> На церемонии вручения Гильдией киноактеров (Screen Actors Guild) премий 2009 г. среди прочих награждалась – за общий вклад в кинематограф – красавица былых времен Бетти Уайт (р. 1922). Премию ей вручала Сандра Буллок (р. 1964), игравшая вместе с ней в недавнем фильме (“The Proposal”; 2009), и, представляя ее, она шутливо пожаловалась, что на съемках та была невыносима (annoying). На что Бетти Уайт в своей благодарственной речи сказала – и эти слова теперь часто цитируются – буквально следующее:
>
> – With all of the wonderful things that have happened to Bullock, isn’t it heartening to see how far a girl as plain as she is can go? (“Сколько замечательного произошло в жизни Буллок, и разве не умилительно видеть, как далеко может пойти простая/неказистая девушка вроде нее?”)
>
> Буллок расхохоталась в ответ и вроде бы не обиделась.

*Кадр из «Eye of the Beholder» (*1960*)*

Дело в том, что Буллок, при всей своей очевидной – для меня и Бетти Уайт – неказистости, периодически входит в списки самых красивых женщин, так что совершенно точная характеристика, данная ей Бетти Уайт (в духе толстовской

княгини Мягкой), вполне могла сойти за иронию.

Ядовитость отзыва Бетти Уайт обезвреживается не только его предположительной ироничностью, но и полной убежденностью американцев в том, что красота, как и любые другие достоинства, дело наживное и каждый(-ая) может, приложив соответствующие усилия, достигнуть всего, чего захочет, – стать миллионером, президентом, художником, поэтом, красавицей. Такова, в конце концов, суть демократии, американской мечты и политкорректности. Что в пределе, конечно, ведет в сумеречную зону.

На ум закономерно приходит советская параллель:

> “Добродетель <…> восторжествовала. Красивых девушек перестали брать на работу в кинематографию. Режиссер мыкался перед актрисой, не решался, мекал:
>
> – Дарование у вас, конечно, есть… Даже талант. Но какая-то вы такая… с физическими изъянами. Стройная, как киевский тополь. Какая-то вы, извините меня, красавица. <…> Одним словом, в таком виде никак нельзя. Что скажет общественность, если увидит на экране подобное?
>
> – Вы несправедливы <…> – говорила актриса, – за последний год (вы ведь знаете, меня никуда не берут) я значительно лучше выгляжу. Смотрите, какие морщинки на лбу. Даже седые волосы появились.
>
> – Ну что – морщинки! – досадовал режиссер. – Вот если бы у вас были мешки под глазами! Или глубоко запавший рот. Это другое дело. А у вас рот какой? Вишневый сад. Какое-то «мы увидим небо в алмазах». Улыбнитесь. Ну, так и есть! Все тридцать два зуба! Жемчуга! Торгсин! Нет, никак не могу взять вас. И походка у вас черт знает какая. Грациозная. Дуновение весны! Смотреть противно!
>
> Актриса заплакала.
>
> – Отчего я такая несчастная? Талантливая – и не кривобокая?
>
> – В семье не без урода, – сухо заметил режиссер. – Что ж мне с вами делать? А ну, попробуйте-ка сгорбиться. Больше, гораздо больше. Еще. Не можете?..” (Ильф и Петров, “Саванарыло”; 1932)

Главная беда тут не в том, что кого-то несправедливо затирают, а кого-то незаслуженно продвигают, – всякое бывает. Опасность – в систематическом поощрении отказа отличать красоту от посредственности, что может привести к отмиранию

(на уровне культурного кода) самой различительной способности. К сожалению, глагол discriminate, “различать, проявлять тонкий вкус, быть пристрастным, дискриминировать” и его производные ассоциируются теперь прежде всего с расовой дискриминацией и тем самым теряют престижность.

Разумеется, подспудно различие между красотой и ее отсутствием все-таки ощущается, и ее контраст с уродством может обыгрываться – при условии, что вещи не называются своими именами.

Вспоминается один эпизод из недолгой карьеры замечательного актера Чарльза Гроудина (Grodin; р. 1935) – я особенно люблю его дуэт с Робертом де Ниро в “Midnight Run” (“Успеть до полуночи”; 1988) – в роли ведущего на собственном ток-шоу (1995–1998). Его гостьей была тогда Руфь Уэстхаймер, более известная в американских СМИ как просто *доктор Рут*.

Ruth Westheimer (в девичестве Karola Ruth Siegel) родилась в Германии (1922). В 1939 году ее родителей арестовали, и они погибли в лагере, Рут же была переправлена в Швейцарию, а после войны эмигрировала в Палестину, где воевала разведчицей и снайпером в боях за независимость Израиля (1948); была ранена. В дальнейшем она окончила Сорбонну, стала психиатром, автором многих книг и телевизионной знаменитостью; была трижды замужем. Ну, что д-р Рут не красотка, доказывать, кажется, не надо, но примечательно, что ее телевизионная слава связана целиком и исключительно с ее амплуа главного специалиста по вопросам эротики и секса, своего рода д-ра Фрейда для бедных. И здесь ее неавантажная внешность (она к тому же недомерок, всего метр сорок ростом) играет ключевую роль, – лишая эротической непосредственности ее разглагольствования о необходимости безопасного секса. Особый шик ее речам придает густой еврейский акцент, удостоверяющий ее как бы венские корни, но в то же время комически выпячивающий и тем самым смягчающий громогласное озвучивание с экрана таких интимных по существу понятий, как эрекция, презерватив, пенетрация, оргазм и др.

В тот вечер она была в ударе и не переставая восхваляла прелести совместного *охгэзма*, разъясняла способы его достижения, но всячески предостерегала против легкомысленного пренебрежения противозачаточными средствами, в особенности презервативами.

> “Д-р Рут. Я всегда говорю молодым людям, что они всегда должны надевать (wear, букв. «носить») презерватив (condom)! Что вы смеетесь?

Ч. Гроудин. Я вовсе не смеюсь.

Д. Р. Вы смеетесь, потому, что вы не относитесь серьезно, к тому, что я говорю.

Ч. Г. *(сдерживая смех).* Я отношусь серьезно…

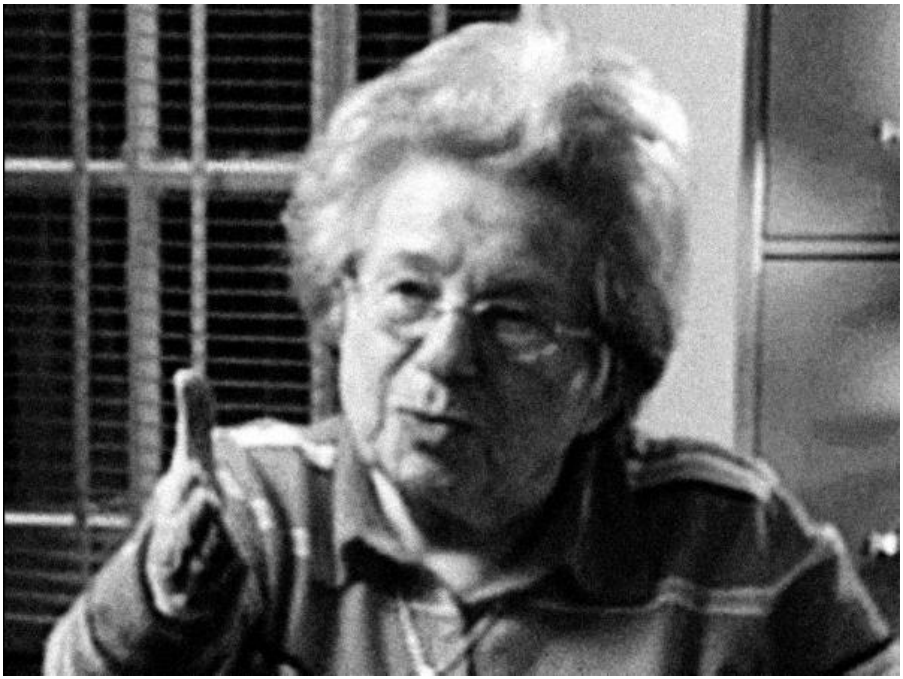
Д. Р. Не смейтесь. Вы должны всегда носить (wear) презерватив.

Ч. Г. Я всегда… Собственно, я и сейчас в нем…”

Потрясающая последняя реплика Гроудина (*Actually, I am wearing one right now*) плохо поддается переводу. Глагол wear, “носить, быть одетым в”, выделяется в этой фразе своей ощутимой конкретностью на фоне совершенно служебных остальных слов: *I*, “я”, *now*, “сейчас”, и особенно *one, букв*. “один”, значение которого гораздо более абстрактно, алгебраично и потому эвфемистично, чем русское “в нем”.

Прием внезапного перехода на личности, в частности, на рискованные факты собственной личной жизни, применяется в подобных ток-шоу нередко. Помню, как Сибилл Шеперд (Cybill Shepherd; р. 1950) – вот уж действительно красавица, – будучи спрошена ведущим об Элвисе Пресли (1935–1977), с которым у нее в начале 70-х был роман и от которого она ушла из-за его неуемного обжорства и наркомании, бойко прочирикала:

“Все знают, что он к концу жизни очень потолстел. Он любил поесть. Он ел всё. Кроме одного. Пока не познакомился со мной («…But there was one thing he wouldn’t eat… until he met me»)”.



*Д-р Руфь Уэстхаймер. Кадр из фильма «Inside Deep Throat» (*2005*)*

Наглая заявка на приоритет в обучении видавшего виды сорокалетнего Пресли куннилингусу (вызвавшая в прессе и в блогосфере протесты других любовниц Короля) изящно упакована здесь в почти невинный каламбур на слове eat, “есть”, которое в разговорном английском служит простым, как правда и как кусок хлеба, глагольным обозначением этой утонченной услады. Русское “лизать” к такому не располагает – его каламбурные возможности клонятся в сторону какого-то ненужного жеманства, ср.:

Мне сказала Анжелика:
– Полежи-ка, полежи-ка!
Я не понял эту речь:
Полизать или прилечь?

Так или иначе, в устах Сибилл Шеперд это прозвучало очень соблазнительно, как пряная, ну, может, немного преувеличенная, эротическая похвальба, слегка окутанная дымкой времени. Вуаёрски проникнуть, пусть в отчужденно посмертном режиме телешоу, в спальню пусть нескромной красавицы Сибиллы и пусть располневшего короля рока всех времен и народов, – одно

дело. Совсем другое (несмотря на сходство местоименных иносказаний, ср. *one* thing и wearing *one*) – эротический театр абсурда, разыгранный Гроудином.

Тут все нелепо и все великолепно. И мгновенность реакции – в духе сказочной формулы: “Встань передо мной, как лист перед травой!”, внезапного вытаскивания кролика из шляпы фокусника и английского риторического оборота: As we speak… “Пока мы [здесь об этом] говорим [все именно так и совершается]”. И загадка предварительного надевания презерватива (без *эхэкции*? благодаря постоянной *эхэкции*?) с последующим длительным сидением в нем. И уморительная невероятность вожделения к единственному наличному партнеру – уродливой старой карлице… Причем все это прямо здесь и сейчас, в реальном времени, у нас на глазах, – а впрочем, кто знает, ничего такого нам не показывают, одни слова, слова, слова… И держится все на полнейшей эротической непрезентабельности докторши.

Закончить хочется на счастливой ноте. У кого на шоу Сибилл Шеперд сделала свое сенсационное заявление, я не установил, но точно, что не у Гроудина. Вообще, она его сначала недолюбливала – была недовольна работой с ним на съемках фильма “The Heartbreak Kid ” (1972). И лишь через какое-то время однажды все-таки согласилась ему отдаться. Есть фото, где они вместе, уже порядком постаревшие, но все еще ничего.

Столик № 31

Это было в декабре 2009 года, и даже можно точно сказать, какого числа – оно однозначно вытекает из обстоятельств, которыми все закончилось.

Той осенью у меня был саббатикал, и я довольно надолго приехал в Москву, в частности, чтобы отметить выход сразу двух своих книг, “Новая и новейшая русская поэзия” и “Осторожно, треножник!”. Вторая из них помечена 2010 годом, но это всего лишь маленькая издательская хитрость. В декабре обе книжки были налицо, и я, с заботливой помощью Моники Спивак, устроил их презентацию в доме-музее Пушкина/Андрея Белого на Арбате.

Народу, в основном коллег, собралось прилично, человек, может, сто. Был Дима Быков, а в пику ему и вообще всей чистой публике я пригласил и Тамару Катаеву – она пришла, но поприсутствовала инкогнито и на фуршет не осталась. Пришел и любимый мной, ныне покойный Марк Фрейдкин, а вести вечер я попросил Витю Живова, теперь тоже, увы, покойного.

С Марком Фрейдкиным на моей презентации (декабрь 2009 *года). Фото А. Павловского*

Витя был в полном блеске. Он явился в каком-то папахоподобном парике и держался стилизованным тамадой. По поводу моих ахматоборческих статей сказал что-то в том смысле, что мы, джигиты, нэ лубим, кагда жэнщину а-скорбляют, а начал вообще с того, что поздравил меня с выходом целых двух книг, между которыми почти – в этом месте он сделал выразительную паузу, и я так и подпрыгнул – нет пересечений.

– Как это “почти”?

– Ну как же, а вот… – он указал на две статьи, в одной из которых содержался, среди прочего, краткий конспект другой (как раз об Ахматовой). Мне оставалось только смиренно поблагодарить его за внимательное чтение.

Дискуссия была оживленная, а после торжественной части все спустились в подвал, где были накрыты столы, и веселье продолжилось в, что называется, неформальной обстановке. (Есть куча фотографий.)

Время шло, и с какого-то момента прелестная Оля Тимофеева, завотделом культуры “Новой газеты” и моя давняя знакомая, стала настойчиво требовать, чтобы я отпустил Быкова, у которого важное дело – отправиться на день рождения издателя газеты, олигарха Александра Лебедева, каковой празднуется как раз в этот день (то есть, согласно Википедии, 16 декабря). Я отвечал, что, конечно, отпускаю, но Быков не уходил, гнать же его мне было бы странно, Оля продолжала настаивать, говоря, что я, в сущности, гублю газету, последний островок свободы в российских СМИ, я призывал Быкова внять голосу гражданской совести, он говорил, да-да, вот сейчас все договорим, доедим и допьем и тогда поедем, кстати, не хотите ли и вы (то есть я) поехать, и кто бы еще – Марк, а?..

Длилось это долго, все допить и доесть так и не удалось, но в конце концов помещение надо было очищать, Быков поймал машину и повез Марка и меня, основательно уже набравшегося, на банкет к Лебедеву. Куда мы приехали, совершенно не помню, но осталось впечатление огромного, темного, то ли недостроенного, то ли полуразрушенного, то ли, чем не шутит современная архитектура, нарочно полуоткрытого ветрам и лишь наскоро завешенного каким-то брезентом (стоял все-таки декабрь) конструктивистского проекта.

Мы вошли в зал, и он потряс гигантскими размерами, теплом, блеском ламп, шумом говора, звоном посуды, звуками музыки. И правда, играл симфонический оркестр, а потом отыграл, куда-то отъехал, а с другой стороны выехал джазовый и заиграл свое. Все это можно было видеть и слышать впрямую, а можно и на двух огромных экранах, обрамлявших зал какой-то

странной, возможно, треугольной формы.

Нас посадили за заранее отведенный столик, под номером 31 (уж не знаю, вчитывать ли в это намек на лимоновскую Стратегию-31), за которым в результате собралась пестрая компания интеллектуалов – Дмитрий Быков, Дмитрий Муратов, Юрий Рост, Марк Фрейдкин и аз грешный. *Шота пили, шота ели, Шота Руставели*, как говорится в грузинской пословице старых времен. Еда была отменная, а разговора как-то не получалось. Я знакомлюсь с трудом, было поздно, Муратов и Рост, как и я, видимо, уже устали. Быков перемежал поглощение пищи с чтением одновременно двух книг, которые держал раскрытыми на соответственно расставленных ладонях, а Марк откровенно скучал, выражал недовольство резавшей его утонченное музыкальное ухо фальшью в настройке какого-то из инструментов и просился домой, но Быков не отпускал, требовал дождаться десерта и обещал познакомить с Лебедевым.

Я же отнюдь не скучал, ибо на столь роскошном приеме был впервые и надеялся – как видим, справедливо – когда-нибудь описать этот незабываемый опыт. В какой-то момент, доев очередное блюдо, я решил пройтись по залу и посмотреть, как выразился бы Зощенко, чего там бывает. Столов, что видно хотя бы из порядкового номера нашего столика, было много, и за всеми ними сидели гости в черных костюмах, тройках и смокингах, обслуживаемые официантами тоже в черном и, как я вскоре убедился, оберегаемые многочисленной тайной охраной, опять-таки в черном. Когда мускулистый джентльмен в черном остановил меня и попросил предъявить приглашение, я сначала принял его за официанта, но когда в ответ на мои слова, что я гость Дмитрия Быкова, стол № 31, он предложил мне вот и вернуться к этому столу и за ним и находиться, я понял свою ошибку и тут же припомнил, в каком ведомстве в свое время работал Лебедев. Что осталось неясным, это полностью ли контролировалась ситуация его охранниками или зал был инфильтрован и четвертой группой бойцов невидимого фронта в черном.

Так или иначе, возвращенный железной рукой силовых структур за столик № 31, я тоже стал тяготиться и робко присоединил свой голос к фрейдкинскому. Но Дима, видимо, твердо решил дождаться десерта. К тому же Лебедев как раз начал обходить столики один за другим, постепенно приближаясь к нашему, Быков спросил меня, не хочу ли я познакомиться с именинником, я сказал, конечно, встал, Дима представил меня ему в качестве американского профессора-литературоведа, я поздравил его с пятидесятилетием, все шло вроде бы гладко, как

вдруг Лебедев, проявив внимание к моей специальности, спросил:

– Ведь правда, наш Быков гениальный писатель?

К этому я был не готов. Я замялся, осекся, собрался с силами и начал издалека:

– М-м. Давайте так. Допустим, э-э, так. Пусть, скажем, гениальным был Толстой. Тогда…

Но Лебедев быстро потерял ко мне интерес и двинулся к следующему столику. Я сконфуженно сел, не зная, как глядеть Диме в глаза.

Дальнейшее помню в полном тумане. Кажется, я еще выпил, мы съели десерт, неусыпный Дима взял машину и развез нас по домам. Мне казалось, что в машине я что-то умное говорил в свое оправдание, но возможно, я только прокручивал это в голове.

Проснулся я на следующий день рано, с трудом дождался девяти утра, когда решился позвонить Диме с извинениями.

– Дима, надеюсь, я вас не разбудил?

– Нет, я в лицее, в классе, у меня урок.

– Дима, я вчера предал свободу слова, “Новую”, а главное, вас. Я предал вас, как Пастернак Мандельштама Сталину. Простите, если можете. Я был усталый, пьяный, я не сообразил…

– Ничего страшного, все всё понимают. Все прекрасно, Алик. У меня урок…

– Ну, тогда объясните своим ученикам, какой я гениальный.

…У них там, в частности у Быкова, все гениальные. Однажды у него на радиопередаче, то ли вместе со мной, то ли передо мной, была совсем молодая писательница, лет 20, но уже автор многих романов и поэм (некоторые я потом нарочно почитал). Естественно, гениальная. Так что на ее фоне отказать Быкову в гениальности был полный афронт. Но что поделаешь, если адекватное словоупотребление является чуть ли не единственным твоим профессиональным достоинством?!

Из истории звукозаписи

Задолго до изобретения соответствующей аппаратуры возможность сохранения и воспроизведения такой, казалось бы, мимолетной сущности, как звук, волновала воображение.

Всем, особенно русским читателям, знакомо вот это место из “Приключений барона Мюнхгаузена” Бюргера – Распе:

> “Я напомнил кучеру о том, что нужно протрубить в рожок, иначе мы рисковали <…> столкнуться со встречным экипажем. <…> Парень поднес рожок к губам и принялся дуть в него изо всей мочи. Но все старания его были напрасны: из рожка нельзя было извлечь ни единого звука. <…>
>
> На постоялом дворе <…> кучер повесил свой рожок на гвоздь подле кухонного очага, а я уселся напротив него. <…> Внезапно раздалось: «Тра! Тра! Та! Та!» Мы вытаращили глаза. И тогда только мы поняли, почему кучер не мог сыграть на своем рожке. Звуки в рожке замерзли и теперь, постепенно оттаивая, ясные и звонкие, вырывались из него. <…>
>
> Этот добрый малый значительное время услаждал наш слух чудеснейшими мелодиями, не поднося при этом своего инструмента к губам. Нам удалось услышать прусский марш, «Без любви и вина» <…> и еще много других песен, между прочим <…> «Уснули леса…». Этой песенкой закончилась история с тающими звуками, как и я заканчиваю здесь историю моего путешествия в Россию”.

А в записных книжках князя П. А. Вяземского есть такой фрагмент:

> “Англичане роман рассказывают, французы сочиняют его; многие из русских словно переводят роман с какого-нибудь неизвестного языка, которым говорит неведомое общество. Гумбольдт (разумеется, шутя) рассказывает, что в американских лесах встречаются вековые попугаи, которые повторяют слова из наречий давно исчезнувшего с лица земли племени. Читая иные русские романы, так и сдается, что они писаны со слов этих попугаев”.

Выдумка про замороженные звуки, конечно, изощреннее, зато Вяземский не ограничивается привычным звукозаписывающим эффектом гумбольдтовского попугая (при всей оригинальности выступления последнего в роли полевого лингвиста) и пристраивает к нему второй аналогичный прибор: русский роман начала XIX века. Но, что характерно, чудесная консервирующая сила настойчиво – тщанием будь то иноплеменных фантастов или отечественного виньетиста – ассоциируется с Россией.

Ждать

Я человек нетерпеливый, ждать как следует не умею. Одна, очень победительная, дама сердца пыталась меня научить, говоря, что в этом секрет успеха, ибо у судьбы нет терпения. Типа все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Не знаю. У меня с терпением плоховато, боюсь, хуже, чем у судьбы.

Может быть, именно поэтому слово *ждать* с давних пор меня тревожило и занимало.

Начать с его сдавленного звучания. *Ждать, жду, ждешь, ждут…* – в корне два согласных и ни одного гласного, гласные появляются только в окончаниях. Как у *врать, гнать, жрать, срать…*

А по смыслу какое странное слово! *Ждать* – это чту делать? Какие действия надо совершать, чтобы соответствовать смыслу этого глагола?

Словари дают ответы более или менее сходные, но не вполне удовлетворительные.

> **Российская академия (1809)**: Препровождать время в чаянии, надеянии чего, терпеть, пока чаемое или желаемое совершится, сбудется, исполнится.
>
> **Даль (1863)**: Быть в ожидании чего, ожидать, дожидаться; готовиться к встрече кого или чего.
>
> **Императорская академия (1907)**: Ожидать появления чего-н., прихода кого-н.; ожидать с оттенком надежды, с оттенком желания, с оттенком терпеть.
>
> **Ушаков (1935)**: Переживать чувство ожидания; пребывать некоторое время, оставаться на месте в ожидании появления чего-н, прибытия кого-н.
>
> **Ожегов (1953)**: Быть где-н., пребывать в каком-н. состоянии, рассчитывая на появление, прибытие кого-чего-н.
>
> **Академия СССР (1955)**: Рассчитывать на появление, приход кого-чего-л., на наступление чего-л., медлить, мешкать, надеяться.
>
> **Евгеньева (1970)**: Быть в состоянии ожидания, рассчитывая на появление кого-л., чего-л., на наступление чего-л.
>
> **Евгеньева (1981)**: Оставаться, находиться где-л. некоторое время, зная заранее о предстоящем приходе, прибытии, появлении кого-л., чего-л. или совершении чего-л.

Ефремова (2000): Переживать чувство ожидания, пребывать некоторое время, оставаться на месте в ожидании появления кого-л., чего-л., прибытия кого-л., чего-л., рассчитывать на наступление, совершение чего-л.

Академия РФ (2006): Находиться где-л., пребывать в каком-л. состоянии, надеясь на появление, приход кого-л., чего-л., или зная заранее о появлении, приходе кого-л., чего-л.; надеяться на что-л., получение чего-л.

Вслед за Далем, некоторые словари толкуют *ждать* через *ожидать*, а это, увы, порочный круг. Другие включают пункт о "знании заранее", хотя очевидно, что, чтобы *ждать*, необязательно *знать*, то есть иметь верное представление, – достаточно *чаять, надеяться, рассчитывать*, как и формулируют третьи. Особенно охотно толкователи прописывают необходимость "пребывать, оставаться в некотором месте". На первый взгляд, это убедительно, но только на первый взгляд. На самом деле, прекрасно можно ждать, перемещаясь в пространстве сколь угодно далеко и с какой угодно скоростью – на корабле, поезде, самолете, спутнике, что в ряде определений покрывается обтекаемой формулой: "пребывать в каком-н. состоянии". И дело не обязательно в "приходе, прибытии, появлении кого/чего-либо" или "встрече кого или чего". Достаточно менее определенного "совершения чего-л.", то есть наступления некоторого предполагаемого положения вещей. К которому, как отмечает Даль, ждущий "готовится" – или, добавлю я, уже готов.

Так что же надо делать, чтобы заслужить название ждущего?

Позволю себе небольшое отступление. Пятьдесят с лишним лет назад мы с Ирой впервые поехали в Коктебель и сняли там комнатку у послевоенных украинских переселенцев. Мы отрекомендовались туристами и вскоре заметили, что этим новым тогда титулом внушили хозяевам неожиданное почтение. Лишь через некоторое время, узнав нас поближе, хозяйка, малорослая, сморщенная, буквально съеденная хозяйственными заботами, хотя еще не старая женщина, решилась спросить:

– А туристы, они какую работу работают?

Вопрос запомнился на всю жизнь благодаря своему богатому семиотическому потенциалу. Для какого-нибудь культурологического исследования на тему об обязанностях, налагаемых на туриста институциональной природой туризма, можно было бы развить содержащуюся в словах хозяйки пресуппозицию: "туризм – вид трудовой деятельности". Но здесь я по-простецки воспользуюсь их несуразностью. Какую работу

работают туристы? Да никакой, туризм – не работа, а отдых, вот и все.

Казалось бы, то же самое с *ждать*. Что делает ждущий? Да ничего не делает, *ждать* – не такое действие, а такое бездействие. Но тогда чему же я никак не могу научиться? Неужели элементарному осознанию этого различия? Нет, вряд ли дело обстоит столь просто. Что же все-таки делает человек ждущий, homo exspectans?

Мотив ожидания эффектно разработан в фильме Альмодовара “Женщины на грани нервного срыва”.

Его героиня (Кармен Маура) все время ждет звонка бросающего ее возлюбленного. Вот она лежит без движения, вот смотрит на телефон и проверяет оставленные на автоответчике сообщения, вот встает и нервно ходит взад-вперед по комнате… Крупный план черных туфель на каблуках, делающих несколько шагов вправо, разворачивающихся, двигающихся влево, и так много раз, стал одной из сигнатурных сцен фильма.

Это классические образы ожидания, с неподвижным пребыванием на месте, временами с интенсивным передвижением, но в пределах одного и того же замкнутого пространства, чем передаются одновременно и “ожидание”, и “нетерпение”. А в дальнейшем героиня перемещается уже и по городу, все это время не переставая мучительно ждать. Ждет же она своего любовника – чтобы сообщить ему, что ждет от него ребенка. Что же такое собственно ожиданческое она при этом делает?

Ключ отчасти содержится в игнорировавшихся мной до сих пор компонентах некоторых толкований: “быть в ожидании, переживать чувство ожидания”. Казалось бы, налицо знакомый логический круг: “ждать” = “переживать ожидание”; но кое-что тут есть и новое: речь заходит о “переживании”. Естественный вопрос: в чем особенность этого переживания, типичная именно для *ждать*? Оба старейших академических словаря отвечают, со столетним интервалом, что в “терпении”, но этот ответ забывается еще на столетие, поскольку, с другой стороны, широко употребительны выражения типа *спокойно ждать*, исключающие какой-либо душевный напряг. Нетерпеливые люди вроде меня и героини фильма переносят ожидание тяжело, *переживают* его, но само по себе оно этого не требует. Делать-то ничего не надо!..

Интересно, что и словарно *ждать* не принадлежит к кругу лексем с коннотациями “страстности”. Правда, этимологически оно родственно литовскому *gaĩdas*, “страстное желание”, *geidĥiù, geĩsti*, “жаждать, желать”, и древневерхненемецкому *gīt*, “алчность, скупость”. Но, как ни странно, оно не связано с такими

напрашивающимися русскими кандидатами в родственники, как *жаждать, вожделеть* (из *воз-желать*), *желать, жалеть* и даже архаичное *жадать*, “желать” (= польское *żądać*). *Ждать* и тут стоит особняком.

В чем же состоит то специфически ожидательное переживание, которое даже при полном бездействии оказывается для некоторых мучительным, толкая их к лексикографическим исследованиям?

Размышления о тайне слова *ждать* подсказали мне идею соединить находку Ушакова относительно “переживания” с догадкой Даля относительно “готовности”, получившей неожиданное подтверждение из вьетнамского языка, которым я как раз тогда немного занимался. Оказалось, что во вьетнамском одно и то же слово *chực* значит и “ждать”, и “быть наготове”! Впрочем, тут же стало ясно, что это универсальное смысловое уравнение проявляется и в европейских языках: например, в синонимии русских выражений ***готов*** и *только и* ***ждет****, чтобы…* и французских: *Le diner* (*vous*) ***attend*** и *Le diner est* ***prêt*** *(*Обед (вас) ждет = Обед готов/подан*)*. А в английском одно из значений глагола *to wait, “*ждать”, словари определяют как to stay or remain in readiness for action (“оставаться, пребывать в готовности к действию”).

Иными словами, *ждать* требует если не “оставаться в каком-то месте”, то хотя бы сохранять “какое-н. состояние”, точнее – некий статус-кво, еще точнее – состояние готовности к наступлению предполагаемого события, а именно – готовности отреагировать на него намеченным образом. Примерно такое толкование дано семантическому гнезду во главе со ЖДАТЬ в новейшем словаре русских синонимов:

> **Апресян (1995, 1997, 2004)**: Зная или считая, что должно или может произойти некое событие, нужное субъекту или касающееся его, быть в состоянии готовности к нему, обычно находясь в том месте, где оно произойдет.

Обращаясь к этой словарной статье, я ожидал найти там ссылку на свою старую работу (1964), где все это было с молодым энтузиазмом впервые сформулировано, но напрасно.

Так что поединок с судьбой по линии терпения продолжается.

В европейских языках от латинского корня patior, passus, “терпеть, страдать” происходят такие слова, как англ. patience, “терпение”, patient, “пациент”, passions, “страсти (Христовы)”, passivity, “пассивность”, passive (voice), “страдательный залог”. Тогда искомое “переживание” может относиться к затрате

энергии на сохранение этого внутреннего статус-кво.

Те, кому такая выдержка дается трудно, и называются нетерпеливыми людьми, я первый. Но старательная интроспекция говорит мне, что к этому мои страдания не сводятся. Думаю, что невыносимой ситуацию ожидания делает для меня сочетание напряженного бездействия с той зависимостью от внешнего мира, которую создает ориентация на предполагаемое – но не гарантированное – наступление некого события. Ожидание оказывается как бы наглядным до эмблематичности воплощением нашей беспомощности перед превосходящими силами мирового хаоса – недаром хрестоматийный образец театра абсурда называется “В ожидании Годо”. Тем более что затраты на сохранение статус-кво являются не чисто энергетическими, но и экзистенциальными: все течет, все изменяется, жизнь идет, ты же принужден консервировать свою неизменность, свою маленькую временную смерть. Французская поговорка гласит *Partir c’est mourir un peu* (“Уехать – значит немножко умереть”). Против *уехать* ничего не имею, а вот *ждать* – это для меня действительно *mourir un peu*.

Тем большее восхищение вызывают люди, у которых операция *ждать* входит в служебные обязанности, в то, что по-английски называется job description. Такова, например, профессия официанта, известного в своей американской инкарнации под именем *waiter’a*, букв. “ожидальщика”. Внутренняя форма этого слова всегда меня интриговала, но словари подтверждают: *waiter* изначально мыслился как тот, кто, так сказать, только и ждет неподалеку от столика (по-английски его работа описывается как *waiting tables*, букв. “ожидание столов”), чтобы выполнить ваши пожелания.[63] По смыслу *waiter* сродни слову *attendant* (от фр. *attendre*, “ждать”), которое значит “помощник, служитель, сопровождающее лицо”. Кстати, аналогична и внутренняя форма английского названия фрейлины – *lady in waiting*, букв. “дама в ожидании”.

В латинские корни французских и английских *attendant, attendance, attention* и т. п. углубляться не буду, скажу только, что и там обнаруживаются признаки выжидательного напряжения (лат. *attendo* значит “протягивать, натягивать, напрягать, внимательно слушать, сосредоточенно думать”). Что же касается официантов, не исключая американских, то как-то так получается, что и они подолгу заставляют себя ждать, ставя меня на привычную грань нервного срыва.

Юбка

Давным-давно, в начале 1980-х, я проездом остановился в Нью-Йорке у старинных знакомых, Кости и Нины. Особенно старинным был Костя – с моего третьего, а его первого, курса филфака.

На нью-йоркской ниве, как когда-то на московской, он работал в поте лица, непрерывно добывая, отстукивая и развозя по городу переводы с русского на английский и обратно. Нина сидела дома, языка не учила и философствовала перед гостями. Я остро сочувствовал Косте, хотя понимал, что, в общем-то, это не мое дело.

Из аэропорта я поспел как раз к ужину. Стол был накрыт, но ужин все не начинался. Нина с вялой театральностью пилила Костю, который неизвестно куда задевал ее юбку, так что она не смогла ее надеть, все время искала, это, в свою очередь, задержало готовку… В случае Кости, на котором помимо заработка лежало и множество хозяйственных функций, дикая идея, что муж каким-то образом может отвечать за местонахождение жениной юбки, не представлялась невероятной. И потому была еще более возмутительной. Возмущение подогревалось идиотской задержкой с ужином. Налицо был тотальный непорядок, и я почувствовал, что больше не могу молчать.

– Нина, – сказал я, – ваши семейные дрязги немного затянулись. Давайте так. Я нахожу потерянную вами юбку, вы извиняетесь перед Костей, надеваете юбку, и мы садимся за стол.

– Вы можете найти юбку?! – Она оживилась, явно заинтересованная открывавшимися игровыми возможностями.

– Могу, могу. Скажите, где ее обычное место? В этом стенном шкафу?

(Квартирка была маленькая.)

– Да, но там ее нет, Коська куда-то ее засунул…

– Какого цвета?

– Серая. Но там можете не смотреть, я уже обыскалась…

Я подошел к шкафу, недолго в нем порылся, пошарил под одеждой, вытащил с полу плечико с серой юбкой и с брезгливым торжеством в голосе произнес:

– Эта не подойдет?!

Юбка подошла, мир в семействе был восстановлен, незыблемость моего авторитета, а с ним общей мировой гармонии, подтверждена, ужин с приличествующими случаю тостами откушан, и эвристическая мифологема юбки вошла в мой

понятийный фонд. Что же мне в ней так дорого?

Читатель, в сторону откинув эту юбку, ужин, семейные трения, да и само семейство (Костя, увы, давно умер, Нина жива), – что мы имеем в остатке? Мы имеем идеальный случай научного открытия, с мизансценой, выигрышно подающей вторжение постороннего в незнакомую ситуацию, его заведомое превосходство над местными специалистами и спасительное вмешательство.

Путеводным – и недосягаемым – образцом высшего научного пилотажа для меня всегда остается открытие планеты Нептун французским математиком Леверье (1846).[64]

Литературный аналог Леверье – даже не Шерлок Холмс, которому как-никак приходится затратить на раскрытие преступления значительные усилия, с выездом на место и иной раз риском для жизни, а Ниро Вульф, страдающий ожирением сыщик из романов Рекса Стаута, никогда не покидающий своих апартаментов (кстати, нью-йоркских) и расследующий дело из роскошного кабинетного кресла.

Существенно в истории с юбкой и обнаружение ее на полу того же самого шкафа, символизирующее элементарность искомых решений. Отсюда мое нахальное заявление в одной виньетке, что “в любую самую изученную область [филологии], где, казалось бы, не протолкнешься, достаточно просунуть руку, чтобы поднять с полу что-нибудь никем не замеченное, хотя и лежащее на виду”.[65]

Еще раз я убедился в этом пару лет назад, когда прообраз строк о Трике, который *смело вместо belle Nina / Поставил belle Tatiana*, был идентифицирован мной в “Севильском цирюльнике” Россини, столь любимом Пушкиным. И это при том, что сходное заимствование в “Борисе Годунове” из “Сороки-воровки” того же Россини было давно установлено Томашевским, писавшим и о Трике!

Во всех подобных фокусах важен элемент вдохновенной гадательности, в случае успеха бросающий на успешное решение магический отблеск. Как говорится, с иголкой-то пришить всякий может, ты попробуй без иголки – без собственно научных исследований. Но тем важнее и полная доказанность, не оставляющая сомнений в точности попадания. Птичка из шляпы должна вылетать самая настоящая.

А в тех сферах деятельности, где с птичкой неясно, ее место занимает бесспорность признания – канифоль, необходимая смычку виртуоза. Взыскующие ее художники слова разработали (во время, свободное от упражнений на тему равнодушия к хвале и клевете) целый репертуар соответствующих мотивов.

Абсолютный успех – обретение читателей на небе. “Ваш роман прочли”, – говорит мастеру Воланд. То есть прочел Иешуа, в одном лице и персонаж романа, и высший мыслимый судия всего на свете. О чем еще мечтать автору?! Собственно, первый шаг в этом направлении был сделан раньше, когда оказалось, что сочиненное мастером в точности соответствует воспоминаниям Воланда – непосредственного свидетеля событий. “О, как я все угадал!”, восклицает мастер.

Смягченная форма высшего одобрения – мотив посмертной памяти, лежащий в основе горацианского жанра памятника: *Нет, весь я не умру* (А. Пушкин); *ты, как стих, меня зазубришь, как быль, запомнишь наизусть* (Б. Пастернак); *и то, что я скажу, заучит каждый школьник (*О. Мандельштам*)*. В общем, *памятник – нерукотворный, рукописи не горят.*

Броское совмещение прижизненности признания с посмертностью принадлежит на русской почве Случевскому:

Меня в загробном мире знают,
Там много близких, там – я свой!
Они, я знаю, ожидают…

Идея восходит, конечно, к Данте, который в IV песни “Ада” через Вергилия знакомится с еще четырьмя великими поэтами прошлого – Гомером, Горацием, Овидием и Луканом:

Мой вождь их встретил, и ко мне с приветом
Семья певцов приблизилась сама;
Учитель улыбнулся мне при этом.

И эта честь умножилась весьма,
Когда я приобщен был к их собору
И стал шестым средь столького ума.
Мы шли к лучам, предавшись разговору…

Перевод М. Лозинского

Собственно, вся надежда на то, что одобрение современников естественно перерастет в посмертное:

Судьбы под землю не заямить.
Как быть? Неясная сперва,
При жизни переходит в память
Его признавшая молва.

Б. Пастернак “Художник”

Земное признание подлинно, если исходит от народа (*молвы*) или от несомненных представителей небесной воли – поэтов. Так, получив письмо от Рильке, Пастернак пишет: “Я не больше удивился бы, если бы мне сказали, что меня читают на небе”.

Признание со стороны обычных граждан желательно по возможности всеобщее. Так в “Последних днях” Булгакова строку *Буря мглою небо кроет* повторяют самые разные персонажи, в том числе гонители поэта, как высокопоставленные, так и рядовые. Но в крайнем случае достаточно и внимания одного простого человека, очевидным образом чуждого автору. Такова характерная сцена в конце 6-й главки 15-й части “Доктора Живаго”:

> “Однажды Марина с Юрием Андреевичем, осторожно ступая по коврам валенками, чтобы не натащить с улицы опилок, нанашивала запас дров в кабинет квартирохозяину, оскорбительно погруженному в какое-то чтение и не удостаивавшему пильщика и пильщицу даже взглядом. С ними договаривалась, распоряжалась и расплачивалась хозяйка.
>
> «К чему эта свинья так прикована? – полюбопытствовал доктор. – Что размечает он карандашом так яростно?» Обходя с дровами письменный стол, он заглянул вниз из-за плеча читающего. На столе лежали книжечки Юрия Андреевича в Васином раннем вхутемасовском издании”.

Сквозь презрение Живаго (и стоящего за ним Пастернака) к недостойному читателю проглядывает злорадное смакование желанного авторского успеха.

Аналогично построено горделивое заявление Лимонова о свидетельствах популярности его прозы, поступающих из самых неожиданных источников:

> “Я рад, что, как мне рассказывали, дети Солженицына читают Лимонова, запершись от отца в туалете”.[66]

К сожалению, в нашей неверной области дело с предъявлением юбки (наведением телескопа на новую планету, демонстрацией изобличающей улики, получением небесной

рецензии на несгораемую рукопись) обстоит не очень. Тем более, когда речь идет о покойных классиках. Какие-то “загадки Н. Ф. И.” иногда разгадываются и сходятся с ответом, но это, в общем-то, редкость. Так, моя находка про Трике все еще ждет авторского подтверждения.

Вроде бы, легче, как показала переписка Пастернака и Рильке, с еще живыми кумирами. Но они ведь могут и возразить. Так, Ахмадулина охотно признала вероятность влияния подсунутого ей “Перед зеркалом” Ходасевича на ее “Это я…”. А вот Аксенов решительно отмахнулся от предположения, будто его Володька Телескопов мог быть обязан своей безнадежной оторванностью от реальной Халигалии бабелевскому Казанцеву из “Гюи де Мопассана”, никогда не бывавшему в досконально известной ему Испании. Аксенов без стеснения заявил, что этого рассказа Бабеля вообще не читал.

Более интересные возможности предоставляет промежуточный случай – медлительная посмертная публикация текстов недавно скончавшегося классика. Тогда есть шанс сначала объявить о чудесной разгадке его секретов, а потом получить удостоверение ее правильности из его загробных уст. И не слишком опасаться последующих возражений с его стороны, хотя, конечно, всякое бывает.

В 1984 году, на конференции по Пастернаку в Иерусалиме, я сделал доклад о “коллаборационизме” пастернаковского отрывка 1931 года “Мне хочется домой, в огромность…”, с его приятием *упряжи* социализма, и о типовых ходах как “поддачи соблазну” быть *заодно с правопорядком,* так и его “саботажа”.

> Один из ходов – “опора на традицию, выдача нового за привычное старое”, но “«приятие нового» происходит в компромиссных, а не крайних формах <…> не [на] «классовой» основе”. Стихотворение представляет “попытку поэта «продать» – читателю, а главное, самому себе – <…> малопривлекательную упряжь социализма. <…> Подобно тому, как цыганка сначала завоевывает доверие клиента, угадав его прошлое, и лишь затем переходит к предсказанию будущего, путь в строящееся, новое, чужое прокладывается через домашнее, привычное, знакомое – <…> через картины московского быта и пейзажа. <…> [Г]русть, наводимая собственной квартирой, это грусть «своя», приемлемая, даже сладкая. <…> [П]оследовательность совершенно привычных картин <…> усыпляет бдительность читателя”.[67]

Тогда это звучало вызывающим – по тону и по существу – наездом на не совсем почтенные творческие стратегии покойного поэта, окруженного атмосферой диссидентской святости. Тем не менее некоторое признание, до какой-то степени небесное, я получил сразу.

После заседания ко мне подошел сам Виктор Эрлих, автор хрестоматийной книги “Russian Formalism” (1954), ныне покойный, а тогда вполне живой и бодрый, и сказал: “It’s one of those papers when you can say that after it the poem will never be the same” (“Это один из тех докладов, когда можно сказать, что после него стихотворение уже не останется, каким было”). Подошел и тоже теперь уже покойный Андрей Донатович Синявский, чтобы попросить текст для “Синтаксиса”.[68]

Но через пять лет меня прочли и собственно на небе. Оказалось, что скрытые мотивы Пастернака были вычитаны мной из текста правильно, почти, так сказать, дословно. Вот что, оказывается, сам поэт писал К. Федину 6 декабря 1928 года (т. е. за три года до “Второго рождения”), по поводу другого своего “приспособленческого” сочинения:

> “Когда я писал «905 год», то на эту относительную пошлятину я шел сознательно из добровольной идеальной сделки со временем. Мне хотелось втереть очки себе самому и читателю <…> дать в неразрывно сосватанном виде то <…> ссора чего возведена чуть ли не в главную заслугу эпохи <…> связать то, что <…> прирожденно-дорого мне <…> с тем, что мне чуждо, для того, чтобы, поклоняясь своим догматам, современник был вынужден, того не замечая, принять и мои идеалы”.

Письмо было впервые опубликовано в 1990 году.[69]

В дальнейшем пастернаковский коллаборационизм начала 1930-х стал, отчасти с моей подачи, общим местом пастернаковедения.

Но, повторяю, дожидаться одобрительных кивков из загробного мира в общем случае не приходится. Тем ценнее внимание современников, не обязательно даже хвалебное. На эту тему у меня есть любимая история, рассказанная моей доброй московской знакомой Н.

> На заре перестройки я приехал из Штатов и выступал у них в институте. Н. сидела рядом с коллегой, который для порядка пришел на доклад, но моими рассуждениями об интертекстах, по-видимому, не

заинтересовался и углубился в чтение захваченной на такой случай книжки. Н. периодически толкала его в бок, он не реагировал, и она наконец спросила, что он такое увлекательное читает.

– Жолковского, – сказал он, – помнишь, ты мне рекомендовала по семантике.

– Так это же, – она мотнула головой в сторону сцены, – и есть Жолковский.

– Как? Вот это, – он кивнул на книжку, – и это, – он кивнул на сцену, – один и тот же Жолковский?!

По-моему, Живаго отдыхает.

Stranger than fiction [70]

Есть мнение, что все давно написано, так что ничего нового сочинять не надо, можно расслабиться и наслаждаться имеющимся. Если же руки очень чешутся – заняться монтажом наличных текстов, а еще лучше их сокращением. Последнее не только избавляет читателя от излишних, как выражался Толстой, авторских “элукубраций” (вспомним “конспективную лирику” Гаспарова), но может давать и собственный – остраняющий – эффект.

Разбирая с американскими первокурсниками “Легкое дыхание”, я, среди прочего, подчеркивал его отличие от многословного “Гранатового браслета”. Почти всем купринский рассказ понравился гораздо больше бунинского, и тогда в число возможных домашних заданий я включил вольное упражнение: вырезать из текста Куприна и склеить в единое повествование ровно столько текста, сколько у Бунина. За это взялся всего один студент – и удивил меня. Я думал, что он облегчит повествование не только количественно, но и качественно – сделает из него нечто подобное бунинскому. Он же, наоборот, отобрал все самое мелодраматичное и озаглавил соответственно: “Heavy Panting” (“Тяжелое пыхтение”). Я, конечно, поставил ему A plus (пять с плюсом), но его сочинения не сохранил, а жаль.

Текст, к которому я собираюсь приступить с монтажными ножницами, хорош уже сам по себе, причем не вымышлен, то есть и сочинен-то лишь отчасти. Но ради придания ему дальнейшей краткости, а заодно некоторой загадочности я позволяю себе кое-что опускать, в частности, заменять имена и фамилии инициалами, и даже слегка редактировать. Итак:

> “Иногда к папе приезжали гости. Большей частью это бывали умные люди, с которыми он говорил о серьезных вопросах, нам, детям, недоступных.
>
> К П. Ф. мы были довольно равнодушны. Раз только мы приняли очень живое участие в папином споре с ним – по поводу резвости скаковых лошадей. Папа утверждал, что степные лошади не менее резвы, чем английские, П. Ф. же с презрением отрицал это.
>
> Тогда папа предложил ему побиться об заклад. Папа должен был пустить скакать свою степную лошадь, а П. Ф. свою английскую. Мы, разумеется, всей душой стояли на стороне папы, но, к большому нашему огорчению, принадлежавший П. Ф. англичанин блестяще обскакал

нашего степняка.

А. А. мы не особенно любили. Нам не нравилась его наружность: маленькие, резкие черные глаза без ресниц, с красными веками, большой крючковатый сизый нос, крошечные, точно игрушечные, выхоленные белые ручки с длинными ногтями, такие же крошечные ножки, обутые в маленькие, точно женские, прюнелевые ботинки; большой живот, лысая голова – все это было непривлекательно. Кроме того, он имел привычку очень тянуть слова и между словами мычать. Иногда он начинал рассказывать что-нибудь, что должно было быть смешным, и так долго тянул, так часто прерывал свою речь мычанием, что терпения недоставало дослушать его, и в конце концов рассказ выходил совсем не смешным.

Мои родители очень любили его. Мы недоумевали и даже раз дружно посмеялись над почтенным А. А. Как-то вечером мы, дети, сидели в зале за отдельным столиком и что-то клеили, а «большие» пили чай и разговаривали. До нас доносились слова А. А., рассказывающего своим тягучим голосом о том, какие у него скромные вкусы и как легко он может довольствоваться очень малым.

– Дайте мне хороших щей и горшок гречневой каши… ммммммм… и больше ничего… Дайте мне хороший кусок мяса… ммммм… и больше ничего… Дайте мне… ммммм… хорошую постель… и больше ничего.

И долго, мыча в промежутках между своей речью, А. А. перечислял все необходимые для его благополучия предметы, а мы, сидя за своим отдельным столиком, подталкивали друг друга под локоть и, сдерживая душивший нас смех, шепотом добавляли от себя еще разные необходимые потребности.

– И дайте мне по коробке конфет в день – и больше ничего, – шептал мой брат, захлебываясь от смеха.

– И дайте мне хорошей зернистой икры и бутылку шампанского – и больше ничего, – подхватывала я тоже шепотом.

С А. А. приезжала его жена – милая, добрая М. П. Ее мы любили гораздо больше, чем ее знаменитого мужа.

Но не все гости папы были умные и спорили с ним о высоких, непонятных нам, предметах. К нему езжал еще наш сосед Н., с которым разговоры были всегда более простые и нам доступные. За это ли или за то, что Н.

обращал на меня внимание, я его очень любила. Он был молодой, красивый и веселый. Когда он приезжал к нам, я всегда, когда могла, сидела в гостиной с «большими», и слушала его, и смотрела на него.

Раз как-то Н. был у нас в гостях, и мы все вместе сидели в гостиной. Был вечер, и в назначенный для нашего спанья час Х. увела меня в детскую. Мне было очень горько расставаться с Н., но делать было нечего, ослушаться нельзя было.

Вымывши в ванне брата, Х. по старшинству посадила после него меня. Намыливши мне голову, она на минутку отошла, чтобы достать кувшин чистой воды для окатывания. Вдруг мне мелькнула смелая мысль. Я воспользовалась тем, что Х. отвернулась от меня, и с быстротой молнии выскочила из ванны. Стремглав, как была, помчалась я в гостиную, оставляя после себя на полу следы мокрых ступней.

В гостиной я остановилась посреди комнаты перед Н. и, торжественно разведя руками, проговорила:

– Вот она, Таня!

Не знаю, что он подумал, увидя перед собой голенькую фигуру, с стекавшей с нее водой и с мылом, торчащим в виде битых сливок на голове, но я знаю, что мама пришла в ужас и отчаяние и, схватив меня в охапку, снесла к Х. Та уже хватилась меня и по мокрому следу бежала за мной.

– Боже мой! Что выйдет из этой девочки? – в ужасе говорила мама…

Как-то мы все трое заболели скарлатиной. Один брат был легко болен, другой сильнее, а я чуть не умерла. Мама рассказывала, что я несколько дней была в бессознательном состоянии и все боялись, что я не вынесу болезни.

Помню, как стало мне полегче. Я лежу в своей кроватке и испытываю чувство блаженства. Братья тоже оба в постели. Приходит папа и садится около меня.

– Ну что, Чурка? Все притворяешься, что больна? – говорит он. Он смотрит на меня с нежностью, и я чувствую, что сейчас можно просить у него все что угодно. Но мне просить нечего. Я беру его большую сильную сухую руку в свою и снимаю с его безымянного пальца его обручальное кольцо. Он мне этого не запрещает, а продолжает смотреть на меня с нежной улыбкой. Я играю кольцом, пока оно не выскальзывает у

меня из руки и не закатывается так далеко, что никто не может его найти. А папа меня за это не упрекает и терпеливо ждет, пока А. М. ищет кольцо в какой-то щелке под кроватью”.

Таня – девочка явно инициативная, за словом, да и делом, в карман не лезет. В одном эпизоде она мастерски пародирует гостя, любимого и почитаемого родителями. В другом она, шести-семилетняя, исполняет эксгибиционистский номер, достойный пера Набокова. В третьем символически разводит отца с матерью, недаром уже задавшейся вопросом, что́ из нее выйдет.

Сюжет заиграет еще более яркими красками, если знать, кто его участники. Рассказчица – Татьяна Львовна Сухотина-Толстая (1864–1950), воспоминания которой были опубликованы в России лишь четверть века спустя после ее смерти в эмиграции (в Риме).

Дело происходит году в 1870-м.

Папа, то есть не просто папа, а папа́, – это Лев Николаевич Толстой. П. Ф., выигрывающий у него пари, поставив на свою импортную лошадь против его отечественной, – Петр Федорович Самарин, тульский помещик, член известной семьи славянофилов.

Жидоватый зануда А. А. – это Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин), а М. П. – Мария Петровна Фет (ур. Боткина). Фета рассказчица и в дальнейшем сможет разве что уважать – соответствующее место читается так: “выросши, я полюбила истинное поэтическое дарование Афанасья Афанасьевича и научилась ценить его широкий ум”.

Н. – Николенька (Николай Владимирович) Арсеньев, владелец соседнего имения; он старше влюбленной в него Тани почти на 20 лет. Х. – Ханна Егоровна Терсей (Tersey), любимая англичанка-воспитательница; в дальнейшем она выйдет замуж за грузина, как водится, князя (Д. Г. Мачутадзе). А. М. – Агафья Михайловна (1808–1896), старая горничная П. Н. Толстой, бабки Л. Н., жившая при нем в Ясной Поляне.

Братья рассказчицы – это, конечно, Сергей (старше ее на год) и Илья (младше на два года), а мама – мама́ – Софья Андреевна Толстая (ур. Берс). Колечко найдется, инцеста не произойдет, но совместная жизнь родителей, да и детей, будет непростой.

Грозный, но не Terrible

Во вступительной лекции к курсу “Шедевры русской новеллистики” (три десятка рассказов в английском переводе, от “Бедной Лизы” до “Случая на станции Кочетовка”) первые полчаса я уделяю беглому обзору российской истории. При всей своей общеобразовательной невинности многие из калифорнийских первокурсников оказываются способны сходу идентифицировать наших великих правителей, радостно подхватывая подсказку: *Peter?.. the Great!.. Catherine?.. the Great!.. Ivan?.. the Terrible!* Ну, насчет того, что у нас Петр и Екатерина обычно проходят не как Великие, а как Первый и Вторая, я не занудствую, а вот на неадекватности принятой формулы *Ivan the Terrible,* – увековеченной названием эйзенштейновского фильма (среди слушателей встречаются будущие киношники), – слегка задерживаюсь.

Неадекватность очень характерная. *Terrible* значит не только “страшный, ужасающий”, но и попросту “плохой, негодный”. Можно, например, сказать, что погода (еда, поездка…) была *terrible* – в самом обыденном смысле, без налета трагедийности. То есть гамма значений слова *terrible* отчетливо негативна, но не целиком возвышенна.

Напротив, русское прилагательное *groznyi* – и, соответственно, прозвище Ивана, объясняю я, – родственно словам *гроза* (в обоих значениях)*, угроза, грозить,* то есть thunderstorm, menace, threat, to threaten. Его смысл неизменно серьезен, масштабен, нешуточен, но, как ни странно, объективен и, пожалуй, невольно позитивен. Даже не сулящий ничего хорошего *грозный враг* звучит вчуже уважительно. В приложении же к вождю, царю, повелителю эпитет *грозный* теряет последние намеки на недовольство. Причем не потому, чтобы речь шла об угрозе исключительно для врагов, – отнюдь нет, а потому, что “русские” (здесь мне приходится с извинениями за неполиткорректность прибегнуть к этническому стереотипу) уважают только силу, жаждут твердой руки, любят палку, считают, что раз бьет, значит, любит, и вообще, бей своих, чтобы чужие боялись.

Иными словами, *Иван Грозный* – прозвище не оскорбительное, а почтительное, хвалебное, любовное. Так что правильнее был бы перевод типа *Ivan the Terrific* – если бы *terrific* не утратило полностью свои “ужасные” обертоны, превратившись в сугубо восхищенную характеристику. Или, еще лучше, *Ivan the Awesome* – если бы *awesome*, которое в литературном языке значит

“внушающий благоговейный трепет”, не значило на молодежном жаргоне “отлично, потрясно, клёво, круто”. Зато, продолжаю я, можно видеть, что и в английской семантике от “страха” до “восхищения” всего один шаг. Тем более – в русской, что позволяет перейти к разговору об отсутствии в России традиций плюрализма, демократии и прав человека, а там и к нынешней реставрации авторитарного режима и реабилитации Сталина – “эффективного менеджера”.

Что это с руки властям предержащим, понять нетрудно. Но даже и они упирают все-таки не на свирепость менеджера (поощрявшего восхваление Ивана Грозного и запретившего его проблематизацию Эйзенштейном), а на его якобы эффективность. Но что заставляет заглатывать эту наживку тех, кому ничего хорошего от такой эффективности ждать не приходится? Неужели загадочная русская душа буквально взывает о мучениях? Или дело в “стокгольмском синдроме”, согласно которому заложники перенимают мировосприятие террористов?

…Здесь я оставлю в покое своих первокурсников и обращусь к периодически занимающей меня теме – ахматовской. Но не к смерти Гумилева, не к мытарствам их сына, не к Постановлению ЦК 1946 года и не к позднейшему культу самой Ахматовой, а к относительно вегетарианскому 1925 году.

Из записей П. Н. Лукницкого (ее тогдашнего конфидента – отчасти литературного секретаря, отчасти, по-видимому, любовника и, не исключено, стукача):

> “17.07.1925 <…> Шли по Фонтанке. АА сказала, что читает Ключевского… [Он о]чень хорошо излагает. <…> Полет мысли, талант большой, громадные знания… <…> АА восхищается Иваном Грозным – так гениально управлял государством, такую мощь создал и умел давать ее чувствовать, так организовал и т. д. Приводила примеры из истории царствования Ивана Грозного…”[71]

Поразительно! В свое время я каким-то образом пропустил это место, хотя оно как нельзя лучше пригодилось бы в моей работе над жизнетворческим портретом ААА в качестве своего рода Сталина в юбке.

И любопытно, как ей удалось вычитать такое из истории Ключевского, который дает Ивану взвешенную, но в целом негативную оценку, отмечая его ученость и литературный дар, но никакой эффективности за его менеджерством не признавая?!

> “Однако из всех этих усилий ума и воображения

> царь вынес только простую, голую идею царской власти без практических выводов. <…> Увлеченный враждой и воображаемыми страхами, он упустил из виду <…> потребности государственной жизни и не умел приладить своей отвлеченной теории к местной исторической действительности. Без этой практической разработки его возвышенная теория верховной власти превратилась в каприз личного самовластия, исказилась в орудие личной злости, безотчетного произвола. Потому стоявшие на очереди практические вопросы государственного порядка остались неразрешенными. <…> Одностороннее, себялюбивое и мнительное направление его политической мысли при его нервной возбужденности лишило его практического такта, политического глазомера, чутья действительности, и, успешно предприняв завершение государственного порядка, заложенного его предками, он незаметно для себя самого кончил тем, что поколебал самые основания этого порядка”.[72]

Может, Лукницкий что-то не так понял? Или она сама? А ведь культурная женщина, “с раньшего”, как выражался Паниковский, времени, окончившая гимназию, и отнюдь не из красных, хотя зналась как с земщиной (Гумилевым, Анрепом), так и с опричниной (Лурье, Пуниным, Лукницким)… Или она просто не до конца дочитала (царствованию Грозного у Ключевского посвящены главы 28–30, и сначала говорится о попытках благодетельных реформ)? Или дело… в неком родстве душ – в фиксации “Анны всея Руси” на идее власти и самоотождествлении с великими властителями?

> “С детства затверженные <…> любимые библейские тексты и исторические примеры все отвечают на одну тему, все говорят о царской власти, о ее божественном происхождении. <…> Упорно вчитываясь в любимые тексты и бесконечно о них размышляя, Иван постепенно и незаметно создал себе из них идеальный мир, в который уходил, как Моисей на свою гору, отдыхать от житейских страхов и огорчений. Он с любовью созерцал эти величественные образы ветхозаветных избранников и помазанников Божиих – Моисея, Саула, Давида, Соломона. Но в этих образах он, как в зеркале, старался разглядеть самого себя, свою собственную царственную фигуру, уловить в них отражение своего блеска или перенести на себя самого

отблеск их света и величия. Понятно, что он залюбовался собой, что его собственная особа в подобном отражении представилась ему озаренною блеском и величием, какого и не чуяли на себе его предки, простые московские князья-хозяева. <…>

Важнее отрицательное значение этого царствования. Царь Иван был замечательный писатель, пожалуй, даже бойкий политический мыслитель, но он не был государственный делец”.[73]

Кстати, Ахматова своими владениями, – к счастью, не государственными, а сугубо литературными, – распорядилась, в отличие от Ивана, вполне эффективно.

Эрос невозможного

В новой книжке о редакторстве (куда вошли и некоторые из моих злобных рассуждений на наболевшую тему[74]) приводится пассаж из интервью, данного Марио Варгасом Льосой, ныне – нобелевским лауреатом, “Комсомольской правде” в 2003 году:

> “С вашей страной у меня связано скорее забавное, чем трагическое воспоминание: в Москве, в издательстве «Молодая гвардия», решили издать на русском языке мой роман «Город и псы». Тогда я был искренним сторонником Советского Союза и очень обрадовался этому известию. Каково же было мое удивление, когда после выхода романа в свет я узнал, что в книге не хватает сорока страниц – их изъяли из-за эротических сцен, даже не сообщив мне об этом. В следующий приезд в Москву я возмущался в кабинете главного редактора издательства. Симпатичная молодая женщина молча меня выслушала, а потом сказала, что супружеские пары в ее стране не смогли бы смотреть друг другу в глаза, если бы они прочитали описание этих любовных сцен, и попросила меня уважать традиции советского народа. Возражать было бесполезно.”[75]

История действительно скорее забавная, чем трагическая. Могли бы, как говорится, и бритвочкой. Тем более – учитывая любовь автора к Советскому Союзу (и Кубе), поскольку со “своими” всегда церемонились меньше, чем с “буржуазными иностранцами”.

А рассказ Льосы даже забавнее, чем он думает. В нем есть интригующие зазоры.

Первый – в том, как писатель на одном дыхании говорит о своей искренней симпатии к Советскому Союзу и радостном ожидании советского издания и тут же об удивлении-возмущении по поводу постигших его текст кастрационных купюр. Звучит все это очень влюбленно и благородно, но чем благороднее, тем ведь подозрительнее. Чего-то он недоговаривает или недодумывает.

К моменту опубликования его романа на родине (1963), да и выхода в СССР (1965), Льосе (р. 1936) не было тридцати. Как человека такого возраста его можно понять – молодо-зелено. Труднее понять его как писателя, интеллектуала, социального мыслителя. Удивляет не столько шок от кромсания авторского текста редакторами, сколько явное неумение автора читать

заворожи́вший его советский дискурс. Полагаю, что ослепленный любовью, он невнимательно читал и издательский договор, написанный людьми, прекрасно понимавшими, с кем имеют дело. Так что, и правда, бесполезняк дергаться.

Но в общем-то, Льоса отделался легким испугом. Времена были уже вегетарианские. Вот Горькому, Цветаевой, да и Прокофьеву, пришлось хуже. Потому что Сталин читал их правильно, а они его кое-как. В отличие, скажем, от Пастернака, который не зря верил в знанье друг о друге предельно крайних двух начал.

Но вернемся к Льосе и его горячей молодости. С тех пор – хотя и не сразу, а лишь через полтора десятка лет – он успешно разочаровался в коммунизме. И читаем мы не его юношескую исповедь, а пост-анализ зрелого man of letters (литератора). Однако удивление, перерастающее в сарказм, – все то же: молодежное, энтузиастическое, оскорбленное в лучших чувствах. Как будто виноваты только коварно обманувшие его “они”, а не он, который, как и всякий влюбленный, был сам обманываться рад.

Второй зазор связан со сценкой у главного редактора издательства. По ее внешнему сюжету симпатичная молодая женщина-главред вешает на уши возмущенному автору неудобоваримую лапшу, которую он с презрением мысленно отметает. Молодость и женские чары редакторши призваны гротескно оттенить циничную абсурдность ее пуританской аргументации по волнующему вопросу.

Это на поверхности. А в глубине, сквозь соблазнительную недоговоренность, мне видится другое. Знойные 1960-е… Будучи приблизительным сверстником пламенного перуанца и немного зная советских редакторш, я не могу не дать воли своему воображению. И оно рисует картины, которые резали бы глаз разве что совершенно уж безнадежно супружеским парам.

Зазор третий – последний. Из интервью вроде бы получается, что “симпатичная молодая женщина” и есть главный редактор издательства. Но простого обращения к Википедии достаточно, чтобы установить, что главным редактором “Молодой гвардии” в те годы (и еще долго: в 1962–1974) был тот самый В. О. Осипов, из воспоминаний которого взята эта история. И вот под каким заглавием и соусом она им – в 2003 году – подана:

> *“40 СТРАНИЦ АНТИТРАДИЦИЙ*
>
> 1968. Вышел с добрыми откликами читателей роман «Город и псы» замечательного перуанца Марио Варгаса Льосы.

Спустя четверть века прочитал в «Комсомольской правде» интервью – характерный штрих в биографию советского книгоиздания: «С вашей страной у меня связано…».”

И далее по тексту, см. выше.

О другом

1

Помимо прочего, пушкинское “Я вас любил…” примечательно своей, выражаясь по-современному, открытостью к Другому:

> Я вас любил так искренно, так нежно,
> Как дай вам бог любимой быть *другим*…

Но “другость” здесь, конечно, очень ограниченная. Повсеместный в русском языке грамматический род, grammatical gender, не оставляет сомнений в половом раскладе этого треугольника: “Я” – м. р. (*любил*), “Вы” – ж. р. (*любимой*), “Другой” – м. р. (*другим*[76]).

Зато при переводе на грамматически бесполый английский (откуда, наверное, приемлемость гендерной революции для его носителей) сексуальная определенность ситуации размывается:

> I loved you so sincerely, so tenderly,
> As God grant to you to be loved by another.

Подставляй треугольники, какие хочешь… Получается действительно другое. Чтобы почувствовать это другое, эту нейтрализацию, вернее вариабельность, пола, хорошо бы вообразить себе соответствующий обратный перевод на русский.

Как известно, у “Я вас любил…” есть огромное поэтическое потомство, целый калейдоскоп упражнений на его темы. Среди них – ранний хит Наума Коржавина (1945):

> Предельно краток язык земной,
> Он будет всегда таким.
> *С другим – это значит: то, что со мной,*
> *Но – с другим.*
>
> А я победил уже эту боль,
> Ушел и махнул рукой:
> *С другой… Это значит: то, что с тобой,*
> *Но – с другой.*

В ключевых строках гендерное равноправие почти идеально: концовки обеих строф могут читаться и как гетеросексуальные, и как гомосексуальные. С той оговоркой, что хотя бы для одного из партнеров грамматика задает в первой строфе мужской род (*с другим… с другим*), а во второй – женский (*с другой… с другой*).

Ну и, конечно, подводит начало второй строфы, с традиционно мужским лирическим эго. Избавиться от этого можно (с маловероятного позволения Коржавина), прибегнув, например, к безличному инфинитивному письму.

> Предельно краток язык земной,
> Он будет всегда таким.
> С другим – это значит: то, что со мной,
> Но – с другим.
>
> **Пора уже победить эту боль, —*
> *Уйти и махнуть рукой:*
> С другой… Это значит: то, что с тобой,
> Но – с другой.

Шекспир с Кузминым отдыхают…

Кстати, о Кузмине. Позволю себе небольшой каминг-аут, “выход из клозета”, но не в сексуальном смысле (тут я неисправимый натурал[77]), а в литературном. Некоторое время назад я напечатал, под полупрозрачным псевдонимом и в сопровождении еще более прозрачной “Справки об авторе”,[78] рассказ “После лыж. *Из дневника женщины*”, с густым мультигендерным сюжетом и множеством кузминских аллюзий. Славы вымышленному автору этот опус, однако, не принес, так что настало, пожалуй, время катапультировать его из рискованной творческой сферы (где как-никак нужен талант) в безопасную академическую.

2

В эту тихую гавань мы и вернемся. Но начнем опять-таки с чего-то художественного.

Как матерому ахматоборцу, мне иногда шлют соответствующую любительскую продукцию. Пару занятных ахматулетов a la Хармс электронная почта принесла из одного далекого университетского города. Автор явно начитан до зубов, в курсе всего, что полагается знать, и норовит уязвить Анну Андревну где побольнее.

Вечером

Лев Толстой очень любил крестьянских ребят, а устриц не очень, особенно после истории с Чеховым. Часто, недоев, выбрасывал. Ведро всегда выносил сам.

Вот однажды выходит и видит: в помойке кто-то роется. Пригляделся – Ахматова. Отлепит вчерашнюю устрицу от блюда и нюхает, чем пахнет.

– Мусорная старуха, – подумал Толстой.

С тех пор ведро выносили в очередь Софья Андреевна и Татьяна Львовна.

Женитьба

Мама стала сватать Блоку Ахматову. Саша отвертывался. Когда она очередной раз пристала, не выдержал:

– Только не эту, не эту, не эту!..

Но спохватился, что потомки поймут неправильно, и пояснил:

– Сил нет читать! На каждой странице “самый нежный”, “самый кроткий”. Да еще зачем-то “мертвый жених”.

Мать, мечтавшая о внуках, согласилась:

– Да, у нее уже есть ребенок. И тоже, говорят, непослушный, пассионарный какой-то.

На том и порешили.

Визитные карточки

Однажды Ахматова опять собралась замуж. Заказала новые визитки: *А. Гаршин, поэт*. Поехала в Питер.

Гаршин встречает ее на вокзале.

– Your place or mine? – спрашивает, нахал, по-английски. И оскал волчий.

“Оборотень, – догадалась Ахматова. – Вот почему у нас все не как у людей”.

– Нет, – говорит. – Я с тобой не стану пить вино. И песен тебе своих не дам. Тебе идти направо, мне идти налево.

Так все и расстроилось.

– Не горюй, – утешала ее Раневская. – За тебя всякая

пойдет.

А карточки Бунину отослали.

Ничего не скажешь, прямо на глазах грамотеет новое племя ахматоведов, белозубое, младое, незнакомое. Меня особенно позабавила третья миниатюра – в ней слышится отклик на мои старые экзерсисы…

Дело в том, что, вслед за самой поэтессой, служители ее посмертного культа продолжают с замшелым советским пуританизмом замалчивать ее лесбийский опыт, как если бы он все еще мог бросить на нее тень. Как если бы браки и адюльтеры с мужчинами украшали мученический образ этой жрицы несчастной любви, а связи с женщинами – портили.

Бисексуализм Марины Цветаевой и Надежды Мандельштам постепенно принимается к сведению – благодаря полной открытости первой и растущему корпусу мемуарных свидетельств о второй. Тем более – гомосексуализм Кузмина, которого сам он нисколько не скрывал. Впрочем, и сегодня среди кузминистов молчаливо подразумевается, что мы любим его не за “это” и, значит, можем “этого” не замечать. Эпизод с молодым Заболоцким, который очень понравился Кузмину и страшно застеснялся, коллекционируется знатоками в качестве анекдота, но именно анекдота, гораздо менее релевантного, чем воображаемые романы Ахматовой с Блоком, Мандельштамом и Пастернаком.

Все такие “неуставные” факты интересны уже сами по себе, так сказать, в порядке кухонного любопытства, не менее, кстати, законного по этому поводу, чем по остальным. Будучи публичными фигурами, знаменитости естественно попадают под свет юпитеров – любишь кататься, люби и саночки возить. Что практически неизбежно в случае поэтов с отчетливой жизнетворческой программой, то есть сделавших свою биографию предметом искусства, а значит, и читательского восприятия и критического анализа.

Очень интересно, “как это у них там было и как они там с этим устраивались” (Зощенко) – и как “это” презентировали. Говорили ли Надежда Яковлевна с Анной Андреевной на бисексуальные темы – или делали друг перед другом вид, что ничего подобного? Или Надежда Яковлевна закидывала удочку, а Анна Андреевна принимала неприступный вид? Каков был режим признания/отрицания подобных facts of life в своей узкой и в более широкой среде? до 1917 года? в 1920-е годы? в 1930-е?

И, переходя на совсем уже академический уровень: какую роль играло “это” в поэтическом творчестве? Скажем, не потому

ли Ахматова так культивирует *тайну*, что ей надо скрыть именно бисексуальность, лесбийские “засосы”, любовь к Ольге Судейкиной? Не отсюда ли ее магистральная тема несчастной любви между мужчиной и женщиной? Не потому ли столь заветна и непереходима черта, разделяющая любовников в хрестоматийном “Есть в близости людей…”?

Как любила иронизировать одна моя, в свое время бисексуальная, подруга: “Что такое? Почему такая тишина?” —

> Пусть в жуткой тишине сливаются уста,
> И сердце рвется от любви на части.

Действительно, в чем дело? Может, героине, душа которой *чужда / Медлительной истоме сладострастья*, просто не довелось дойти с адресатом и другими мужчинами до *Того, чем боль любви свежа, Того счастливейшего всхлипа* (Пастернак), который Маша Шарапова издает каждый раз, как ударяет по мячу? С ними не довелось, а с Судейкиной, может, и довелось?

Повторяю, этот интерес не только сплетнический, но и вполне научный, позволяющий, например, заострить проблему литературности – вымышленности, артефактности – ахматовского “лирического дневника”. А заодно и разрешить волнующую ахматоведов загадку заглавия “Поэмы без героя”. Может, потому *без героя*, что *герою* предпочитается *героиня* – все та же Судейкина? (Remember, you heard it here first!)

Но если так – если не только Цветаева, но и Ахматова бисексуальна (и даже преимущественно женолюбива), – то получается, что обе наши великие поэтессы в строгом смысле не женщины, а нечто гендерно третье (или четвертое?) – *другое*.

Пишу это опять-таки без тени насмешки, призывая в свидетели Сапфо, Сократа, Цезаря, Шекспира, Верлена, Рембо, Уайльда, Кузмина, Лорку… Сюжет для небольшой диссертации, а лучше энциклопедии.

Must be luv…

Один зощенковский персонаж начинает свой рассказ словами: “Я всегда симпатизировал центральным убеждениям”. Формула незабываемая, потому что очень точная. Беззаветная любовь советских интеллектуалов к начальству остается их, может быть, самой загадочной и иногда до смеха трогательной чертой.

В книге воспоминаний бывалого литфункционера В. О. Осипова[79] есть глава, посвященная встречам с Мариэттой Сергеевной Шагинян (1888–1982).[80] В свое время Шагинян выкроила себе особую нишу в писательской номенклатуре, сочетавшую высоколобый культ Гёте (“Путешествие в Веймар”, 1914; “Гёте”, 1950) с дежурным соцреализмом (“Гидроцентраль”, 1931). Но сегодня ее известность постепенно сошла на нет, продолжая светиться лишь отраженным светом в именах деятелей культуры, возможно, названных родителями в ее честь, – Мариэтты Омаровны Чудаковой (р. 1937), Мариэтты Сергеевны Цигаль-Полищук (р. 1984) и некоторых других.

Осипов пишет о Шагинян с неподдельным вроде бы восхищением: его впечатляют ее долголетие, темперамент, “невообразимо-многогранная эрудиция знаний (sic) и профессионализм пера”. Но одна из рассказанных им историй полна невольной иронии. Приведу ее с небольшими купюрами.

> “ – Я [Шагинян] приказываю вам задержать подписание в печать своей книги «Четыре урока у Ленина». <…> Это как понимать, что издательство не хочет упомянуть в этом предисловии Сталина по связи с Лениным? <…> Вы слышали о письме ко мне Александра Воронского, когда он был редактором «Красной нови»? <…>
>
> Читаю, обратив внимание на дату – 1923-й, при жизни Ленина писалось:
>
> «Да, забыл: знаете, очень ваши вещи нравятся тов. Ленину. Он как-то об этом говорил Сталину, а Сталин мне. К сожалению, тов. Ленин тоже болен, и серьезно. <…> Выздоравливайте <…> А. Воронский».
>
> – Когда я собралась опубликовать письмо, так Воронского по велению Сталина репрессировали и предали забвению. Но Ленин ведь в письме! <…> Все отказались помогать мне. Решаюсь звонить Сталину. Соединили – кстати, на удивление, уже через два дня.

Пожаловалась ему. Сказала ему: «Товарищ Сталин! Из-за обвиненного в троцкизме Воронского мне запрещено писать об отношении к моему творчеству Ленина и вас, товарищ Сталин!» Он в ответ проговорил кратко, но внушительно: «Мы подумаем. Мы разберемся. Не допустим несправедливости в отношении товарища Ленина». <…> Вскоре мне сообщили: «Публикуйте отзыв Ленина с прямой ссылкой на товарища Иосифа Виссарионовича Сталина без никаких (sic)[81] посредников. Зачем вам какие-либо посредники?! Расскажите, что товарищ Сталин рассказывал, что Ленин рассказывал ему, как высоко ценил ваши, товарищ Шагинян, вещи». А дальше? Умер Сталин – и стал неугоден Хрущеву. Теперь Сталин воспрещен для упоминаний, а Воронского разрешили для упоминаний. И выходит, из-за Сталина письмо с именем Ленина под запрет. <…> Подумала: надо говорить с Хрущевым. Не соединяют. Я к помощнику. Ничего в ответ вразумительного. Вчера снова напомнила – юлит… Уж сколько месяцев прошло. <…>

Она добилась своего. Все-таки разрешили печатать письмо полностью. Правда, тот, кто от имени ЦК звонил мне, добавил, многозначительно понизив голос: «Если можно, то попытайтесь как-нибудь уговорить старуху обойтись без имени Сталина. Что нам заниматься реабилитацией? В случае чего пришьют, что издательство пересматривает решения партии об осуждении культа личности… Пусть письмо пойдет в пересказе ну хотя бы по такой схеме: Воронский рассказал Шагинян о положительном отзыве В. И. Ленина». <…>

Шагинян, естественно, от такого совета категорически отказалась. Храню эту книгу.

Нынче поминать Ленина как-либо внятно столь же осудительно, как во времена Хрущева упоминать Сталина. Но я выписал эту биографическую новеллу. Надеюсь, она обезвредит модные от политконъюнктурщиков гипнозы (sic) – мол, каждый, кто брался при советской власти писать о Ленине, был продажным и прочая…”

История шикарная, но я бы закончил ее немного иначе – ссылкой на два фольклорных текста.

Ее перипетии напоминают известную задачку о перевозе

крестьянином на другой берег волка, козы и капусты. С той разницей, что условия задач по определению, вот именно, условны и обсуждению не подлежат (хотя, если вдуматься, зачем крестьянину волк?), тогда как неизбывная забота Шагинян о сохранении всей троицы – ее собственный выбор.

Он приводит на память старый анекдот.

> “Два советских скрипача поехали на международный конкурс. Один занял последнее, тридцать пятое, место, но нисколько не расстраивался по этому поводу, другой – второе и страшно горевал, что не первое.
>
> Коллега его утешает:
>
> – Чего, – говорит, – убиваешься? Место призовое, серебро, как-никак слава. Небось, и премия не маленькая…
>
> – Как ты не понимаешь? – отвечает тот. – Вторая премия – только деньги, а первая – еще и право поиграть на скрипке Паганини!
>
> – Ну и что?
>
> – Как что? Скрипка Паганини – это… это… ну, как для вас там… ну… личный наган Дзержинского!

Тут все на месте. Молоко отдельно, мухи отдельно, каждому свое. А неуемной Мариэтте подай и скрипку Паганини, и наган Дзержинского. Любовь зла.

Принуждение к улыбке

1

Я не умею улыбаться на фото. Недавно это опять подтвердилось, когда надо было сниматься для журнала в Москве, а потом на водительские права в Калифорнии. Получается либо неестественная улыбка, либо вообще мрачный вид. Иногда и сама мрачность выглядит какой-то вымученной.

В поисках самооправданий я даже разработал теорию, что искусственность, некая ненастоящесть, присуща улыбке по определению.

Что такое улыбка? Это нерешительное поползновение в сторону смеха, но без звука и телодвижений, исключительно силами лицевых мышц. По-французски *улыбка* – sourire, буквально “под-смех”, то есть *полусмех, усмешка, смешок.* А что такое смех, известно от психоаналитиков – это агрессивно-оборонительная установка, то есть враждебность, но подавленная и сублимированная, переведенная в символический план. За смехом стоит отстранение от объекта, а не сопереживание ему. Улыбка – тот же смех, только на вид еще безобиднее. С зооантропологической точки зрения, суть улыбки в оскале зубов, демонстрирующем как их наличие, так и отсутствие намерения пустить их в ход…[82] Таким образом, улыбка – условный и двусмысленный сигнал, посылаемый противнику в достаточно трудной ситуации.

Непринужденная улыбка, боюсь, просто оксюморон. Возможна она разве что у безраздельного хозяина положения (*самодовольная, победительная улыбка*) или у наивного идиота, уверенного, что ему ничто не угрожает. А нормальная улыбка – как раз вымученная.

Недаром *улыбка* охотно сочетается с эпитетами *неопределенная, непроницаемая, загадочная, беспомощная, двусмысленная, кислая, горькая, кривая, искусственная, деланная, заученная, вымученная, фальшивая, дежурная, принужденная*… Еще – *смутная*. Так переведено на русский язык название романа Франсуазы Саган “Un certain sourire”, букв. “Некоторая / определенная улыбка”, – “Смутная улыбка”. В американском английском распространено выражение *plastic smile*, букв. *пластмассовая улыбка* – как у профессионально улыбающихся продавщиц и телеведущих.

Лилиан Гиш в фильме «Broken Blossoms» (1919)

2

Литература полна всякого рода двусмысленных улыбок. У Пушкина —

> И может быть на мой *закат печальный*
> Блеснет любовь *улыбкою прощальной*.

А у Вертинского —

> И затаив бессилье гнева,
> Полна угроз,
> Мне *улыбнулась* королева
> *Улыбкой слез*.

Тут и *слезы*, и *гнев*, и его *бессилье*, и *угрозы*, и, главное, затаивание, то есть подавление, сублимация. Сама *улыбка слез*

может восходить к знаменитой формуле Гоголя, озиравшего жизнь “сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы”.

Пастернак, в стихах к собрату, праздновавшему свое пятидесятилетие в подсоветских условиях, писал:

Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка – *улыбаться, мучась?*

После юбилея Брюсов не прожил и года.

У Ахмадулиной пушкинская *прощальная улыбка* становится уже откровенно *предсмертной* и притом сознательно примеряемой и заучиваемой:

Это я – мой наряд фиолетов,
я надменна, юна и толста,
но к *предсмертной улыбке* поэтов
я уже *приучила* уста.

Да и сама поза подается с печальной иронией.

Эмблемой улыбки наперекор смерти стала в начале пятидесятых годов последняя фотография приговоренного к казни греческого коммуниста Никоса Белоянниса, снявшегося с улыбкой на лице и красной гвоздикой в руке. Она была широко растиражирована в печати и прославлена сделанным по ней графическим наброском Пикассо.

Знаменита своей двусмысленностью улыбка леонардовской Джоконды. Среди объяснений ее неуловимости есть гипотеза о ее бисексуальной подоплеке – перед нами как бы автопортрет художника-андрогина в женском обличье. Правда, тогда улыбка эта не столько принужденная, сколько, наоборот, прячущаяся. В любом случае, налицо опять затаивание, подавление.

Двусмысленна улыбка, издавна вчитываемая в лицо Великого Сфинкса и призванная транслировать его многообразно двоякую культурную принадлежность – египетскую и греческую, двоякую половую сущность – мужскую в египетском варианте, женскую в греческом, двоякую биологическую природу – человеческую и животную, и, наконец, его вековую таинственность и как древнеегипетского памятника, и как мифологической задавательницы неразрешимых загадок у греков.

Максимальный улыбчатый эффект из всего этого богатого

потенциала извлечен, наверное, в английском пародийно-романтическом стихотворении (известном в нескольких вариантах):

> The sexual life of the Camel,
> Is stranger than anyone thinks.
> In moments of amorous passion
> He frequently buggers the Sphinx.[83]
>
> But the Sphinx's posterior passage[84]
> Is clogged[85] with the sands of the Nile.[86]
> Hence the hump on the back of the Camel,
> And the Sphinx's *inscrutable*[87] *smile.*

> [Половая жизнь Верблюда / страннее, чем кто-либо думает. / В моменты любовной страсти / Он часто употребляет Сфинкса через жопу. // Но задний проход Сфинкса / Забит песками Нила. / Отсюда горб на спине у Верблюда / И *непроницаемая улыбка* Сфинкса.]

Загадочность, неуловимость, неопределенность, а то и полная исчезаемость улыбки нашла классическое воплощение в улыбке, точнее, усмешке, *grin,* чеширского кота из "Алисы в Стране чудес". Правда, там сначала исчезает кот, а потом уже его улыбка, но суть – в игре со все той же экзистенциальной пограничностью. Подобно чеширскому коту, в других случаях исчезновению подлежит обреченный на казнь герой или нацеленная на посмертную славу поэтесса, а их улыбка остается и даже увековечивается.

*Вуди Аллен и Дайан Китон в фильме «Sleeper» (*1973*)*

3

Кстати, исчезновением *улыбка* чревата даже словарно. Второе, разговорное, значение русского глагола *улыбнуться* – “не достаться, не осуществиться, исчезнуть, пропасть в результате хищения” (*Поездка на юг улыбнулась; Мешки со склада улыбнулись*).

Более того, как все в *улыбке*, неопределенно, то есть не совсем ясно, и происхождение этого слова.[88] Согласно этимологическим словарям, довольно позднее лексическое гнездо УЛЫБКА – ЛЫБИТЬСЯ – УЛЫБАТЬСЯ, зафиксированное лишь с XVIII в.,[89] восходит, по всей видимости, к древнерусскому слову *лъбъ*, значившему “череп” (ср. *Лобное место*).[90] Исходный смысл слова *улыбаться* реконструируется поэтому как “скалиться подобно черепу”. Это полускрытое присутствие в улыбке образа черепа, конечно, как нельзя лучше согласуется с рассмотренной выше предсмертной мотивикой. Ср. кстати, у В. Дорошевича в “Через сто лет после смерти”:

> “Около меня стоял господин. Приличной наружности. Скелет – как скелет. Как и у всякого черепа – улыбка удовольствия вплоть до ушей”.[91]

*Кадр из фильма «Чапаев» (*1934*)*

Все как бы говорит о ненадежности, неестественности, ненастоящести улыбки. Архетипической эмблемой этого может служить гримаса, врезанная преступниками в лицо Гуинплена – героя романа Гюго “Человек, который смеется” (“L’homme qui rit”). Причем, вопреки заглавию (*смеется, rit*), это именно *улыбка* – оскал разрезанного до ушей рта, а не *смех*, предполагающий голосовое сопровождение.

Две мои самые любимые улыбки – из “Иностранцев” Зощенко и “Спящего” (“Sleeper”) Вуди Аллена.

У Зощенко это француз, который, как все буржуазные иностранцы, способен в любой ситуации контролировать выражение своего лица. Проглотив на дипломатическом приеме куриную кость, он весь вечер не подает виду.

> “Так вот этот француз, который кость заглотал, в первую минуту, конечно, *смертельно* испугался. Начал было в горле копаться. После ужасно побледнел. Замотался на своем стуле. Но сразу взял себя в руки. И через минуту *заулыбался.* Начал дамам посылать разные воздушные поцелуи. Начал, может, хозяйскую собачку под столом трепать.
>
> Хозяин до него обращается по-французски.

– Извиняюсь, – говорит, – может, вы чего-нибудь действительно заглотали несъедобное? Вы, говорит, в крайнем случае скажите.

Француз отвечает:

– Коман? В чем дело? Об чем речь? Извиняюсь, – говорит, – не знаю, как у вас в горле, а у меня в горле все в порядке.

И начал опять *воздушные улыбки посылать*. После на бланманже налег. Скушал порцию.

Посидел в гостиной минуты три для мелкобуржуазного приличия и пошел в переднюю. <…> Ну, на лестнице, конечно, поднажал. <…>

Подох ли этот француз или он *выжил* – я не могу вам этого сказать, не знаю. Наверное, *выжил*. Нация довольно *живучая*".

Улыбки опять на грани смерти и опять под внешним давлением.

Не менее стрессовая ситуация складывается в комической дистопии Вуди Аллена. Под видом врачей подпольщики (Вуди Аллен и Дайан Китон) проникают в секретную больницу, где тело всесильного тирана должно быть восстановлено путем клонирования по носу – единственному оставшемуся от него органу. Они героически похищают этот гоголевский нос и успешно спасаются бегством, но все время, что они находятся в поле зрения медперсонала и охранников, на лице Вуди Аллена сменяются гримасы смеха, страха и злобы. Некоторые кадры запечатлевают гротескный гибрид – улыбку, наглую и заискивающую одновременно (на 67-й минуте фильма – близко к началу 8-й части). И в неподражаемом исполнении Вуди Аллена этот мимический букет точно передает суть улыбки как нашей хрупкой защиты от ненавистного социума.

4

…Нет, на фоне жизнерадостных калифорнийцев я не выгляжу неулыбчивым русским, веселюсь, может быть, даже немного чересчур. А в молодости, по-видимому, вообще не переставал ухмыляться, с поводом и без повода, и мой приятель, мрачный остряк Феликс Дрейзин, цитировал мне в укор Маяковского:

Тот,
кто постоянно ясен, —
тот,

по-моему,
просто глуп.

Феликс все хотел дожить до эпифанического момента, когда пошлость моего барского довольства жизнью станет совершенно очевидной, и тогда уже с полным резонерским правом направить на меня итоговый изобличающий перст. Но вместо этого он давно и очень по-глупому умер, оставив меня размышлять на все подобные темы – в частности, о том, не возрастное ли это у меня насчет снимков.

Так или иначе, перед фотообъективом мне, как правило, вспоминаются кадры из пудовкинского “Потомка Чингисхана” – команда, которую британский офицер-интервент отдает связному, сообщающему ему о приближении красных. Роковое известие необходимо скрыть от окружающих, и офицер с деланой улыбкой что-то драматически шепчет, и связной тоже расплывается в улыбке. В последующих кадрах лживая дипломатическая улыбка передается от офицера к британскому коменданту, а там и к его супруге.

Бастер Китон в фильме «Go West!» (1925)

С момента первого просмотра фильма полвека в моей памяти живет фраза, произносимая британским офицером:

Но ни в англоязычной версии онлайн, ни в русской этого титра найти не могу.

Классово родственная *улыбочка* слышится мне в чапаевских строках Мандельштама:

> Начихав на кривые убыточки,
> С папироской смертельной в зубах,
> Офицеры последнейшей выточки —
> На равнины зияющий пах…

Не прописанная в тексте прямо, она неуловимо, немного по-чеширски и вполне в духе мандельштамовской поэтики “пропущенных звеньев”, проступает из-за слов *начихав, кривые, убыточки, смертельной, в зубах*. И, если присмотреться, в “Чапаеве”, среди кадров психической атаки каппелевцев есть крупный план, где на лице офицера справа угадывается улыбка – естественно, предсмертная.

А что же с незабываемым титром из “Потомка Чингисхана”? Запрошенный по электронной почте профессор Е. Марголит сообщает, что такого титра в фильме Пудовкина нет и не было, а моя аберрация, возможно, объясняется памятью об улыбке Бастера Китона под дулом пистолета в фильме “Go West!” (1925), где знаменитый неулыбающийся комик пальцами приподымает уголки рта после титра с командой улыбаться.

Или – памятью о ее классическом прототипе – аналогичной улыбке Лилиан Гиш в “Broken Blossoms” (1919) Гриффита, вынесенной мной в начало эссе.

Грамматика любви (Лингвостилистические заметки)

Кульминацией четвертой и последней новеллы (“Возгорится пламя”) фильма Михаила Сегала “Рассказы” (2012) являются слова героя, разочаровавшегося в культурном кругозоре своей юной возлюбленной:

– А о чем нам трахаться?!

Фраза стала крылатой – несмотря на свою языковую неправильность, а может быть, и благодаря ей. Чувствуется, что грамматически в ней что-то не так, но по сути все глубоко верно.

Лингвисту ясно, чту именно не так: глагол *трахаться* не может управлять предлогом *о*. Но режиссер успешно восполняет этот досадный пробел русской грамматики, всей структурой своей новеллы убедительно обосновывая новую, трехактантную, модель управления. Вопрос, как делается такой неологизм, относится к компетенции уже не лингвистики, а поэтики.

Неологизмы часто попадают в самый фокус художественного построения. Искусство вообще стремится к сотворению чуда и потому часто подходит к грани между, так сказать, грамматически дозволенным и не дозволенным.

Присмотримся к головоломному четверостишию Пастернака:

> Там, озаренный, как покойник,
> С окна блужданьем ночника,
> Сиренью моет подоконник
> Продрогший абрис ледника.

Из поэмы (Два отрывка)

Формальный разбор этого предложения – кстати, простого, хотя и осложненного причастным и сравнительным оборотами – покажет, что синтаксически в нем все в порядке. Но впечатление осуществленного чуда остается. Типично пастернаковский турдефорс создан нагромождением метафор (сирень как бы моет подоконник, ледник как бы замерз и дрожит…) и гипербол (свет ночника достигает аж до горных вершин, ледник в ответ орудует сиренью…), которые позволяют поэту сплавить воедино происходящее “здесь” (у окна) и “там” (где-то в Альпах). Пастернак и всячески нагнетает свое фирменное косноязычие, и последовательно его натурализует – все-таки останавливается перед нарушением грамматических правил.

Но одним из типовых чудес, практикуемых поэзией, является как раз то, что Майкл Риффатерр назвал ungrammaticality, “неграмматичностью”, – искусно оправданное нарушение правил языка, воплощающее центральный конфликт текста. В кульминационной точке конфликт обостряется до максимума и полюса сцепляются самым невероятным образом, так что их совмещение одновременно и вызывающе торчит из текста и, по сути, узаконивается. Поэт произносит свое в буквальном смысле новое слово.

Характерный случай – синтаксически неправильное сочетание членов предложения, именуемое в лингвистике анаколуфом. Такова, например, замковая строчка пушкинского “Я вас любил…”: *Как дай вам бог любимой быть другим.*

Дело в том, что повелительная форма (*дай*), вообще говоря, недопустима внутри придаточного предложения (*как*…). Однако этот аграмматизм охотно проглатывается читателем – благодаря, среди прочего, фразеологической стертости оборота *дай бог*, как бы утратившего значительную долю своей повелительности. В результате, пронизывающее весь текст напряжение между “страстной прямотой” (не совсем угасшей любви и даже ревности) и “сдерживающим ее благородством” (вплоть до полного отказа от притязаний на женщину) получает наглядное выражение в парадоксальном симбиозе повелительной прямоты с косвенностью придаточной конструкции.

Пример попроще – в концовке “грузинского” анекдота:

– Гоги, ти па-мидор лубишь?
– Кушать – да, а так – нэт!

То, что это анекдот в жанре “с акцентом”, – не случайно: акцент помогает оправдать произнесение чего-то логически и лингвистически несообразного. Несообразного потому, что никаких иных опций, кроме *кушать*, модель управления *помидора* не предлагает. Гоги же втаскивает в нее нелепое, но экзистенциально насущное *так*, подразумевающее, что просто *любить кушать* (как и *трахаться*) – мало, надо *любить* еще и как-то ***так*** (как и *трахаться* ***о*** *чем-то*).

Иногда новое управление добавляется к принятому. Классический пример – давно вошедшая в пословицу фраза *Я плачу не тебе, а тете Симе*, подслушанная Корнеем Чуковским у некой малолетней Нюры (“От двух до пяти”). В модели управления глагола *плакать* нет места для подобного дополнения, но в детской, а иногда и недетской, практике, слезы могут направленно адресовываться кому-то, кого призваны разжалобить (“слезы хитрости”). Неграмматичное управление

оказывается житейски востребованным и в результате входит в язык на правах неологизма.

Но вернемся к киноновелле Михаила Сегала. Ударный анаколуф *трахаться* ***о чем-то*** не выскакивает неизвестно откуда в последний момент, когда расхождение по этому вопросу лишает героя эрекции. Эффект последовательно готовится заранее, причем не только с тех пор, как между героями начинает намечаться когнитивный диссонанс и постепенно обнаруживается незнание юной героиней различных слов и фактов (что такое *гэндбол*; акула – рыба или млекопитающее…), вплоть до важнейших фактов недавней советской истории (что такое *губчека* и *ЧК*; сколько народу погибло в войнах и репрессиях…). Сюжет не строится на том, что вот, дескать, сначала они предавались счастливому бездумному сексу, а потом вмешалась занудная разлучница-идейность. Тема "**о чем-то**" вводится с самого начала, но, как и требует искусство сюжетосложения, отказно, от противного, – сперва не в отрицательном, а в положительном ключе. Герои все время настойчиво ищут подтверждений правильности своего союза, подлинности сродства своих душ – и радостно находят их в поразительной общности вкусов, привычек, реакций (сводящихся, впрочем, к элементарным вещам, типа сколько кусков сахара каждый кладет в кофе). И героиня настойчиво повторяет: "Нам нужно больше разговаривать друг с другом".

В согласии с теорией имитационного, или треугольного, желания Рене Жирара любовники ориентируются на некую авторитетную третью инстанцию, мистически посылающую им свое одобрение. Вспомним, как в "Докторе Живаго" описывается любовь Юрия Андреевича и Лары:

> "Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще, может быть, больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились или встречались".

Герои Сегала с самого начала трахаются о чем-то, с оглядкой на что-то. И тем безнадежнее звучит отчаянный призыв героини в финале: "Тебе не о чем со мной разговаривать, но ты можешь просто со мной трахаться".

Сюжет от начала и до конца безупречно держит тему. Он о том, что любовь, как ни своди ее к элементарным физиологическим актам и простейшим глаголам, – это форма общения между людьми по тем или иным ключевым вопросам

мироздания.

В своем принципиальном распространении любви на окружающее киноновелла Сегала следует классическим образцам.

> Так, аналогичный поворот лежит в основе сюжета толстовского рассказа “После бала”. Герой влюбляется в Вареньку на балу, в лоне светского общества, ему кажется, что его любовь способна обнять весь мир, включая его соперника, а главное, отца Вареньки, полковника, но наутро он становится свидетелем жестокой экзекуции солдата, которой руководит тот же полковник, и влюбленность на этом кончается. Общей оказывается даже роль, которую в кульминационном повороте играет тело – тело солдата, прогоняемого сквозь строй, и тело героя киноновеллы, отказывающееся трахаться ни о чем.

В сущности, та же коллизия – проблема распространения любви на “другое” – налицо в финале “Я вас любил…” Пушкина, где лирический герой благословляет героиню на гипотетический союз с *другим*. Правда, непосредственно к анаколуфу его инклюзивный жест не приводит – *другой* появляется в тексте грамматически правильным образом. Но именно этой жертвенной энергией подпитывается неграмматичный соседний “прорыв повелительности сквозь придаточность” (рассмотренный выше).

Сходную динамику вовлечения в союз двоих чего-то “другого, третьего, окружающего, всего мира” можно усмотреть и в самом первом нашем примере – из пастернаковского стихотворения, хотя там нет ни “любви”, ни анаколуфа. Контакт, устанавливаемый между свечой на подоконнике и далеким горным ледником, как и ответное мытье окна ледником при помощи задевающей за окно сирени, – типичные манифестации пастернаковского мироощущения, применительно к любви сформулированного в пассаже из “Доктора Живаго”.

Поскольку заглавие этих заметок позаимствовано у Бунина, зададимся вопросом, созвучен ли его знаменитый рассказ (“Грамматика любви”; 1915) развиваемой здесь мысли о трехместности предиката *любить*.

> В этом рассказе повествование следует за передвижениями и переживаниями героя, Ивлева, который постепенно все больше втягивается в историю загадочной давней любви его дальнего соседа по уезду, Хвощинского, к его некрасивой горничной Лушке. Рано похоронив ее, Хвощинский двадцать лет – до своей

собственной смерти – не выходил из ее спальни, бесконечно горюя об утрате возлюбленной.

Сюжет построен по принципу воронки, постепенно засасывающей Ивлева с ее периферии в практически полую ее середину – непонятную страсть Хвощинского к ничем не замечательной Лушке.

> Все детали и перипетии сюжета – намерения возницы, слова посещаемой по дороге графини, воспоминания Ивлева о собственной ранней увлеченности образом странной любви Хвощинского к Лушке, готовность их сына продать Ивлеву библиотеку отца, наконец, сама скромная книжная полка Хвощинского и в особенности смешная, столетней давности книжка “Грамматика любви” и дешевенькие бусы Лушки (“эти шарики, некогда лежавшие на шее той, которой суждено было быть столь любимой и чей смутный образ уже не мог не быть прекрасным…”) – невольно толкают Ивлева к заезду в усадьбу Хвощинского, посещению его, ныне нежилой, части дома, к физическому и символическому проникновению в святая святых былой любви двух покойников и контакту с ее реликвиями. В результате Ивлев заражается сильнейшими токами этой любви: “И такое волнение овладело им при взгляде на эти шарики <…> что зарябило в глазах от сердцебиения”. Покидая усадьбу Хвощинского с купленной “за дорогую цену” книжечкой, Ивлев поглощен мыслями о Лушке: “«Вошла она навсегда в мою жизнь!» – подумал он”.

Из этого поневоле краткого пересказа хорошо видно, что центральной темой рассказа является вовлечение сугубо постороннего третьего в любовь двоих – несмотря на то, что сама она никак на это направлена не была, была совершенно необъяснимой, имела место в ином хронотопе (в прошлом, в далеком поместье), да и обстоятельства втягивания (плохая погода, неприятный возница, нескладный сын Хвощинского и Лушки, и т. д.) не особенно к нему располагали. Перед нами еще одна, очень отличная, но тем более красноречивая, вариация на выявленную тему треугольности любви.

Некрологи, которые мы выбираем

В недавней – и сразу вызвавшей отклики – записи в ЖЖ под убойным заглавием “Испортить себе некролог” (от 18 апреля 2014 года), позаимствованным, по мнению автора, из эссе Льва Рубинштейна (“Аллилуйя” от 29 декабря 2009), Борис Акунин – на примере коллаборационизма Горького со Сталиным и Гамсуна с Гитлером – предостерег мастеров культуры от корыстного связывания своей репутации с неблаговидными демаршами политического начальства. Среди многочисленных комментов нашлось место и указанию на предшествующие употребления ключевого оборота, в частности историком А. А. Кизеветтером (1866–1933), кстати, пассажиром одного из философских пароходов 1922 года.

Сознательное отношение к некрологам бытовало в российской культуре и ранее.

> Известен эпизод из жизни Н. С. Лескова, которого за критику Победоносцева и его круга было решено в 1883 г. лишить престижной и материально существенной для него должности члена Ученого комитета Министерства народного просвещения. Министр просвещения, граф И. Д. Делянов, предложил ему подать прошение об отставке – говоря современным языком, “по собственному желанию”. Лесков отказался. Министр удивился – ведь так и так уволим, зачем вам это? Лесков ответил: “Нужно! Хотя бы для некрологов: моего и… вашего”.[92] Его все равно уволили, но был и общественный резонанс, подогревавшийся самим писателем, который устроил публикацию анонимного газетного сообщения о своем увольнении, а затем ответил на него “Письмом в редакцию”.

Взгляд на некролог как на еще один жанр культурного дискурса, причем неоспоримый в своей окончательной авторитетности, – характерная властная позиция, вполне органичная для писателя, особенно писателя с публицистическим темпераментом. К сожалению, позиция эта тем самым и уязвимая – ввиду не только возможных морально-этических недостатков самого публициста (кто из нас без греха?), но и принципиальной проблематичности любых претензий на Последнее Слово. Как учат М. М. Бахтин, сэр Исайя Берлин и другие философы-плюралисты, в мире дискурсов царит многоголосие, ценностный

консенсус не гарантирован и даже маловероятен, некрологи пишутся победителями, но опротестовываются побежденными, и, согласно, кажется, Мао Цзедуну, вердикт по поводу Французской революции историей еще не вынесен – слишком мало времени прошло.

Это я не к тому, что Гитлер, Сталин и Пол Пот – не очевидное зло, а к тому, что мотивы их поклонников не всегда сводятся к продаже репутации за чечевичную похлебку.

> Так, Горький, зазываемый Сталиным в СССР с помощью кнута и пряника, конечно, мог бояться – в случае отказа вернуться – лишения огромных тиражей и гонораров, а то и прямого насилия над ним или его семьей (кнут), и соблазняться материальными благами, разнообразными почестями и даже возможностью заступаться за гонимых литераторов – в случае возвращения (пряник). Но самой большой потерей для него была бы (тут я следую за хорошо знавшим его в те годы Владиславом Ходасевичем, неплохо разбиравшимся, кстати, и в нашей теме – автором книги “Некрополь. Воспоминания”) потеря символическая – утрата статуса Великого Пролетарского Писателя. Соотношение выдумки и правды являлось центральной темой его жизни и творчества, причем предпочтение он отдавал выдумке, а главной его выдумкой был его лубочный самообраз, созданный в “Детстве” и тщательно разрабатывавшийся на протяжении последующей писательской карьеры. И во власти Сталина, вождя мирового пролетариата, было сорвать с него эти писательские лычки и разжаловать его в простые буржуазные эмигранты.
>
> На такую утечку символического капитала он пойти не мог – тем более что прекрасно всю эту семиотику понимал. Недаром его “На дне” кончается красноречивой в этом отношении репликой (одного из героев, Сатина, в ответ на сообщение, что другой, Актер, “удавился”, то есть повесился): “Эх… испортил песню… дур-рак!”
>
> Так же высказывался и сам Горький:
>
> “Великое множество раз, совершая какой-нибудь поступок, который был ему не по душе или шел вразрез с его совестью, или, наоборот – воздерживаясь от того, что ему хотелось сделать или что совесть ему подсказывала, – он говорил с тоской, с гримасой, с

> досадливым пожиманием плеч: «Нельзя, биографию испортишь». Или: «Что поделаешь, надо, а то биографию испортишь».” (Ходасевич).[93]

Ирония судьбы Горького состоит в том, что он – вольно ли или невольно – героически, как и подобает поэту, принес себя в жертву своему авторскому мифу. В этом смысле он отчасти напоминает заглавного героя фильма Роберто Росселини “Генерал делла Ровере” (1959). Если кто помнит, там фашистский комендант заставляет мелкого жулика (его играет Витторио де Сика) выдать себя в тюрьме за убитого вождя Сопротивления (действие происходит в 1944 г.) генерала делла Ровере, чтобы через него раскрыть тайную организацию партизан. Тот сначала берется за эту роль цинично, но постепенно проникается ею настолько, что в конце концов предпочитает погибнуть героем – в глазах тюремщиков, партизан и своих собственных.

Так что самой необходимостью выбирать себе некролог ни Горького, ни многих других в тупик не поставишь. Другое дело, что выбирать надо уметь. От Ленина он уехал, а к Сталину приехал. Беда ведь не только в том, что и кончилось для него все очень печально, и некролог – в глазах многих – подпорчен. Но и в том, что какой же ты писатель, если Сталина раскусить не можешь (или Сталина можешь, а Путина уже слабо – случай Солженицына)?! Акунин советует просто “держ [аться] подальше от диктаторов и авторитарных правителей (а лучше вообще от всяких правителей”). Но что, если гражданский пыл не дает покоя?! А вот что: некрологи таких авторов становятся производными от некрологов сильных мира сего: куда вырулят те, туда вынесет и этих. И прощай мечты о власти слова.

…От мастеров культуры и вообще великих обращусь к более рядовым товарищам, ибо политика и история, во всяком случае по Толстому, делается не на верхах, а в народной гуще, в глубинах культурного кода.

> Я случайно знаю историю с увольнением одного достойного, но сравнительно незаметного работника научного фронта со скромной, скудно оплачиваемой должности. Кому-то из начальства она, тем не менее, видимо, понадобилась, ну и предложили работнику уйти с нее по собственному желанию. И вполне интеллигентный и даже слегка белоленточный замдиректора стал его увещевать, что, дескать, подайте заявление, все равно ведь уволят, а так вам же лучше, тем более многие – разумеется, не я – полагают, что вам эти четверть ставки не очень-то и нужны… На что

увольняемый процитировал образованному начальнику казус с лесковским, а главное, деляновским, некрологом. И тогда просвещенный начальник немного почесал в бороде и нашел более или менее удобоваримый компромисс. И правильно сделал, потому что вскоре умер, так что вопрос о некрологе оказался не совсем праздным.

P. S. Проницательный читатель спросит, ну, а вы-то сами, после ваших наездов на Ахматову, на какой некролог можете рассчитывать? Вопрос в точку. Но ведь мой тезис именно в том и состоит, что не хлебом единым жив человек, каждый старается для своего некролога, как его понимает.

notes

Примечания

1

Жолковский А. К., Армей, плейнбол, жало // А. К. Жолковский. “Звезды и немного нервно”. М.: Время, 2008. С. 13.

2

Д. С. Рыбакова (1904–1954), музыковед.

3

Отчим – Л. А. Мазель (1907–2000), музыковед.

4

См. виньетку “Шестидесятники”, с. 133–139.

5

Писано в начале 2000-х.

6

Теперь уже почти шестьдесят.

7

Позже я пару раз обнаружил его у Бродского – в 3-м фрагменте стихотворения “Песня невинности, она же – опыта”: … *и слово сие писати / в tempi следует нам passati*, то есть *в темпе следует нам поссати*, и в последнем из “Двадцати сонетов к Марии Стюарт”: *В Непале есть столица Катманду* – к остальному тексту Катманду не имеет никакого отношения и, скорее всего, вставлено ради удовольствия всуе упомянуть *манду*, не исключено, что на пари с кем-нибудь из собутыльников.

8

Кажется, и вправду уже приказал долго жить.

9

Ф. А. Дрейзин (1935–1989), лингвист, литературовед.

10

Целевая (конечная) причина (*лат.*).

11

В. В. Медведев (1931–1999).

12

Мама, или Как важно не читать “Что делать?”//Еврейское слово. 2005. № 32 (255).

13

Ольга Матич – культуролог, специалист по русской литературе.

14

Писано до 2000 года, когда наконец избрали и в Российскую.

Жолковский А., Щеглов. Ю., Структурная поэтика – порождающая поэтика // Вопросы литературы. М., 1967. № 1.

16

В 1974-м, после высылки Солженицына, все-таки уволили.

17

Это произошло в редакции “Иностранной литературы”, где состоялся круглый стол по вопросам структурализма с участием Шкловского, Сучкова, Палиевского, Мелетинского, Иванова и многих других, включая и нас грешных со Щегловым; материалы, увы, так никогда и не были опубликованы.

18

Еще одно коктебельское поветрие тех лет – целебные свойства кила, сероголубой грязи, которой стали обмазываться на пляже.

19

Уединение и его неудобства (*англ.*)

20

Ю. К. Щеглов (1937–2009).

21

В начале 1960-х.

22

В начале 1990-х.

23

Писано в начале 2000-х.

24

Ликторы с фасциями – почетные стражи при правителях в Древнем Риме, носившие с собой пучки розог с секирой внутри.

Былого (*фр. иносказ.*). *Ред.*

Футон – топчан в японском стиле.

27

Нью-Йоркское книжное обозрение. – 2006. – Vol. 53. – № 5, March 23.

28

Тут я долго думал, как перевести английское *spike* – “колос, шип, зубец, рог, шприц”, – пока не заглянул в русскоязычное скорпионоведение.

Он же – пакет со сперматозоидами.

30

Sabbatical (year) – отпускной год (раз в шесть лет на седьмой, “субботний”).

31

Расовое профилирование *(англ.)* – чрезмерное внимание к расовым признакам при поиске преступника.

32

Позитивная дискриминация *(англ.)* – предоставление преимущественных прав меньшинствам, ранее страдавшим от дискриминации.

33

См. Жолковский, А. К. Например, тщетность усилий // Звезда. 2011, № 12. С. 213–223.

34

Как и генерал Леонид Пушкин в *The Living Daylights* (1987).

35

С выдачей заветной разгадки я по возможности потяну, – оставляя проницательному читателю шанс опередить ступенчатое развертывание сюжета и почувствовать себя на коне.

36

См. Абрам Терц (А. Д. Синявский). В тени Гоголя. London, 1975. С. 65–70, 93–94, 244, 646.

37

См. Гоголь, Н. В. “Выбранные места из переписки с друзьями, Письмо XXI “Что такое губернаторша” // Собр. соч. в 7 т. М.: Художественная литература, 1978. Т. 6. С. 273–286; Жолковский, А. К. Перечитывая избранные описки Гоголя // Блуждающие сны. М.: Наука – Восточная литература, 1994. С. 70–86.

38

См.: Пригов, Д. А. Советские тексты. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1997. С. 139–142.

Берг, М. Ю. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М.: НЛО, 2000.

40

См. третье из “Четырех писем к разным лицам по поводу «Мертвых душ»” (Гоголь. Указ. соч. С. 259–260).

41

Kojarzyć восходит к польскому слову *jarzmo* “ярмо, упряжь”, и значение “связывать соотносить, соображать, ассоциировать, понимать” окрашено в нем в соответствующие тона, так что фраза Анджея вольно или невольно вторит знаменитому “Надо сопрягать” Пьера Безухова.

42

Powoli (польск.) – “медленно”.

43

По когтю льва [узнают] (*лат.*).

Е. А. Компанеец – художница, писательница.

45

А. С. Компанеец (1914–1974), физик, профессор, доктор наук.

46

Labor Day – День Труда (*англ.*). Писано десяток лет назад.

47

Писано в 2007-м.

48

Дом был построен в 1895 году, два года спустя после знаменитого пожара, когда сгорел практически весь город.

49

Букв. “Это было с обнаженными костяшками (рук)!” (*англ.*), т. е. без перчаток, жестко, грубо.

50

Давно уже никакой не знакомый. Писано в 2007 году, тогда же опубликовано, после чего дипломатические отношения были разорваны напрочь. Искусство требует жертв.

51

Открытие 23 сентября 1846 года планеты Нептун справедливо считается блестящим приложением небесной механики. Французский астроном Урбан Жан Жозеф Леверье (1811–1877) понял, что слабые возмущения наблюдаемого движения Урана свидетельствуют о гравитационном влиянии новой, еще неизвестной планеты. Леверье рассчитал, где должна находиться эта планета, – а это было очень непросто в то время, когда все расчеты проводились с помощью пера и бумаги; Иоганн Галле навел в эту точку телескоп берлинской обсерватории – и там был Нептун.

52

Больше не утверждает и не отвергает – погибла в автокатастрофе. Умерла – от алкоголизма – и мать Вани.

53

Меткое выражение *(лат.)*.

The Many Facets of Mikhail Kuzmin. A Miscellany / Кузмин многогранный: сборник статей и материалов. Compiled and introduced by Lada Panova, edited by Lada Panova with Sarah Pratt. Bloomington. Slavica, 2011.

55

“Что касается общего впечатления, то оно очень сложное. Но говоря конкретно, у жопы большое будущее” (смесь русского с идишем).

56

Неймдроппинг (*англ.*, букв. “роняние имен”) – якобы небрежное упоминание знаменитых имен, специальных терминов и т. п. с целью повысить собственный авторитет.

57

Nomina sunt odiosa – лат., букв. “имена ненавистны”, “не будем называть имен”.

Огонек. – 2007. 6—12 августа.

Жолковский, А. К. Осторожно, треножник! М.: Время, 2010. С. 391–395.

Кстати, некоторые из этих номеров были записаны Михаилом Аркадьевым и доступны в сети.

Жолковский, А. К. Мемуарные виньетки и другие non-fictions // Новая Русская Книга. 2000. № 5.

Букв. “с крупинкой соли” (*лат.*) – “взвешенно”.

63

Интересна этимология английского *wait*: изначально оно значило: “наблюдать за кем-л. с враждебными намерениями, подстерегать”. Все то же сохранение готовности, но в более агрессивном варианте.

64

См. сноску на с. 344 (Виньетка “Посвящается Пиранези”).

Жолковский, А. Эросипед и другие виньетки. М.: Водолей Publishers, 2003. С. 19–20.

Лимонов, Э. (интервью) // Комсомольская правда. 1990. № 2.

Жолковский, А. К. Механизмы второго рождения // Синтаксис. 1985. № 14.

А на совсем земном уровне признание выразилось во внезапной благосклонности ко мне самой прелестной из участниц конференции, дотоле неприступной, – к, надо полагать, вящему удовлетворению читателя этой виньетки, давно недоумевающего, когда же соблазнительное заглавие заиграет своими эротическими обертонами.

Пастернак, Б. Л. Собр. соч. в 5 томах. Т. 5. М.: Художественная литература, 1990.

“Удивительнее вымысла” (*англ.*) – название фильма 2006 года (В русском прокате – “Персонаж”.)

Лукницкий, П. Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. 1924–1925 гг. Paris: YMCA, 1991.

Ключевский В. О. Сочинения. Т. 2. Курс русской истории. Ч. 2. М. Политиздат, 1957.

Там же. С. 195–196, 198.

О редактировании и редакторах. Антологический сборник-хрестоматия. Выдержки из статей, рассказов, фельетонов, писем, книг / сост. А. Э. Мильчин. М.: НЛО, 2011.

75

О редактировании… С. 567. Интервью с Льосой цитируется там по кн.: Осипов, В. О. Свидетельства очевидца. Из воспоминаний и дневников. М., 2003. С. 519–520.

Теоретически тут, конечно, мыслим и средний род – в котором, например, описывается окружающими и сам заговаривает о себе герой соколовской “Палисандрии”, когда обнаруживается его гермафродитизм: “Вы-с *батенько*, вы, *сладенькое мое*”; “Я совершенно *запамятовало”*; “Я *закричало*, словно животное”.

Правда, одна американская коллега уверяла, что такого не бывает и что, стоит меня как следует психоаналитически поскрести, как мой скрытый гомосексуализм выйдет наружу. “Взять, например, твою подозрительную склонность к соавторству с мужчинами – Мельчуком, Щегловым, Ямпольским!” Сколько я ни уверял, что при всей моей научной и человеческой любви к ним у меня никогда не было ни малейшего желания к кому-нибудь из них прикоснуться, в ответ я слышал, что это типичный случай вытеснения и сублимации.

78

“И. Г. Смуровский. <…> Родился в 1937 г. в Александрии на рю де Константэн. <…> Печатается впервые, под псевдонимом” (“Звезда”, 2010, № 4).

Свидетельства очевидца. М.: Раритет, 2003. Сын репрессированных родителей, активный комсомольский выдвиженец, шолоховед и покровитель деревенщиков, В. О. Осипов (р. 1932) был главным редактором издательства “Молодая гвардия” (1962–1974), первым заместителем главного редактора журнала “Знамя” (1974–1977), директором издательства “Художественная литература” (1977–1986). В эпоху перестройки пошел на понижение; ныне – ответственный секретарь Шолоховской энциклопедии и владелец издательства “Раритет”.

Осипов, с. 61–69.

81

“Без никаких” – любимый оборот Осипова, и должен, я думаю, остаться здесь на его (а не Шагинян) стилистической совести.

Аналогичным образом, рукопожатие, то есть протягивание безоружной руки, призвано снять враждебную напряженность между сторонами; причем и тут возможны градации, в том числе совсем уже капитулянтские руки вверх.

83

Вариант: *At the height of the mating season He tries to bugger the Sphinx.*

Вариант: *orifice.*

Варианты: *filled, blocked*.

Вариант: *Which accounts for the hump on the Camel.*

87

Вариант: *mysterious*.

Иногда с *улыбкой* соотносят диалектное прилагательное *лыбкий,* например, *лыбкое место* – в смысле “зыбкое, топкое”.

89

В древнерусском языке в значении *улыбнуться* употреблялся глагол *улыснуться*.

“Лоб” обозначался словом *чело*.

А в сети сегодня можно найти массу картинок на модную тему “Шире всех улыбается череп”.

92

См. предисловие Б. Эйхенбаума и П. Громова к 1-му тому 11-томного собрания Лескова.

Ходасевич, В. Ф. Горький // Ходасевич В. Ф. Некрополь. М.: Вагриус. 2001. (Мой XX век).